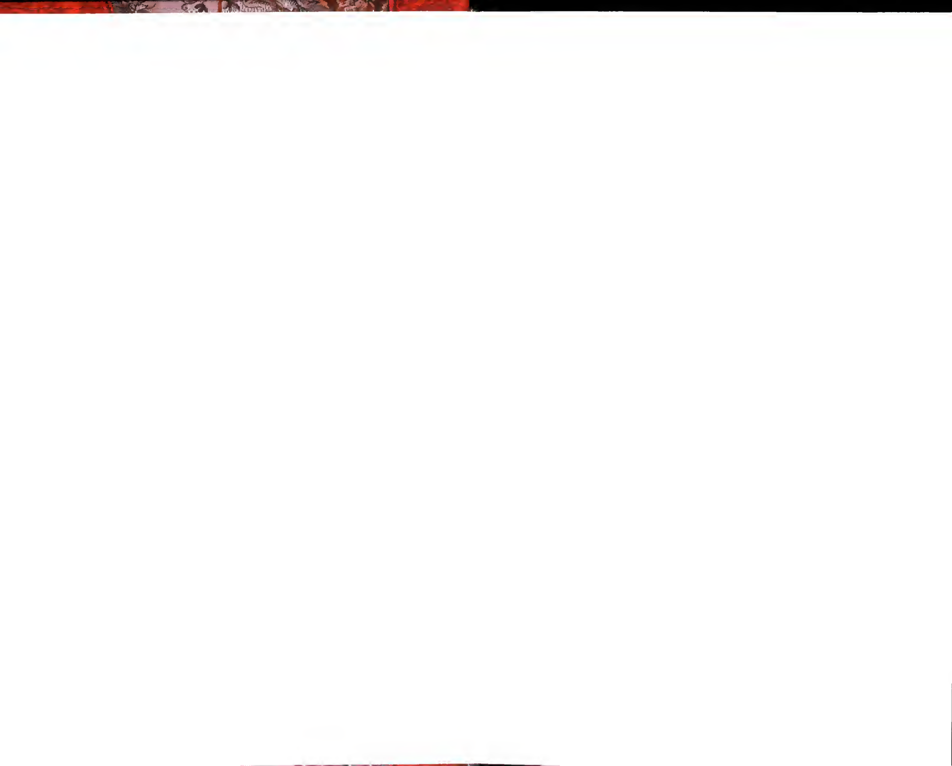


СОВРЕМЕННИКИ И КЛАССИКИ
М. ВЕЛЛЕР
Испытатели счастья



М. ВЕЛЛЕР

Испытатели счастья

Астрель
МОСКВА

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6
В27

Серия «Современники и классики»

Веллер, М.

В27 Испытатели счастья / Михаил Веллер. — М.: Астрель, 2012. — 349, [3] с. — (Современники и классики).

ISBN 978-5-271-41915-7

В этой книге впервые собраны все фантастические рассказы Михаила Веллера, созданные в разные годы, от знаменитых до ранее малоизвестных. Обыденная реальность вдруг разворачивается сказочной и радужной стороной, сюжет непредсказуем, а стиль легок и ироничен. «Жизнь — это сюрприз, с которым не легко справиться», — утверждает герой Веллера.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-271-41915-7



Отпечатано с готовых файлов заказчика в филиале
«НИЖПОЛИГРАФ» ОАО «Первая Образцовая типография»
603950, г.Нижний Новгород, ГСП -123, ул. Варварская, 32.

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ

УЗКОКОЛЕЙКА

Литвиненко раньше был начальником колонии. Леспромхозом же директорствовал Иван Иванович Шталь. Он не всегда был Иван Ивановичем. Он до сорок первого года именовался Иоганном Иоганновичем и был председателем колхоза в Республике немцев Поволжья. А потом всем, так сказать, колхозом очутился в Коми. Валили лес для государства и растили картошку для себя, — ничего, жили.

В пятьдесят шестом году сняли колючую проволоку вокруг бараков, увезли на самолетах охрану, и леспромхоз полностью перешел на свободную рабсилу. Многие, надо сказать, так на месте и остались: ехать некуда. Обзавелись семьями, получили зарплату, хозяйство развели, — опять же ничего, жили.

Но, естественно, производительность труда несколько упала, а себестоимость леса несколько выросла. И организация ухудшилась, поскольку руководить людьми стало не в пример труднее: как средства наказания, так и возможности поощрения свелись к минимуму. Что называется, дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Чем ты

можешь напугать человека, который и так валит лес в приполярной тайге?..

Областное начальство получило втык из Москвы, устроило разнос районному, местная власть прибыла на Ли-2 в леспромхоз и, оценив на месте обстановку, приняла простое и мудрое решение: Иоганна Иоганновича восстановили в партии и дали задание: вывести леспромхоз из прорыва.

И Иоганн Иоганнович с немецкой деловитостью навел порядок. Он отправил толкача в Мурманск — проталкивать продовольствие Севморпутем, ибо завозили все в короткую северную навигацию, а также в Сыктывкар — вышибать из местных Минфина и Минлеспрома максимум денег в заработный фонд, ну и перехватывать вовремя технику и ГСМ. И дело понемногу пошло.

Но затем в шестидесятые годы заработки стали урезать. Если раньше за каждый заработанный сверх наряд-задания рубль платили еще рубль премии, то теперь — шиш. План рос из года в год, чего нельзя было сказать о доходах. В результате выработка стала уменьшаться обратно пропорционально росту плана. А Иван Иванович начал с криками просыпаться по ночам, мучимый кошмарами о ревизиях, вскрывающих приписки.

Через десять лет такой жизни Иван Иванович, награжденный к тому времени орденом Дружбы народов, отчаявшись уволиться добром, полетел в Сыктывкар и лег на обследование. Мужик он был жилистый, выносливый, водкой не злоупотреблял, но подобная биография редко способствует укреплению природного здоровья: Иван Иванович получил неопровержимую справку, которая гласила о противопоказанности его изношенному организму местного неласкового климата, и отбыл на материк, на Запад, в Эстонию.

— Куплю хутор, заведу корову, — мечтательно сказал он. — Сил моих больше нет. Посадят. А за что? С меня хватит.

Надо сказать, что уговаривали Ивана Ивановича остаться не только начальство, но и работяги. Народ имел

некоторое представление о том, что делается в соседних леспромхозах, и Ивана Ивановича любил. Знали, что справедлив, за грех не спустит, но заработать всегда даст и лишнего не потребует. Так что на прóводах речи произносились вполне искренние, и даже лились слезы, — правда, и выпито было соответствующе.

— Дуй уж прямо в Германию, Иваныч! — напутствовали. — Хрен ли тут намучился.

Несколько месяцев все шло вкривь и вкось под управлением бесхарактерного главного инженера, а потом прислали им Литвиненко.

Литвиненко прилетел со всем семейством, одетый, разумеется, в гражданское. В этих краях его прошлая карьера популярности не способствовала. Разумеется, и так все вскоре оказалось известно. Но это ничего, это бывает, мало ли чем человека могут поставить руководить. Однако добра большого не ждали, и в этом ожидании, как обычно случается, оказались правы.

Литвиненко очутился, следует признаться, в положении незавидном: сверху давит начальство, а снизу не хотят давиться подчиненные. Что называется, между молотом и наковальней. Но поскольку молот шарахает по наковальне, а не наоборот, то с ним в первую очередь и приходится считаться.

Литвиненко осмотрелся и начал действовать. Собрал собрание и произнес речь, призывая трудящихся поднатужиться, усилить, выполнить, оправдать и добиться, дабы достичь сияющих вершин. В ответ были брошены явно провокационные вопросы о заработках, продуктах, жилье, детсаде и прочем, что хотели урвать несознательные работяги от разваливающегося леспромхоза.

— Как поработаете, товарищи, так будете жить.

— Мало вламываем, что ли?

— Чтоб он так жил, как мы работаем, — прозвучало анонимное пожелание из зала.

Литвиненко, как человек прямой и в чем-то даже военный в прошлом, стал честно выполнять обещанное. В чем не преуспел.

Он попросил временно снизить план, в ответ на что ему было указано на политическую несознательность и непонимание государственных интересов.

Попросил увеличить премиальный фонд, на что было сказано, что его задача — повышать рентабельность хозяйства, а не понижать.

Попросил увеличить фонды на соцнужды, на что ответили, что рады бы, но помочь пока не в силах, есть узаконенные нормы...

Также не было новой техники, запчастей к старой, культтоваров, солярки и барж в навигацию.

— А как же выполнять распоряжение? — с офицерскими субординационными нотками вопросил он.

— Улучшать организацию труда, — командным тоном дало начальство ответ в высшей степени туманный. — Крепить трудовую дисциплину! Изыскивать внутренние резервы.

Литвиненко хотел возразить, что на прежней работе изыскание внутренних резервов было делом ясным, а на нынешней как? Но, во-первых, был приучен всей прошлой жизнью начальству не возражать, а во-вторых, убоялся, что такой вопрос могут счесть желанием вернуться к старым и осужденным как ошибочные методам управления.

Прилетев домой мрачнее тучи, Литвиненко скомандовал жене подать закуски и, следуя старому русскому правилу поисков выхода из трудного положения, нарезался со страшной силой. Мужик он был массивный, крепкий, и выход осенил его к концу третьей бутылки.

От бутылок этих, стоимостью в те времена три рубля шестьдесят две копейки или же четыре двенадцать, плюс северная наценка, деятельность леспромхоза зависела весьма сильно. Впрямую зависела, можно сказать.

Усть-Куломский леспромхоз состоял из трех поселков: собственно Усть-Кулома, Машковой Поляны и Белоборска. Такое расчленение имело свои выгоды и недостатки.

К выгодам относилось то, что финорганам для выплаты всем работникам зарплаты хватало одной шестой от общей номинальной суммы: одними и теми же дензнаками дважды в месяц платили в три очереди. Чтоб было яснее: выдавался аванс в Усть-Куломе, толпа сутки волновалась у кассы, и затем два-три дня никто не работал: деньги бесперебойно перетекали в сейф магазина, а оттуда — в отделение банка, расположенное через дорогу. Когда практически вся выплаченная сумма возвращалась в банк, — в основном через магазин, частично через сберкассу, занимавшую половину того же дома, — деньги запаковывали в мешок и отправляли в газике с охранником в Белоборск, где повторялся аналогичный цикл. А Усть-Кулом тем временем приходил в себя, отпивался рассолом и чаем и выезжал в лес на работу. За месяц деньги должны были обернуться шесть раз, поэтому иногда случались задержки: в Машковой Поляне уже волнуется очередь у кассы, а в Белоборске еще не рассосалась очередь в магазин, и молоденький завотделением банка орет на завмага, чтоб давала подмогу в винный отдел.

Некоторые купюры стали жителям старыми знакомцами, поскольку бумага на деньги идет качественная и служит долго. Егор Карманов, машинист мотовоза, как-то из интереса специально пометил крестиком новенький червонец, и с тех пор дважды в месяц кто-нибудь кричал:

— Егор, а вот и твой крестник! Меняемся на двадцатку! — И все смеялись.

Однажды случилась катастрофа: баржу с водкой не то затерло льдами по случаю ранней остановки навигации, не то случился сбой в работе порта, но только водку на сезон не завезли. В результате усть-куломцы не истратили своих денег, и белоборцы остались без зарплаты. Зубчатое колесо товарно-денежного оборота замерло. Пустили яд слухи. Народ лупил кулаками по стенке кассы. Бледный банкир спецрейсом вылетел в Сыктывкар за деньгами, ибо в ответ на отчаянные радиотелефонограммы было много советов, но совсем не было денег. Он вымолил все-таки денег, которых хватило на треть желающих, но за настырность и неумение выкрутиться получил выговор.

Когда обстановка накалилась до угрожающего предела, министерство нажало на рычаги: из Красноярска пришел «Ил-18» с водкой, которую «Ли-2» доставил до мест. Прошедшая неделя стоила Литвиненко сердечного приступа, нескольких седых волос и партийного выговора. В справедливости выговора он, не приученный сомневаться, не сомневался, но было ему тошно.

Это о выгодах. Что же касается недостатков, то к ним относились неритмичность работы (верней, ритмичность-то как раз была, но уж больно горестная) и регулярные простои техники. В то время как в двух местах ее не хватало, в третьем она стояла, а не хватало к ней рабочих рук; и так — по кругу. Поначалу Литвиненко пробовал самолично ходить утром по домам, дубасил в двери и окна, чуть не на себе доволакивал людей до рабочего поезда: пока два часа будут ехать до лесных кварталóв — протрезвеют, — но тут же одному вальщику отчекрыжило «Дружбой» ногу, сучкоруб шмякнул топором себе по голени, кого-то хлопнуло верхушкой упавшего дерева, мотовоз четырежды за день забурился с рельс в насыпь, шесть платформ-«половинок» с хлыстами вывалились под откос... (К осени такие хлысты, уже высохшие, пилят на чурки и везут домой на дрова: чем пригонять кран и доставать их, раскатившиеся, останавливая на полдня вывоз леса по магистрали, — проще свалить и погрузить новые.) Партбюро строго указало Литвиненко на нарушение техники безопасности и возросший травматизм, хотя нет у нас леспромхоза, где не ковыляло бы несколько инвалидов, по пьяному делу вступивших некогда в соприкосновение с бензо-, или хуже того, электропилой.

И вот Литвиненко придумал гениальный способ, как минусы превратить в плюсы, чтобы недостатки стали достоинствами.

Сообщались между собой три поселка отвратительно. То есть дороги как таковые имелись: по зимнику преодолевались часа за полтора, а в теплое время — уж как бог положит и кривая вывезет. Газик на двух ведущих мостах плыл, как яхта в шторм, а «Урал» жрал горючего столько,

что в обрез хватало мотовозам. Но если Машкова Поляна ютилась на отшибе, то Белоборск был расположен иначе: хоть и далеко, и за речушкой, зато если мерить от него напрямик к основной усть-куломской железной дороге — «магистрали», — то по карте выходило всего восемь километров, и как раз до разъезда «39-й км». А лес сейчас брался в кварталáх именно от разъезда и до шестидесятого километра. Итак: если б возить белоборцев прямиком через непролазную тайгу в усть-куломские квартала, они тратили бы на дорогу времени меньше даже, чем сами усть-куломцы: час вместо двух. (А то в половине седьмого утра скрипеть по снегу в леденящей мгле на рабочий поезд, и в половине седьмого вечера во тьме же возвращаться домой — это для привыкших нормально, а редких приезжих бросает в оторопь:

— Зачем вы здесь живете-то? С такой работой, — в лесу, по грудь в снегу?

— А чего? Ничо. Надбавки. Пенсия максимальная. В вагончиках мужик приставлен, печки нажарит: тепло!.. Едем, в карты играем, разговариваем.)

Время стояло летнее, до конца года далеко: подбивать бабки выполнению плана нескоро... И Литвиненко вышел на связь с райкомом:

— Я решил сманеврировать средствами, — доложил четко.

— Это как? — настороженно осведомились сквозь треск помех.

— И людскими ресурсами!

— Какими?

— Мы можем в год перемонтировать четырнадцать километров «усов», так?

Усы — это боковые ветки, идущие от магистрали по кварталам. Когда квартал выработан, рельсы снимают и кладут в новое место, — кругляк под шпалы, конечно, бросают, там нарезают новый.

— Ну, — изрекло начальство после раздумья.

— Ветку в Белоборск! — полыхнул гордостью Литвиненко. — Возить народ туда-сюда, на случай простоев, и

вообще... Экономия оплачиваемого времени на дорогу — раз; экономия топлива — два; повышение коэффициента использования техники — три; благоустройство сообщения — четыре.

В райкоме посовещались, поразмышляли, обсудили вопрос.

— А за сколько построишь?

— Брошу две бригады дорожников, выделю технику — за три месяца управимся. На это время леса в теперешних выработках хватит.

— Молодец, Литвиненко! — грянул голос. — Вот видишь — всегда есть внутренние резервы, если поискать!

Идея была санкционирована и обрела очертания приказа. Литвиненко загорелся. Переходящее знамя мерещилось ему, оркестровый туш, первое место в соцсоревновании, повышение, орден, перевод в Москву... мало ли чего может померещиться в тайге похмельному человеку, особенно если на него давит начальство.

На планерке он довел до руководящего звена леспромхоза свой план. Гениальность плана подчиненные не разглядели — как и полагается подчиненным, когда начальник намного умнее. Литвиненко ощутил себя Наполеоном, вынужденным выигрывать Аустерлиц со сплошными бездарностями. «Будущее мне воздаст», — подумал он, и в этом, наверное, был прав.

— Шталь на такой план не пошел, — промямлил начальник сплавного пункта.

Литвиненко стало неприятно, что подобный план кому-то уже приходил в голову.

— Не видел твой Шталь дальше своего носа! — гаркнул он.

Ему поддакнул бригадир дорожников Прокопенюк. Хитрый Прокопенюк отлично понял, к чему клонится дело.

— Короче — план одобрен и согласован, — известил Литвиненко. — Учетчикам вальщиков — доложить объем невыбранного леса по кварталам!

Леса определенно должно было хватить.

— Так. Объект ударный, поставим лучшую бригаду. Материальное обеспечение — в первую очередь ей. Какие поступят предложения?

Прокопенюк поймал его взгляд и слегка кивнул, как чему-то само собой разумеющемуся:

— Мои хлопцы не подведут.

— Отлично! — громыхнул Литвиненко. Развернул карту, полководческим жестом бросил на нее циркуль и линейку:

— За сколько справишься?

— Так если мне еще молдаван дадите, которые у нас по договору... — начал торг бригадир. (Молдаване работали здесь за лес, который в оплату их работы поставлялся в родной молдавский колхоз, где по части леса росли преимущественно заборы и виноград.)

Литвиненко в сопровождении Прокопенюка и главного инженера сел в прицепленный к мотовозу вагончик (ездить в кабине, как все делали, он полагал не по чину) и отбыл на рекогносцировку.

— Еле тянется, — цедил, супя мохнатые брови.

— Иначе забурится, — ласково пел Прокопенюк.

— Узкоколейка, чего с нее взять, — кашлял инженер.

Припилили за полтора часа. Литвиненко поместил на ладонь компас, командирским движением задал направление. Углубились в лес. Прокопенюк взятым у машиниста топором делал затески — метил трассу.

— Вот в таком духе, — сказал Литвиненко, отмахиваясь от зудящей тучи комарья и застревая в буреломе. — А это что?..

Лишь сейчас заметил он, что они стоят как бы на заброшенной, заросшей наглухо тропе, угадывающейся узким проемом в уходящих вдаль вершинах. На стволах желтели давние, заплывшие смолой и натеками коры, затесы.

— А это здесь лет пятнадцать, говорят, назад, геодезисты из Москвы трассу метили. — Инженер зло пришлепнул овода.

— Зачем?

— А в Белоборск же.

Литвиненко посопел.

— И что ж? Бросили?

— А денег не было, — объяснил Прокопенюк.

— Денег, — хмыкнул Литвиненко. — Надо понимать, когда жалеть, а когда тратить!

— Вот это точно, — согласился Прокопенюк.

Уложив в голове старую геотрассу как козырь в поддержку своего плана, Литвиненко счел рекогносцировку законченной:

— Поехали! Прикинем смету...

Смету прикидывали сутки, взяв за жабры плановиков и бухгалтерию. Те только покряхтывали.

— И мотовоз с платформой в личное мое распоряжение, — загибал пальцы Прокопенюк.

Диспетчер встал на дыбы, но был осажен.

— И чокеровщик.

— Получишь.

— В вальщики Сысоева мне дашь, — незаметно он перешел с начальством на ты. Литвиненко поморщился, смолчал, — не время портить отношения, пусть заведется на работу.

— Аккорд — сорок процентов, и пусковые.

— Само собой.

— Пусковых — двадцать процентов. И премию. — На глазах всего народа Прокопенюк сосал кровь из начальства.

— Сделаешь в срок — будет премия.

— В размере квартальной, — вконец обнаглел Прокопенюк. — За ударный труд на особо важном объекте.

Бухгалтер вытер плешь концом старого шелкового галстука. Потом им же протер очки.

— А не треснешь? — полюбопытствовал он.

— Не тресну, — заверил Прокопенюк. — Лишь бы ты не треснул. И бригаду разборщиков — под мое начало. И лапы им сварить новые, не из тех ломов, что гнутся, а закаленных, сам отберу.

Начальник мастерских пожал плечами.

— Все? — спросил Литвиненко. — Но смотри: чтоб завтра в девять приступили!

— Есть! — молодцевато подыграл Прокопенюк. И отправился по домам — переговорить с машинистом, помощником, вальщиком и трактористом. Организовать дело он умел, этого у него не отнимешь.

И — работа закипела! Именно так и подумал назавтра Литвиненко: «Работа закипела!» — лично глядя, как рушатся сосны и кедры, как сверкают топоры сучкорубов, с ревом ворочается, оттаскивая стволы, трелевщик, с визгом врезается в них бензопила, разделяя на двухметровые свежие кругляши, ложащиеся в линию шпал будущей дороги.

В Белоборске заняли позицию выжидательную. Горячие умы прикидывали новый маршрут до усть-куломского магазина. Дебатировался вопрос о разделе заработков. Сомневались насчет постройки моста: пусть речушка плевая, вброд переходили, однако — инженерия!..

Каждый вечер в половине седьмого Прокопенюк являлся к директору докладывать о ходе работ. Половицы победно скрипели под его кирзачами, брезентовая куртка вкусно пахла скипидаром и хвоей, взгляд из-под кепочки являл достоинство. Ребятки выказывали рвение, крутая пахота не сгибала: дорога рвалась вперед полным ходом.

К первому июля он доложил:

— Два километра девятьсот — как одна копеечка!

— Спасибо за работу! — ответил Литвиненко и стиснул ему руку.

Первое августа:

— Есть пять семьсот!

— Спасибо за работу!..

— Спасибо в стакан не нальешь, — хмуровато сказал Прокопенюк.

Зашедший за подписями бухгалтер в негодовании потряс кулачками. Жора, молодой бригадир молдаван, одобрительно хрюкнул.

— Тебе что — мало? — угрожающе протянул Литвиненко. — Твои бездельники в этом месяце по...

— ...шестьсот двадцать, — услужливо подсказал бухгалтер.

— А вламывали как?

Усть-Кулом постепенно разделился на два лагеря: команда Прокопенюка — и все остальные. Прокопенюковцы получали шестьсот-семьсот на круг. Им продавали в неделю по две банки тушенки и сгущенки, хотя полагались они всем работающим в лесу, а также индийский чай, который на прилавок не выставлялся и шел как бы через спецраспределение. В день получки по личному распоряжению директора им отпустили в специальной кладовке орсовского склада по бутылке коньяка, который в магазине отродясь не стоял: исключительно водка и красное.

Обделенный же лагерь нарек эту рабочую гвардию рабочей аристократией и в свою очередь расслоился на две неравные части: первая, составлявшая подавляющее большинство, завидовала завистью обычной, то есть черной, и ратовала привести прокопенюковцев к общему знаменателю и даже репрессировать за рвачество; вторая же, меньшая часть завидовала завистью белой, то есть строила козни, как бы самим проникнуть в привилегированный круг, и при этом условии была согласна примириться с создавшимся положением. Продавщицы вели с Прокопенюком взаимовыгодные переговоры об устройстве своих мужей. Смазчик Пронькин, известный алкаш, после аванса гонялся за Прокопенюком с цепью от пилы, требуя восстановить равноправие.

А из райкома регулярно запрашивали с доброжелательной требовательностью:

— Как осваивается фронт работ?

— Согласно графика! — кричал Литвиненко, прижав для лучшей слышимости руку рупором к трубке. — С превышением нормативов!

— Ты подсчитал, на сколько процентов повысится использование техники?

— На одиннадцать и семь десятых! — бухал он без боязни: контора подгонит нужный результат.

— Так это же прекрасно! — ликовала трубка. — А производительность труда?

— Экономисты мои обсчитывают, — врал Литвиненко.

— Прикидочную цифру можешь назвать? Нам надо включить в отчет.

— Шесть процентов, — придумала экономистка правдоподобную цифру.

— Семь с половиной процентов, — передал Литвиненко.

— Молодец, Литвиненко!

В кабинете между портретом и сейфом Литвиненко повесил крупномасштабную карту района и каждый вечер скрупулезно отмечал красным карандашом пройденный отрезок на идеальной прямой, соединявшей 39-й километр с Белоборском.

К сентябрю красная стрела подползла к голубой ниточке реки, что соответствовало на местности расстоянию в семь километров семьсот метров. (Конечно — гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить; могло оказаться там и больше восьми километров, кто в тайге эти километры мерил; могли и в сторону метров на пятьсот уйти — и это не смертельно, там скруглим, дело обычное, не транссибирскую магистраль строим, рабочую узкоколейку.)

Он весело хлопнул Прокопенюка по литому круглому плечу:

— Ну как, бисова душа, реку-то уже видно?

— Куда ж она денется, — ровно ответил Прокопенюк. — Мы свое сделаем, не подведем.

— Завтра вас навещу!

— Милости просим...

Плавно ответвляясь от насыпи, железнодорожная колея с радующей глаз прямизной рассекала тайгу. Посверкивающие рельсы были намертво пришиты к оранжевым круглякам шпал, еще не успевших потускнеть. В конце пути безостановочно продолжалась отрадная деятельность: деревья валились, трелевщик урчал, топоры тюкали, впе-

рестук гнали эхо молоты костыльщиков, с одного маха вгоняющих четырехгранные костыли в податливую сосновую древесину.

— Прокопенюк свои груши отрабатывает, — с мрачноватой горделивостью предъявил картину Прокопенюк.

— Сколько уже сделали?

— Семь километров и восемьсот двадцать метров. Сегодня уже девятнадцать звён уложили, это сто четырнадцать метров. (Он не врал: столько показал и спидометр мотовоза.)

— Так... — молвил Литвиненко, сурово вглядываясь в перспективу. — К реке вышли?

— Все по плану, — пожал плечами Прокопенюк.

— Так вышли?

— Да куда ж она денется.

— Вышли или нет?! Сколько осталось?

— Ну, может, самая ерунда осталась...

— Сколько?!

— Да что я, речник, — грубовато сказал Прокопенюк.

Литвиненко достал компас, линейку, циркуль, расстелил на траве карту. Проверил.

— Должны уже выйти, — скрывая растерянность, произнес он.

— Должны — значит, выйдем, — успокоил Прокопенюк.

— Все будет в ажуре, — заверил богатырь Жора, бригадир молдаван, скаля белейшие зубы с зажатой в них беломориной.

— А ну пошли посмотрим, — решил Литвиненко.

— Рабочий день кончился, — сказал Прокопенюк. — И так уж задержались, вон темнеет уже.

— Ничего!

Но в чаще темнело быстро, люди за спиной недовольно медлили, Литвиненко как-то сразу устал, выдохся, и машинист все время подавал гудки, нервировал (торопился домой, к хозяйству); действительно, подумал Литвиненко, а вдруг тут не пятьдесят метров, а пятьсот, на ночь глядя лезть в лес и правда без толку, и промерить расстояние точно надо будет.

— Но завтра — обязательно!

— Само собой.

Но назавтра его срочно вызвали на совещание в район, по срывам подготовки к итогам третьего квартала и окончанию сплавного сезона, вернулся он только через два дня, сплавщики как обычно не справлялись, и весь день он проторчал на сплаве, а потом был день получки, потом суббота, так и затянулось.

Из райкома теребили:

— Сообщите процент выполнения плана по железнодорожному строительству!

— Сто двадцать два процента! — орал Литвиненко.

— Сколько погонных километров?

— Семь девятьсот!

— К реке вышли?

— Так точно!

— А мост?

— Мостовая бригада сформирована. Инженер произвел расчеты. Поставим в кратчайшие сроки!

— Не подкачай! — вибрировала мембрана в трубке.

В среду Прокопенюк вернулся из лесу в час дня. Шагая весомо и мерно, с непроницаемым лицом, он стукнул в директорский кабинет, сел, снял кепку и пробасил:

— Ну вот, значит. Я свое слово сдержал.

— Готово?! — радостно вскинулся Литвиненко. Обнял, стиснул: — Молодец, бисова твоя душа! Ну, поехали — покажешь!

Вагончика под рукой не было, встали по-простому в кабину.

— До берега дошли?

— Все как обещали, — повторил Прокопенюк.

Точно на стрелке Литвиненко списал для верности цифры со спидометра. Напряженно вглядывался в размытую расстоянием табачно-зеленую даль, куда летело синее двойное лезвие рельсов. Прокопенюк молча курил, сев на корточки в углу под окошечком.

Через пятнадцать минут Литвиненко начал бледнеть. Но он молчал, надеясь убедиться, что видимое ему только кажется, что на самом деле все так, как должно быть.

— Приехали, — сказал машинист, Егор Карманов, сдвигая ручку газа и глуша дизель.

Литвиненко стоял каменно, как памятник самому себе. У рта Прокопенюка струйка дыма застыла в воздухе, прекратив свое движение. Было слышно, как высморкался рабочий, сидевший на последнем звене уложенных рельсов.

Дорога упиралась в тайгу.

— Ты что — охренел? — заревел Литвиненко, хватая Прокопенюка за шиворот и пытаясь приподнять и потрясти. Прокопенюк не сдвигался, словно из чугуна его отлили.

— Восемь километров как одна копеечка, — чугунным голосом прогудел он.

Литвиненко оторопело сверил запись со спидометром.

— Восемь ровно, — подтвердил Егор, улыбаясь доброй улыбкой человека, не причастного ни к чему плохому.

Литвиненко спрыгнул на спиленный заподлицо пень. Работяги встали. Выражение его лица было таково, что побросали окурки и даже как бы подтянулись по стойке смирно, — слегка оробели.

— Су-у-у-ки!! — завопил Литвиненко. — Га-а-ды!! Вы куда же дорогу построили, падлы?!

— Так это... мы что... — пробормотал Жора. — Куда было указано. А мы работали на совесть, смотрите сами...

— Дорога хорошая...

— Отрихтовали до сантиметра, хоть у машиниста спросите...

— Ни одного костыля не пропустили, проверьте сами.

— Шпалы все, как по линеечке... подбирали даже специально...

Литвиненко, одурев от абсурдности ситуации, в отчаянии и ярости топал ногами:

— Линеечки!! в глотку тебе линеечку!! чтоб голова не болталась!!! Белоборск где?!

— А где ж ему быть, — рассудительно отозвался из кабины Прокопенюк. — Стоит себе, где стоял.

— А мы где?! — надсаживался Литвиненко, топая, как бы показывая этим топом место, где они находятся.

— А это дело не мое, — здраво отрекся Прокопенюк. — Линию вы проложили сами, дистанцию задали сами, мы выполнили. Проверяйте сами.

— Проверю, — скрежетнул Литвиненко, — я тебя так проверю, что мама родная не узнает, тебя еще так проверят — жить будешь, а бабу не захочешь, вредитель.

— А вы мне ярлыки не вешайте, — с достоинством сказал Прокопенюк. — Я вам не зека, и жаргончик бросьте. Вон у меня бригада свидетелей. Давайте — вызываем комиссию! Пусть проверяют. Еще поглядим, кого из нас и где проверят... проверяльщик.

Багряный туман пал на Литвиненко, и телеграфным звоном зазвенела в нем невидимая струна... Очнулся он от ощущения холодной воды на лице. Он лежал на брезенте, над ним хлопотали.

— Ничего, — нежно сказал Жора. — Ничего, вы не волнуйтесь. Мы в крайнем случае дальше ее протянем.

Литвиненко встал (его поддержали), схватил компас и с треском, как кабан, вломился в заросли. За ним последовали гуськом.

— Егор, ты в кабине останься, — велел машинисту предусмотрительный Прокопенюк. — Каждые пять минут подавай гудок. А то — тайга, как природный коми сам понимаешь.

Через полчаса Литвиненко взялся за сердце, размазал с потом комаров и опустился на сырой мох. Гудок глухо доносился издали.

— Лезь на сосну! — ткнул пальцем в Жору. — Не на эту! вот на ту лезь, она выше и на отшибе стоит.

— То кедр, — сказал Прокопенюк.

— Я не умею, — конфузливо сказал Жора. — У нас лесов нет... откуда научиться...

Полез рябой парнишка: снял солдатский ремень, охлестнул вокруг ствола и двинулся, упираясь ребрами сапог.

— Дальше лезть? — прокричал он с вершины, полускрытый ветвями. — Тонко уже здесь!

— Реку видишь?

— Нет!

— Лезь!!

Нет, не было реки.

Выбрались обратно. Литвиненко молча влез в кабину, цыкнул:

— Домой — жив-ва!

Мерил карту, тупо смотрел на пляшущую стрелочку армейского компаса: недоумевал.

— Может, карта неверная? — предположил добрый Егор Карманов. — Или компас барахлит? У нас был вот в армии случай...

— Да заткнись ты со своими случаями!.. Дуй давай.

У конторы впрыгнул в свой газик и зловеще приказал:

— В Белоборск! И только встань по дороге — в лесу сгною, завтра же сучки рубить отправишься.

Шофер Сашка Манукян, отбывающий здесь ссылку после срока, униженно ответил: «Слушаюсь, гражданин начальник», и в особо зловредных промоинах даже подстанывал от усердия в тон воющему мотору.

Белоборск, как и предсказывал справедливо Прокопенюк, стоял на месте. Неожиданное появление директора вызвало удивление.

Встали на бережке. Разложив злополучную карту на капоте, Литвиненко упорно пытался понять, где ошибка. Никакой ошибки не было: все сходилось, все было указано правильно — и длина дороги, и направление... вот здесь, в каких-то двадцати метрах, за медленной темной водой, должны сейчас лежать рельсы. А не лежат.

— А ну давай на тот берег.

— Почти по пояс, зальет, что вы...

— Пошли со мной!

— Да вон здесь брод удобный, полста шагов.

Разделись до пояса (снизу, естественно), и, мощно ворочая задом, Литвиненко взбурлил воду.

Выбравшись на осклизлый берег, затрубил:

— Э-ге-гей! Прокопеню-у-ук!

Эхо отозвалось какое-то матерное. Никаких иных звуков не воспоследовало.

— Пошли!

— Куда?

— К дороге.

— Так она где ж?

— Там.

— Так а если в стороне?

— Идем на тридцать девятый километр.

— Я не пойду, — тихо сказал Сашка.

— Почему еще не пойдешь?

— Заблудимся...

Литвиненко поозирался, подумал хоть в ухо ему дать... и повернул назад. На середине передумал:

— Садись в машину и через каждые две минуты — сигналь! Через час не вернусь — привезешь народ на поиски.

Через час вернулся — без успеха, злой, — и закручинился...

Самый-то кошмар начался назавтра. Ударная бригада объекта особого назначения в полном составе сидела на бревнах под окнами кабинета, деликатно куря.

— Ну, значит, это... — встал Прокопенюк.

— Почему не на работе?!

— На какой такой работе? У нас аккордный наряд на восемь километров. Сделали. За четыре дня до срока.

Литвиненко сдержал гнев:

— Ты мне дурака не валяй. В лес сейчас же все.

— В лес — это можно, — согласился Прокопенюк. — Всю жизнь в лесу. За этим дело не станет. Но сначала это... объект официально принять надо.

— Да что ж у тебя принимать?!

— Дорога железная узкоколейная восемь километров рельсы ТИП-22 на круглых шпалах без подъемных работ по просеке, — наукообразно вывалил Прокопенюк.

— Приму, когда дойдете до Белоборска.

— Этого в наряде нет, — возразил Прокопенюк. — В наряде указано — восемь километров. Так что — надо принять.

Литвиненко задумался тяжко. Положение нарисовалось безвыходное.

— Вот что, — пообещал он. — За работу получите сполна. Но сначала надо дойти до Белоборска.

— Так хлопцы работать не будут, — возразил Прокопенюк.

— Отчего же не будут? Им что, не все равно?

— Я в суд подам, — сказал Прокопенюк в ответ.

— Подавай, — усмехнулся Литвиненко. Закон — тайга: кое-какие связи у него еще оставались.

Прокопенюк оценил ухмылку правильно — сманеврировал:

— Тогда я катаю жалобы в райком, министерство и все газеты, — пригрозил бестрепетно. — Комиссии наедут. Слушайте, оно вам надо?

Литвиненко начал, наконец, осознавать, что из хозяина положения превратился в его раба. Комиссия из райкома будет крахом его планов, его карьеры... всего.

И тут, разумеется, по закону подлости — или закону нагнетания драматических эффектов, если угодно, — зазуммерил радиотелефон — вертушка. Литвиненко махнул Прокопенюку — мол, выйди, но тот уставился в окно, как бы не замечая желания выпроводить его.

— Да! — вытянувшись, кричал Литвиненко. — Да, подходим! Да, обязательно! Конечно!

— Ты смотри, — пищала трубка, — мы тебя в маяки выдвинули. Ты у нас теперь основатель почина, держись на высоте. Поддержим.

Долго горбился над телефоном, сжав виски кулаками.

— Что мне сказать ребятам? — разбил тишину Прокопенюк. — Ребята летом в отпуск не ходили, товарищ директор. А?

— Заплачу, — решился и рубанул Литвиненко. — Обещаю.

— Так — когда?..

— Сейчас!

— И аккорд?

— И аккорд.

— И пусковые?

— И пусковые.

— Тогда позвоните в бухгалтерию, пусть подпишут наряды-то.

Приемная комиссия в составе самого Литвиненко, главного инженера и старшего экономиста проехала по восьми километрам безукоризненной дороги и уперлась в тупик.

— Дорога в порядке, — твердо приговорил Литвиненко и скрепил бумаги своей подписью. Зыркнул приказующе, опасно.

В бухгалтерии поморщили бровки, посвистали носиками, но формально все было чисто: деньги на бочку.

Вечером Литвиненко крепко врезал и расхаживал по комнате, борясь с отчаянием.

— Главное — не выметать сор из избы, — повторял зацикленно, — главное — не выметать сор... Если узнают наверху... Нет!! — грохнул кулаком по стене так, что упала фотография в рамке. — Так дойду ж я до Белоборска! сдохну — дойду!

Он виделся себе сказочным богатырем, окруженным врагами, мелкими и погаными, пытающимися мешать ему в праведном и победном намерении.

«Первое: никакой утечки информации. Дуракам полработы не показывают. Победа все спишет! И не такое делали.

Продолжать работы!!!»

Назавтра он не подписал отпуска двум девочкам из бухгалтерии, тракгористу из сплавной конторы и крановщику.

— Товарищи, сейчас не время. На нас смотрит вся республика. Именно нам доверили проводить ответственный эксперимент по маневрированию рабочими ресурсами, по использованию внутренних резервов. Надо понимать — это особое положение. Сделаем дорогу — отпущу в отпуска всех. Причем бесплатный проезд обеспечу не только тем, кто не летал на материк уже три года, но и всем

остальным, — оформим вперед. Даю слово. Это согласовано наверху, — убедительно врал он.

Оплаченный проезд понравился. Отпуска временно не оформлялись.

Точно так же временно прекратились любые командировки.

— Подождешь, — говорил он завгару. — Снимай детали со старых машин. Потерпи — выбью дополнительные фонды. Кончим объект — лично слетаю на завод, получишь все. Обещаю!

Упоминание о личном визите на завод подействовало.

Теперь следовало озаботиться приезжающими сюда. Литвиненко вызвал к себе начальника метеослужбы. Разговор долго кипел за закрытой дверью. Секретарше Любочке удалось разобрать отдельные слова: «Грузооборот!», «Совесть!», «Государственные интересы!» — и еще несколько, повторить которые она отказалась. Метеоролог вывалился перекошенный, пряча в карман записку к завскладом. С этого дня в Усть-Куломе прочно установилась нелетная погода — такой ненастной осени не припоминали даже старики-ветераны местной авиации.

Перекрыв такими мерами каналы возможной утечки информации, Литвиненко отбыл на объект — уже на девятый километр. Его сопровождал электромонтер с кошками и монтажным поясом. На месте Литвиненко облюбовал высочайшую мачтовую сосну, отобрал у монтера причиндалы и полез наверх лично.

Наверху шумел ветер. Пахучая смола липла к пиджаку. Пачкаясь, он поднес к глазам бинокль... Черт его знает: зеленое море тайги, будь оно проклято, шумело кругом, высокие соседние кроны закрывали обзор, и ничего было не разглядеть...

— Продолжать работы! — приказал он, спустившись.

На десятом километре бригадир разборщиков доложил:

— Рельсы кончаются... Где брать?

— Снимай со старой ветки. Скоро придет еще баржа с рельсами.

Это он чушь ляпнул, все понимали, что сейчас баржа никакая уже не придет, поздно, пришла бы в июле, заказывается всё на год вперед; но промолчали. Тем более что заработки были хорошие.

На одиннадцатом километре Литвиненко с горя задумал обратиться к помощи науки. Призвал в кабинет школьного учителя географии и сторожа мастерских, в прошлом младшего лейтенанта артиллерии, и указкой по карте изложил проблему.

Учитель пришел со своим компасом. Он долго вертел его, устанавливал, потом вертел карту, потом мерил расстояние, потом листал учебник.

— Ну?! — подстегнул Литвиненко. — Чему тебя учили? Сходится по твоей биогра... тьфу, географии?

— Да по науке вроде сходится... — испуганно согласился учитель.

Сторож-артиллерист посоветовал:

— Стодвадцатидвухмиллиметровая гаубица достала бы. Ахнуть раз — и отметиться по разрыву в Белоборске, и все ясно тогда бы.

— Вот ахну тебе раз! — плюнул Литвиненко. И отослал консультантов подальше, озлившись.

Вечером учитель робко постучался к нему домой: он родил спасительную научную идею.

— Однако теодолит нужно, — сказал учитель.

— Где я тебе возьму теодолит?! Нет у нас теодолита!

— Дорогу нельзя без теодолита. Потому и не выходит.

Выяснив, что в дортресте у самих приборов в обрез, Литвиненко предпринял трехдневную речную экспедицию в соседний леспромхоз. Теодолит ему обменяли на пол-ящика водки, списав его у себя по ведомости как пришедший в негодность из-за работы под дождем.

Теодолит торжественно вручили дорожному мастеру Левину, безгласному и безвредному соглашателю, и немедля отправили в лес — готовить научные объяснения к приезду начальства. Левин укатил на дрезине, бережно обняв драгоценный прибор, каковой при высадке и расколол необъяснимым образом вдребезги о рельсы.

Пред расстрельными очами Литвиненко он дрожал волнистой мелкою дрожью, как жалимый слепнем лошак, и лепетал о стрессе, азимуте и недостатке практики после института.

— Под суд пойдешь! — с бешеным наслаждением определил Литвиненко. — Мастер-ломастер... вредитель! Прибор уничтожил? Дорогу завел неизвестно куда? А диплом имеешь! Вот за все и ответишь — по полной строгости!

Назначив Левину роль громоотвода, Литвиненко слегка воспрял духом: найти виновного — решить полпроблемы.

Ночью Левин сбежал, не дожидаясь дальнейшего развития событий. Расследование установило, что он захватил чемодан с вещами и воспользовался одной из лодок на берегу. Настичь дезертира не удалось: видимо, он плыл в темноте, а днем прятался в зарослях. По слухам, Левин сплыл аж до Мезени, а там сел на самолет.

Предупреждая рецидивы, Литвиненко оснастил причалы автомобильным прожектором и приставил к нему сторожа. Спохватившись, надавил на начальницу почтового отделения и тайно ввел перлюстрацию писем: никаких упоминаний о секретном объекте. (Он сам не заметил, как мысленно стал именовать объект из ударного — «секретным».)

Переход на блокадное положение завершился. Усть-Кулом блокировал сам себя.

А дорога росла, и страх перед грядущим разоблачением рос вместе с нею. И одновременно рос интерес вышестоящих инстанций — интерес профессиональный, специфический:

— Каковы показатели за последний месяц?

— Сто два процента по сравнению к предыдущему!

— А себестоимость снижаете?

— Неуклонно! Сейчас снимаем рельсы с ближнего уса, расстояние подвоза сократили втрое.

— Производительность труда растет?

— Плюс три с половиной процента. Люди работают героически! Ставим жилые будки прямо на трассе, экономится время на дорогу.

— Давай, Литвиненко, жми!

Литвиненко жал. Иногда ему со злорадством хотелось увидеть лицо начальственного абонента при известии, что путь протянулся уже на семнадцатый километр.

В неделю раз он не выдерживал и на газике мотался в Белоборск. Оттуда регулярно высылались поисковые экспедиции — и, проплутав в чаще, приплетались ни с чем. Самое поразительное, что (по донесению информатора) орлы Прокопенюка не единожды хаживали напрямки в Белоборск за водкой — и добывали! Но прижать их с поличным не удавалось, а припертые в угол они все отрицали всё категорически!..

Уже ложились белые снеги, уже в две смены вкалывали на узкоколейке снятые с кварталов бригады, уже... кошмар.

Ах, самолет бы ему, вертолетик бы, дирижабль — хоть на день, на один часочек: взмыть над землей, окинуть с высоты, увидеть, понять. Не было вертолетов: ни геологов на связи, ни военных под боком, хоть ты тресни.

Однажды, когда по его приказу была объявлена летная погода, — хоть в пару недель раз должен прилетать борт, иначе неправдоподобно, и так-то дико, что обратных пассажиров нет! — он пытался воздействовать на командира экипажа. Командир мямлил, что плоховато знает своих людей, штурман новый... лимит горючего, полетный лист, права не имеют... Кого колышет чужое горе. Плевать ему было на узкоколейку. Таких благ, чтоб его соблазнить, у Литвиненко не оказалось.

— Тысяча рублей! — грубо предложил он.

Летчик понял, что тут пахнет чем-то нехорошим, опасным, возможно даже угоном самолета и побегом преступной группы, и отказался наотрез.

Если раньше Литвиненко испытывал чувство нереальности, то теперь постепенно у него, как и у всех, нескончаемость дороги стала какой-то привычной, как часть пейзажа или особенность климата. Ну, раньше валили лес — теперь строили дорогу: в принципе-то ничего не изменилось. Так же выполняли план, закрывали наряды, получали зарплату, лаялись на планерках...

Сверху давили:
— Больше!
— Быстрее!
— ...дешевле!
— ...экономичнее!

По дорожному строительству они прочно держали первое место по отрасли, их стали отмечать в сводках и докладах.

Главным лицом в поселке сделался Прокопенюк. Прокопенюк больше всех зарабатывал. Прокопенюк мог выгнать с объекта, а мог принять, объявив ценным специалистом. Прокопенюк мог расценить работу так, а мог эдак. А главное — Прокопенюк стянул все вожжи в свои руки — выглядел необходимым, незаменимым.

В проблесках Литвиненко сознавал, что гибнет, но пути назад не было. Телефон зудил, телефон терзал его:

— Темпов не снижать!
— Почему не растет прирост производительности!
— Усилий не ослаблять!

К торжественной дате грянула новая напасть:

— Пришла разнарядка на правительственные награды. Вам решено выделить орден Красного Знамени. Представь кандидата. Записывай данные: пол — мужской, партийность — партийный, возрастная группа — от сорока до пятидесяти, национальность — интернациональная, не русский, но и не местный, не коми, а представитель братского народа... но — братского, ты понял? Так; образование — среднее, социальная принадлежность — рабочий. Повтори!

Прокопенюк укладывался в эти данные, как бильярдный шар в лузу: Литвиненко лишь фамилию и место рождения проставил.

— У вас там что, сплошные метели нынче? Ничего, прилетим: жди гостей! Кстати, чтоб пустил рабочий поезд из этого... как? Белоборска. У нас республиканская телехроника заказана. Так что — готовься показать товар лицом!

— Есть! — мертвым голосом ответил Литвиненко.

Считая дни, перешли на круглосуточный трехсменный график. Усы снимали уже не только с выбранных кварталов — с рабочих, подряд. Да там все равно уже никто не работал: вальщики стояли вдоль новой трассы, удаляющейся в дальнюю даль...

В полном составе леспромхоз лихорадочно вел дорогу.

Добыча леса происходила только в документах, и в многочисленных и противоречивых документах этих все было в исключительном порядке: контора функционировала отменно, ей без разницы было, какой лес считать — реальный или воображаемый: четыре действия арифметики соблюдались неукоснительно.

Бессонной ночью у Литвиненко родился очередной гениальный план. На восьмом километре надо вырыть реку. Ну, не реку — длинный и узкий пруд, загибающийся влево-вправо в тайгу, чтоб не видно было. Через него — мост.

Воду привезти в цистернах. Дома построить, или даже — разобрать и перевезти белоборские строения. Жителей переселить. И дело с концом!

Он звонком поднял с постели экономиста и приказал обсчитать проект. Экономист посмотрел на него с ужасом и пошел домой считать.

Утром Литвиненко пригласили в больницу. Главврач, по специальности гинеколог, а по совместительству также травматолог и невропатолог, завел туманную беседу о числах месяца, возрасте и прошедших событиях.

— Я не сумасшедший, — ответил Литвиненко проницательно. — Просто я работаю в экстремальных условиях, доктор. А вот с экономистом я бы на вашем месте разобрался, уложил на обследование: в своем он уме или рехнулся, принимая во внимание все обстоятельства, стучать на начальство?.. Да я его живьем сожру!!!

Главврач с кряхтеньем признал здравость суждений пациента и прописал пить элениум, выцыганив заодно полтонны бензина для санитарной машины и тридцать рулонов рубероида для ремонта крыши этой развалюхи, больницы его вшивой.

Литвиненко перекрестился и стал готовиться к встрече.
Сколько веревочке ни виться, а гром грянет.

Торжественная и ответственная комиссия вылезла из самолета, неся зачехленное переходящее знамя. Следом вывалились телевизионщики, нацеливая свою аппаратуру. Попросили комиссию вернуться в самолет и сойти по трапу еще раз. Попросили летчиков взлететь и сесть еще раз. Летчики отказались.

Литвиненко отрапортовал, по укоренившейся привычке вздев ладонь к шапке. Оркестр оторвал звенящий ликующий туш. Нарядный Прокопенюк тянулся пред строем своей бригады, всосавшей все явные и скрытые трудовые ресурсы леспромхоза.

Знамя расчехлили и вручили.

Прокопенюка наградили, обняли, облобызали и поздравили.

Потом Литвиненко тоже наградили, обняли, облобызали и поздравили.

Произнесли поощрительную речь и две ответных.

Оркестр сыграл «Славься» и «Марш энтузиастов», музыканты вытряхнули из мундштуков слюну на блестящий под солнцем снег.

Прокопенюк, не застегивая пальто, поминутно трогал на лацкане новый, как игрушечный, орден.

Телевизионщики заставили молдаванина Жору раздеться до пояса и обтираться снегом, при этом улыбаясь: «У вас киногеничные зубы».

Литвиненко верноподданнически таращил глаза, помня лишь одно: не пустить комиссию выбраться из поселка, не пустить, не пустить!!

Операция развернулась.

— А теперь пожалуйте отведать наших хлеба-соли! — сказала секретарша Любочка в национальном костюме неизвестного народа, улыбаясь льстиво и протягивая на рушнике, специально вышитом женой Литвиненко, румяный каравай, специально выпеченный Данилычем: старый армейский пекарь Данилыч тренировался неделю и извел

полтора мешка канадской муки без примесей, пока добился результата. В каравай была всунута деревянная в резных узорах солонка, оставшаяся Егору Карманову от бабки и временно реквизированная.

Начальство общипало каравай, демократично пожевало хлеб-соль.

Превзошедший крутую службу Литвиненко задирижировал, чутко играя на психике гостей.

— А сейчас — просим — дорогих гостей — пройти к поезду! — продекламировал он. — Поедем — на открытие — нашей новой — трассы! — взмахнул рукой, как конферансье перед распахивающимся занавесом. Прокопенюковцы зааплодировали.

— Ур-ра!!

Начальство чуть растерялось под этаким напором, снимающим предусмотренную программу. Темп был навязан. Разобравшись в колонну по старшинству, послушно потянулись с маленькой приаэродромной площади по сплошной ковровой дорожке. Дорожку эту в количестве пяти рулонов завезли некогда в орсовский магазин, и вот годы спустя все куски вновь собрались воедино, тщательно подобранные друг к другу по степени истоптанности и сшитые.

По центральной улице нарядная воспитательница конвоировала нарядных детишек.

— Скажите дядям хором: здравствуйте! — прощебетала она.

— Здра-ствуй-те! — отрепетированно грянули юные граждане.

Начальству следовало отечески умилиться. В отеческом умилении неловко было бы игнорировать милый призыв заглянуть в наш садик. Садик был надраен до состояния идеальной казармы. Веяло распрысканным одеколоном и гастрономическими изысками.

— А это наша кустовая больница. Как только закончим дорогу — закладываем новый корпус!

— Смета уже есть?

— А как же. Причем очень экономичная.

На белом крыльце встречал белый главврач в белой шапочке, белом халате, белых шароварах и белых тапочках. Сестры тянулись по ранжиру. Свежая краска липла к подошвам. Больные выглядели самыми здоровыми больными в мире. Они и были здоровыми: больных на этот день спихали с глаз подальше в инфекционное отделение.

Вся жизнь большинства поселков сконцентрирована на центральной улице. В зависимости от величины поселка растет обычно не количество улиц, а длина одной — центральной. На этом и основывался план. К середине улицы делегаты, люди хоть и тренированные, изрядно притомились, да и время обеда приспело.

За обедом же, сервированным в отскобленной до глянца столовой, ввек столовая такого обеда не видела и впредь не увидит, гостей опекали индивидуально, умело, споро, — со всеми вытекающими отсюда последствиями, и текли те последствия щедрой рекой. После первых тостов добавили водочку особую, усиленную питьевым спиртом, замороженную до полной потери вкуса и запаха, один смак в ней остался да тайный градус, и летела она, как говорится, птицей — под рыжики соленые, медвежатинку копченую с черемшой, лосиный окорок с клюковкой моченой, карбонат шкворчащий из дикой кабанятинки, филе глухарей тушеное (не вовсе еще оскудела тайга, найдутся деликатесы для нужного случая!), зайчатинку под соусом, рябчиков и куропаток, нежно похрустывающих, в топленом маслице, беломясую рыбку чир малосольную, тающую, — и не хочешь, а выпьешь и закусишь, и повторишь. Из-за стола гостей разносили по спальням.

Короче, наутро улетать, а тут дай бог опохмелиться и выжить.

Опохмелились; выжили. Подсуетились. Телевизионщики были старые волки, из тех, что снимут хоть Ниагарский водопад в кухонной раковине: без материала возвращаться не привыкли.

Запив шампанским соду и анальгин, давя икоту и отрыжку, заползли в праздничный поезд, два вагончика при

мотовозе, украшенных транспарантами и сосновыми лапами: тронулись. (Машинисту наказано было везти п л а в н о!)...

Церемонию качественно отсняли на разъезде у пятого километра. Там уже ждал рабочий поезд, также украшенный.

Вид первый: приближающийся поезд, счастливые рабочие машут с подножек, с площадки локомотива. Вид второй: ответственные товарищи с достойной радостью выходят из вагона. Вид третий — братание: объятия и поздравления.

Вид четвертый: как бы летучий митинг. Вид пятый: перерезание ленточки, запасливо прихваченной с собой. И вид последний: удаляющийся поезд.

— Стоп! Отлично! Всем спасибо. А теперь, товарищи — кто-нибудь не мог бы спилить дерево, побольше такое, чтоб оно упало?

Сняли падающее дерево.

— И хорошо бы укладку последнего звена, смычку.

В минуту разболтили, расшили пару рельсов, оттащили, подтащили...

— Что, руками? А крана нет?..

— Какой же кран, это узкоколейка, сто тридцать килограммов весь рельс... — посмеялись.

Из справедливости надо заметить, что съемка абсолютно ничем не отличалась бы от той, которая изображала бы всамделишное явление поезда из Белоборска. Да и от тысяч других нормальных хроник.

На аэродроме винты взмели снег — «Барин сел в карету и уехал в Питер».

Такое дело хорошенько обмыли, допили-доели угощение, погуляли — чтоб было что вспомнить; разобрали дорожку на коврики, вселили больных на место; обсудили, успокоились, зажили.

Надо было жить и работать дальше.

Перевыполняли план, брали обязательства, закрывали наряды, составляли сводки, подписывали отчеты, получали премии.

Дорога исподволь стала предметом гордости. Таких больше нигде не было. Втянулись; полюбили.

В перспективе прикидывали мысль класть ее в две колеи: прогресс.

Начальство следило за успехами, координировало действия, подстегивало, поощряло.

Установившееся неодолимое внутреннее влечение тянуло Литвиненко еще и еще раз взглянуть на трассу, пожать родственные руки работягам, втянуть мерзлый железный запах ломов и рельс. Выезжал с волнением, с томительной отрадой отзывалось тело подрагиванию колес на стыках, до боли вглядывались глаза в знакомый наизусть, до мельчайшей приметы, единственный и родной пейзаж. В чертову дикую даль летела дорога, прямая, как выстрел, натянутая, как нерв, стремительная и бесконечная, как звездный луч, стальным штыковым блеском прорезая заснеженную тайгу, замерзшие болота, застланные пади, над которыми кривым огнистым ятаганом стояла комета и переливалось апокалиптическими сполохами великое северное сияние.

Впрочем, днем было светло.

ПРАВИЛА ВСЕМОГУЩЕСТВА

«Что бы я сделал, если бы все мог».

— А вы?

Мефистофель с хрустом ввернул точку:

— А я могу больше: одарить этим вас. — Он отер мел и обернулся к ученикам: — Соблазняет? Прошу дерзать!..

Тема была дана.

Здесь надо пояснить, что Мефистофеля вообще звали Петром Мефодиевичем. Или Петра Мефодиевича звали Мефистофелем? как правильно? Велик и могуч русский язык; не всегда и сообразишь, что в нем к чему. Валерьянка вот не всегда соображал, и скорбные последствия... простите, не Валерьянка, а Вагнер Валериан. «Школьные годы чудесные» для слабых и тихих ох не безбедны, а еще дразнить — за какие ж грехи невинному человеку десять лет такой каторги.

Но — о Петре Мефодиевиче: он здесь главный — он директор средней школы №3 г. Могилева. А по специальности — физик. Но любит замещать по чужим предметам.

Прозвище ему, как костюм по мерке: черен, тощ, нос орлом, лицо лезвием — и бородка: типичный этот... чертик с трубки «Ява». Но это бы ерунда: он все знает и все может. Поколения множили легенду: как он выкинул с вечера трех хулиганов из Луполова; как на картошке лично выполнил три нормы; как по-английски разговаривал с иностранной делегацией; а некогда на Байконуре доказал свою правоту самому Королеву и уволился, не уступив крутизной характера.

Петр Мефодиевич непредсказуем в действиях и нестандартен в результатах. Когда Ленька Мацилевич нахамил химозе, Петр Мефодиевич сделал ему подарок — книгу о хорошем тоне, приказав ежедневно после уроков сдавать страницу. К весне измученный, смирившийся Мацыль взмолил, что жизнь среди невежд губительна, а станет он метрдотелем в московском ресторане.

После его урока географии Мишку Романова вынули в порту из мешка с мукой: он бежал в Австралию. Замещал историчку — и Валерьянка всю ночь рубился с римскими легионами; проснулся изнеможденный — и с шишкой на голове!

На Морозова только полыхнул угольными глазами, и Мороз зачарованно выложил помрачающие ум карты; он клялся, что действовал под гипнозом, оправдываясь дырой на том самом кармане, прожженной испепеляющим взором Петра Мефодиевича.

А однажды у стола выронил фотографию, а Генчик Богданов подал: так Генчик уверял, что на фотке молодой Петр Мефодиевич в форме офицера-десантника и с медалью.

Вследствие вышеизложенного Петр Мефодиевич титуловался заслуженным работником просвещения и писал кандидатскую по педагогике с социологическим уклоном; ныне модно. И ему необходимо набирать материал и личные контакты по статистике. (Опять я, кажется, неправильно выражаюсь.)

Теперь понятно, почему Мефисто... простите, Петр Мефодиевич обломал кайф классу, праздновавшему болезнь русачки срывом с пятого-шестого сдвоенных русск. яз-а и лит-ры. Петр Мефодиевич нагрянул лично, пресек жажду свободы и дал взамен свободу воображаемую в рамках педагогики: ход, высеченный мелом на влажном коричневом линолеуме доски.

— Почему нерешительность? М? Чего боимся? — подтолкнул Петр Мефодиевич.

Класс вперился в доску. Сочинение на свободную тему: искус и подвох... Школа — она приучит соображать, прежде чем раскрывать рот, будьте спокойны. С этой задачей она справляется неплохо. Некоторые так вышколены, что потом всю жизнь... но мы отвлекаемся.

«Что сделал, если б все мог», — хо-хо! Эх-хе-хе... Так им все и скажи: нашел дурных. А потом кому диссертация, а кому колония для малолетних? Класс поджался и замкнул души.

— Писать донос на себя самого? вот спасибо, — суммировал общественное подозрение скептик Гарявин. — Милые идеи у вас, Петр Мефодиевич.

«Я еще мал для душевного стриптиза», — пробурчал коротышка Мороз. А Олежка Шпаков успокоительно поведал:

— Я, если б мог, вообще бы ничего не делал.

Свалившаяся вседозволенность озадачивала неясностью цели: одно — стать отличником, чтоб они все отцепились, а другое — превратить недостатки настоящего в цветущее будущее.

— Тяжкая стезя? — ехидно посочувствовал Петр Мефодиевич. — Морально не готовы? Или — не хочется?..

— Все — это сколько? В каких пределах? — осведомился вдумчивый Валерьянка, Вагнер Валериан, и показал руками, как рыбак сорвавшуюся рыбу: широко, еще шире, и вот рук уже не хватает.

— Все — это все, — кратко разъяснил Петр Мефодиевич, взмахнув рукой вкруговую. — Ни-ка-ких ограничений. — Он гордо выпрямился: — Я освобождаю вас от химеры, именуемой невозможностью.

Освобожденный от химеры класс забродил, как закваска.

— Напишем чего думаем, а потом ваша наука не туда зайдет, — посочувствовала пышка-Смелякова.

— А отметки ставить будете?..

— А без этого нельзя, — соболезнующе сказал Петр Мефодиевич.

— Э-э... — укорил Курочков, прославленный изобретатель самопадающих в двери устройств. — Удобная позиция: не ограничивать нас ни в чем, чтоб мы себя сами ограничивали во всем.

— Отметки пойдут не в журнал, а в мою личную тетрадку, — обнадежил Петр Мефодиевич, улыбаясь провокаторски.

— Час от часу не легче, — отозвался из-за спин спортсмен Гордеев.

— А фамилий можете вообще не ставить, — последовал сюрприз. — Это для меня роли не играет...

О?! Класс взревел, словно у него отлетел глушитель. Отчетливо запахло счастьем, свободой; возмездием.

А Петр Мефодиевич, погружаясь в огромную черную книгу с иностранным названием и физическими формулами на обложке, подтолкнул:

— Вы всемогущи! То, о чем всегда мечтали люди, — дано вам!

Дотошный Валерьянка снова потянул руку:

— А это всемогущество — предоставляется нам всем? Или как будто мне одному?

— Только тебе, одному на свете за всю историю. Решайся! — второй такой возможности не представится никогда.

А не писать можно, опасливо хотел спросить Валерьянка... но жалко упускать такую возможность... И только поинтересовался:

— А — как же все? Остальные?

— Этого вопроса не существует, — отмел Петр Мефодиевич. — Нет остальных, — вскричал он. — Есть только ты, всемогущий, который сам все делает и сам за все отвечает.

Он потряс черной книжкой, извил пасс худыми руками, кольнул бородкой. «Гипнотизирует», — суеверно подумал Валерьянка и успел сравнить угольные глаза с пылесосом, всасывающим его.

И неожиданно улыбнулся, принимая условия игры — как бы открывая их в себе: да, он всемогущ. Он: один. Здесь и сейчас.

И очень просто.

Он покачнулся и сел.

И посмотрел на белый прямоугольник — раскрытый лист...

Лист был чист и бел. И в то же время неким внутренним зрением он словно провидел на нем абсолютно все. Ему оставалось только сделать это. В смысле написать. В смысле — это означало одно и то же.

1). Начнем с яйца (вареного или жареного?): прежде всего Валерьянка элементарно хотел есть. Последние уроки, вот и подсасывало. Аж желудок скрипел, как ботинок (кстати, их тоже ели, только варить долго).

На обед предполагались котлеты с картошкой и борщ, но тут уж Валерьянка щадить себя не стал. Он угостился шоколадным тортом и закусил его ананасом (интересно, каковы на вкус эти ананасы?). Желудок застонал в экстазе, и голодный чародей охладил его дрожь двумя порциями пломбира. Какое легкомыслие — две! Двенадцать! А если бефстроганоф смешать с вишнями и залить какао, что выйдет? — блюдо богов! Жаль, что их нет и они этого не знают.

Нет грез слаще, чем гастрономические грезы голодающего. Как говорится, жизнь крепко меня ударила, но сейчас я ударю по жратве еще крепче. Валерьянка зарылся в

яства, как роторный канавокопатель: он давал сеанс одновременной жратвы.

Черствая жизнь обернулась своей съедобной стороной. Вместо супов и каш были семечки. В полях самовыкапывался картофель фри в масле, а на лугах паслись бифштексы. Конфетные города шумели лимонадными фонтанами. С домов отваливались балконы из пирогов, водопровод плевался компотом, а в унитазе... э, стоп, это чересчур.

В газетных киосках давали варенье. Школьный буфет награждал пирожным в компенсацию за каждый отсиженный срок урока. Арбузы и персики катились по улицам, тормозя перед светофорами. Мармеладный милиционер в шоколадной будке махал копченой колбасой.

— Дорогу жиртресту! — скомандовал милиционер, и Валерьянка обмер и провалился. Верно — он стал «плечист в животе»: он был просто приделан к этому дирижаблю, а где застегивались брюки, торчало опорное колесико, как у самолета. Где-то внизу переступали, с натугой толкая вес, нечищенные (не достать!) ботинки... Правда, мороженое вызвало хроническую ангину, избавившую от школы, но не такой же ценой... а если вместо этого гланды вырежут?..

Его дразнили на улице и лупили во дворе. Спасибо вам за такие возможности!

2). Прожорливый волшебник закручинился. Мочь все — занятие не для слабых: шагнул шаг — и последствий не оберешься...

Скажем, еда: возьмется ниоткуда — или все же откуда-то? Если да — то откуда? А вдруг там после этого голодают? и ОБХСС ищет... Тень тюремной решетки пала на веер кошмарных картин:

Арбузная бахча укатилась на север, и сторож продает свое имущество — шалаш, берданку и пугало, покрывая убытки. Продукция кондитерской фабрики испарилась в неизвестном направлении, но клятвам директора вторит саркастический смех прокурора. Магазин пуст, и денег в кассе, естественно, не прибавилось: ревизия вызывает конвой.

Ничего себе закусили. Теперь требуется какое-то сверхмогущество, чтобы вызволить невинных из скверных ситуаций...

Может, лучше всем за все платить? Но тогда — кому, сколько, а главное — чем?.. на такую диету мама с папой отреагируют касторкой и клизмой в лучшем случае, но не карманными деньгами — на его аппетит их зарплат не хватит.

Еда должна браться ниоткуда — это решит массу трудностей. Порядок возможен при одном условии: чтобы все делалось из ничего.

А есть явно или тайно? Тайно — нехорошо, явно — еще хуже: могут занести в Красную книгу и в зоопарк, как достопримечательность.

Ясно одно: толстеть отменяется. Проблему питания лучше всего решить таким образом, чтобы вообще не есть, но всегда быть сытым. А на фига такое всемогущество, если даже не поесть толком?..

А если потечет пироговая крыша? Вода-то ладно, подставил таз и порядок, а варенье потечет? это замучишься потолок облизывать.

Благое предприятие рушилось девятым валом проблем. Всемогущество требовало продуманности и организации. И оно было организовано: Валерьянка придумал

Первое правило всемогущества

Что бы ни делалось —
это хорошо, и ничего плохого не будет.

И, упорядочив этим всеобщий хаос, переключился на следующую страницу славных деяний, где

3). в подъезде его по обычаю приветствовал падла Колька Сдориков из 88 квартиры: в зад пинок, в лоб щелбан: «Привет, Валидол!».

Пусть победит достойный (хоть раз в жизни)! Изящная поза, легкое движение, и — поет победная труба, воет «скорая», спешат санитары, связку гипсовых чурок задвигают в машину: поправляйся, Коля, уроки я тебе буду носить.

— Всех не перебьешь! — доносится мстительно из-под гипса.

— Перебью, — холодно парирует Валерьянка. — Рубите мебель на гробы.

Вендетта раскручивается, как гремучая змея: в карательную экспедицию выходят, загребая пыль, дворовые террористы — жать из Валерьянки масло, искать ему пятый угол, снимать портфель с проводов. Трепещет двор и жаждет зрелищ: балконы усеяны, как в Колизее (девочки опускают большой палец: не щадить!).

— Открываем долгожданный субботник по искоренению хулиганства, — возвещает Валерьянка. — Концерт по заявкам жертв проходит под девизом «За одного битого двух небитых бьют». Соло на костях врагов!

Страшный восьмиклассник Никита-башня рушится, как небоскреб (длинного бить интереснее — он дольше падает). Похабщик Шурка висит на дереве: во фрукт поспел, пора и падать. Дурной Рог перепахивает клумбу: жуткая рожа среди цветов. А обзывала-Чеснок влетел в песочницу, одни ноги дрыгаются (и те кривые).

С балконов летят цветы и рукоплескания: «Свободу храброму Спарт... тьфу, — Валерьянке! Освободить его от физкультуры до конца школы!»

Поигрывая сталью мускулов, Валерьянка превращает поверженных в тимуровскую команду и гонит носить воду бабуле Никодимовой. (А на черта ей вода, у нее ж водопровод?.. Его прорвало! Чем меньше удобств, тем больше можно заботиться о человеке.) И под гром оваций...

4). Ага: вот заявятся родители этих битых обалдуев — будет гром оваций...

Толпа ярилась в прихожей, разрывая рубахи и тряся кулаками в жажде крови. А впереди сурово качал гербовой фуражкой участковый, предлагая пройти в милицию — и далее, лет на... сколько влепят?..

Что бы ни сделал — одновременно получается и противоположное... Отпадет всякая охота действовать, если в

итоге неприятности вечно забивают удовольствие. Нет худа без добра — а вот есть ли добро без худа?.. Тоже нет?..

Да где же справедливость?! Сейчас будет. И Валерьянка ввел

Второе правило всемогущества

Что бы ни делалось —
справедливость ненаказуема.

Но один считает справедливым одно, другой — другое... туманная вещь эта справедливость: рехнешься мозги ломать в каждом отдельном случае. Помногу думать над всем — вообще ничего сделать невозможно, разозлился он. И в окончательной, исправленной и дополненной редакции

Второе правило всемогущества

звучало так:

Что бы ни делалось — все довольны.

Это означало то же самое, но было гораздо проще и удобнее.

О! Сияющие родители в очередь жали ему руку, благодаря за чудесное перевоспитание их бандитов. «У вас огромные педагогические способности», — позавидовал доцент пединститута Малинович. Участковый отдал честь и пригласил возглавить детскую комнату милиции: «Только вы в состоянии исправить современную молодежь». А тренер Лепендин из 25 дома восхитился: «Бойцовский характер! Вы — феномен атлетики! Бокс по тебе плачет: жду завтра на тренировку».

5). В зале Валерьянка сделал заявление — исключительно в целях славы спорта — о включении его в сборную Союза. Тренер имел предложить сборную по нахальству и украситься скромностью. Непонятливый (по голове, видать, много били).

Валерьянка украсился скромностью и на построении нокаутировал неверующую секцию одним боковым ударом. Шеренга сложилась, как веер, и хлопнулась со стуком, как кегли. В заключение тренировки он нокаутировал тренера, что было квалифицировано как действие, заслуживающее минимум звания мастера спорта.

...На чемпионате мира сборная была представлена во всех одиннадцати весовых категориях одним человеком (так зато это ж был человек!). Что позволило значительно сократить расходы на содержание команды и тренеров. Экономилось и время: бои кончались досрочно — на тринадцатой секунде: две тратились на сближение с противником, одна на удар, и десять — счет рефери над поверженным.

— Чего считать: снимай шкуру, пока теплый, — добродушно шутил чемпион; публика восхищалась его обаятельным остроумием. Восторженным репортерам Валерьянка охотно открыл свой спортивный секрет победы:

— Я бью только два раза: второй — по крышке гроба.

Сэкономленное в боях время он уделял пропаганде спорта:

— Было бы здоровье, — говорил он, — а остальное купим. Сила есть — ум найдут. Плюс утренняя зарядка!

Триумф был заслуженный и сокрушительный. Фотография: Валерьянка на пьедестале весь в лентах и венках, как юбилейный монумент — сияла со всех изданий от «Пионерской правды» до «Курьера ЮНЕСКО». Одиннадцать золотых медалей положили начало музею наград, в который ЖЭК переоборудовал его комнату.

По утрам подъезжал грузовик с цветами, кубками и вымпелами. Сантехник Вася сидел у дверей и выдавал посетителям тапочки, а физрук Пал Иваныч проводил экскурсии, рассказывая о школьных годах героя и первых успехах, бессовестно приписывая их себе (или наоборот — каясь в близорукости: эх, не сумел разглядеть...).

Председатель спорткомитета отдавал Валерьянке рапорт и благодарил за облегчение и образцовую организацию работы: весь спорткомитет руководил теперь одним

человеком — им; а он неизменно оправдывал, поддерживал, защищал, не срамил, умножал, поднимал и радовал, побеждая всех, везде и во всем, на воде, в небесах и на суше.

Он вывел в чемпионы мира футболистов, уронил в воду судей результатами плавания, сломал штангу взятием веса и метнул молот из Лужников на стадион Кирова. Он обыграл Карпова, дав ему ферзя форы; Карпов похудел на десять кило.

Большой спорт превратился в физкультуру, потому что смысл рекордов исчез: все они принадлежали Валерьянке. Бывшие чемпионы вытерли слезы спортивной злости и возглавили группы здоровья. Самые отчаянные и честолюбивые смотрели кино, анализируя его приемы и оспаривая вторые места.

Международная федерация присвоила ему почетное звание супермастера по всеборью, а в награду остальным отлила его золотую статуэтку с крылышками и надписью: «Валерьянка — бог победы».

Уфф!..

6). Зинка, по глупости родителей — старшая сестра, а по нудной натуре — придира, отреагировала на это так (завидует):

— Вырос-таки спортсменом. Лоботряс. Предупреждала я. У тебя ум в пятках, а образование в кулаках. Не стыдно, неуч?..

— Балеты долго я терпел, — сказал Валерьянка и превратил ее в кобру, предусмотрительно лишенную ядовитых зубов. Кобра в отчаянии раскачивалась над задачником по алгебре, не имея рук записать решение. В крохотном мозгу с трудом умещалась лишь та мысль, что один плюс один — это много; иногда даже слишком. На капюшоне у кобры блестели очки во французской пятидесятирублевой оправе — Зинкина гордость. Пока кобра пыталась сквозь эти очки учить «Луч света в темном царстве», Валерьянка развратил ее обратно, а сам —

познал все и стал президентом Академии наук. Был большой академический праздник. Академики от радости

прямо давились друг на друга, поздравляя его. Премию за открытие всего он отдал на... на что лучше?.. на то, что государству нужнее, оно само определит. (Личный автомобиль — инвалиду Яну Лукичу, шофера — на стройку кирпичи возить.)

— Пора нам изобрести все и оторваться от всех еще дальше, — напомнил Валерьянка во вступительной речи.

— Пора, — обрадовались старенькие академики, не чаявшие дожить до полного торжества науки над природой.

— Неучи, — укорил Валерьянка, качая головой размер 65. — У вас ум в пятках, а образование в кулаках!

Пристыженные академики покраснели. Самые сознательные сложили с себя звание и пошли работать в школу. Даже почин такой объявили: «Узнал сам — научи других!».

Валерьянка подарил Академии стадион для бега трусцой и диетическую столовую, а саму Академию упразднил за ненадобностью. Чего надо — он сам откроет. Они же все такие старенькие — просто зверство гонять их на работу: куда смотрит общественность?.. Пусть отдохнут на заслуженной пенсии. Как поется, старикам везде у нас почет. Все равно они уже плохо соображают.

Хотя у академиков, наверно, мозги устроены иначе, чем у других: чем старше, тем умней? Тогда Валерьянка вывел на Кавказе вид академиков-долгожителей, а самого старшего, двухсотлетнего, назначил своим вице-президентом.

— В каком фраке вы полетите на конгресс в Париж, коллега? — осведомился вице-президент. — Вам пойдет алое с золотом.

7). Путь славы уперся в благосостояние. Ум умом, а пожить хочется.

По городу Валерьянка раскатывал в белом «мерседесе», а на природе — в желтом «лендровере». Он облачился в белые кроссовки, синие джинсы, клетчатую сорочку, алый пуссер и черный вельветовый пиджак. На руке тикали и звонили часы «Ролекс», палец охватывал золотой перстень с печаткой, а на груди блестел орден. Он невзатяжку курил

сигареты «Ява-100» и жевал земляничную резинку. Он поражал взор и слепил воображение.

Фарцовщики льстиво здоровались, а прохожие рыдали от зависти. Они б еще не так зарыдали, если б знали, что джинсов у него целый чемодан, а кроссовок три пары.

Видеомагнитофон услаждал его «Белым солнцем пустыни», стереомаг гремел «Машину времени», а с проигрывателя забрасывала юного набоба миллионом алых роз Алла Пугачева.

— Мой сын — барахольщик, — презрительно отвернулся папа. — Оброс рухлядью, жалкий потребитель — в доме шагу ступить негде!

Сами обрастете — другое запоете! Валерьянка подарил родителям четырехкомнатную квартиру — чтоб они не возникали. Начальник чего-то главного перерезал ленточку в подъезде. Сборная штангистов затащила новую мебель. Сводный оркестр вышиб из труб «Взвейтесь кострами». Родители просили у крутого сына прощения и разных хороших вещей.

8). И вот тогда — к нему робко приблизилась Люба Рогольская... Она потеребила передник, в раскаянии заплакала и прошептала:

— Прости меня, Валерьян, что я не пошла с тобой на каток... Меня родители не пустили...

Валерьянка знал, что она врет, но простил. Благородства в нем было еще больше, чем ума.

Они посетили каток, кино, цирк и буфет, а потом... все так делают... может, не надо?.. Валерьянка покраснел, оглянулся и женился.

Свадьбы, конечно, не было — чувствам реклама противопоказана: задразнили бы на фиг. Идиоты. В гробу он их всех видал. (Траурная вереница влачилась по проспекту. Рупора рвали рокот из «Последнего дюйма»: «Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня». На балконе стоял Валерьянка — весь в белом: и показывал гробам фигу.) (Но он не зверь же был: назавтра всех оживил. Пусть живут и помнят. Рыцари еще есть, просто возможностей у них нет.)

Любовь пропела свою журавлиную (соловьиную? лебединую? жавороночью? а от птицы горлицы как будет прилагательное?) песнь: они жили счастливо — выходили из подъезда вместе, при всех держась за руки. А дома имели супружеское счастье целоваться. Без света тоже. Летом ходили в походы и купались в речке, а на обед Люба варила компот и пекла пирожки. Все остальное время она слушала, что он ей рассказывает, и ждала его с чемпионатов и конгрессов: она оказалась идеальной женой.

(Все это здорово, — но что же дальше с ней делать?..)

9). Как, однако, быстро разнообразие семейной жизни исчерпывается до однообразия. А настоящему мужчине хочется решительно всего — испытать, совершить, попробовать: какая к чертям семья, пожили и хватит, — дел невпроворот! время летит!..

Чтоб успешней выполнить все намеченное, Валерьянка раздвоился: один открывал звезды, другой валил лес. Мало! И он размножился до полного покрытия потребностей:

Он варил сталь и суп, рыл каналы и золото, сеял пшеницу и добро, разведывал нефть и вражеские секреты, сдавал кровь и рапорты, спускался в шахты и поднимался до мировых проблем; он успевал везде и делал все.

Деятельность завершилась космосом. Пульс был отличный, и особенно аппетит. Все бортовые системы функционировали лучше нормального. Он проявил отъявленное мужество в критических ситуациях, предусмотренных заранее, а годовую программу выполнил полностью за неделю: в невесомости-то легко, не устанешь, это не металлолом таскать. Пролетая над всеми, он наблюдал их в подзорную трубу: поприветствовал всех, кого надо приветствовать, и послал им в поддержку свой привет. А кому надо — тем он прямо сказал что надо сверху. Без дипломатии. Не стесняясь. На агрессоров он плевал из открытого космоса. На каждого лично. На главных — по два раза. А на базы еще не то, эти поджигатели потом замучились дезинфекцию проводить.

Один из... них? (или надо сказать — один из его?) забил блатное место: служил моделью для фото-, теле- и кинорепортеров, избавленных от метаний по миру: снимай себе спокойно всю жизнь его одного, и подписывай что хочешь. Благодарные за такой технический переворот в репортерстве, фотошники провозгласили своего кормильца лучшей моделью столетия и мистером Солнечная система. (Если на других планетах и обнаружат марсианина, вряд ли он окажется красавцем.)

10). Мистер Система выглядел всем мистерам мистер. Так что девочки краснели, а мужчины бледнели, и и те и другие предлагали дружить, — понимая под дружбой вещи несколько разные, но безусловно приятные.

Валерьянка перевел классические ковбойские шесть футов два дюйма в метрические меры и получил сто восемьдесят восемь: отличный рост, и на кровати помещаешься. Вес его равнялся, согласно занимательной математике Перельмана, весу рослого римского легионера: восьмидесяти килограммам. Окружность бицепса — шестьдесят сантиметров, талии — пятьдесят: кинозвезды матерились, культуристы плакали.

Волосы вились черные, глаза синие, подбородок квадратный, нос перебитый. Ровные белоснежные зубы ему вставили в Голливуде. Нет, на «Мосфильме». Что у нас, своих зубов мало?

Легкая походка, тяжелый бас, мягкая улыбка, твердый характер. И все что надо тоже будь здоров.

А возраст ему пришелся, в котором Александр Македонский дрался на Ганге, а Наполеон стал первым консулом: тридцать лет.

Конечно — таким и жить можно!..

11). Расправившись с первоочередными задачами, он вдарил по культуре. Культура взлетела вверх, и больше оттуда не спускалась.

Он написал тысячу книг, и их перевели на тысячу языков. Эта сокровищница мысли и стиля венчала мировую литературу, а заодно и философию с прочей гуманитарной ерундой, для понимания которой много знать не надо.

От прозы Валерьянка перешел к поэзии, и тогда Пушкин перешел на второе место, а Евтушенко и Данте спорили за третье.

Наконец с литературой было покончено. После его гениального вклада сказать уже было нечего: прозаики создавали его биографию, а поэты ее воспевали.

Очередь в Эрмитаж, где поражали его картины, тянулась от Русского музея, где потрясали его скульптуры; нетленным шедевром высилась мраморная статуя Любы Рогольской в закрытом купальнике и с веслом. Под веслом плакал Хаммер, сидя на мешке с долларами, и пытался всучить миллион. Куда мне твои доллары? получи фотографию бесплатно.

О нем пели песни, а он сочинял симфонии, как Моцарт, и дирижировал ими, как Сальери (кажется, они дружили?). За билет на его концерт отдавали Пикуля или тонну макулатуры. Зал в экстазе скандировал: «Ва-лерь-ян-ку!». (Походило на праздник мартовских котов или съезд сердечных больных.) «Ла Скала» вылетел в трубу и на стажировку к нам.

Он достиг всего и был похоронен на... э, стоп, давай назад. Еще есть время. Трудился-трудился — и что же? пожалуйте закапываться? дудки. Кто все может — может обождать умирать. Э?

12). Что ценно во всемогуществе — трудись сколько хочешь, отдыхай сколько влезет. Валерьянка слегка устал.

Он посетил дискотеку и карнавал в Рио-де-Жанейро, гульнул в настоящем ресторане, уволил официантов и заменил дружинниками. В весеннем лесу пил кокосовый сок и охотился в джунглях на царей природы — браконьеров. На кинофестивалях в Каннах и Венеции запретил за безобразие «детям до шестнадцати», а главного приза удостоил «Отроков во Вселенной». Он просветил Феллини, и тот стал снимать вполне понятные подросткам фильмы. После чего сел в надувную лодку (он, а не Феллини, понятно) и отбыл в кругосветное путешествие, наказав Сенкевичу в «Клубе кинопутешествий» не перевирать:

(тем более что акулы грызлись с рыбнадзором в Днепре, неприхотливые верблюды ели пираний на Амазонке, а пингвины преодолевали пустыню в сумках кенгуру: географию Валерьянка смутно полагал превратившейся из науки для извозчиков в науку для дипломатов, и вместе с зоологией изучал творчески: он не ждал милостей от природы, и ей не приходилось ждать их от него).

13). Путешествие в одиночку имеет тот плюс, что о нем можно рассказывать что угодно, и тот минус, что рассказывать это некому — пока не вернешься. Валерьянка сменил лодку на пиратский бриг, здраво рассудив, что возможности к перемещению во времени и в пространстве у него совершенно равные, но первое куда легче из-за массы замечательных книг: воображаемое путешествие требует и действительности воображаемой.

Восемнадцатый век затрещал под напором жизненной активности хроникера; хрустнули и времена соседние.

Благородные индейцы во главе с Оцеолой, вождем семинолов, вышибли колонизаторов в Гренландию: не успевших смыться захватчиков пристрелил Зверобой-Соколиный глаз. Сын Чингачгука оказался далеко не последним из могикан, а переодетой дочерью, которая вышла замуж за Зверобоя, и они произвели такой демографический взрыв — заселили материк гуще японцев.

Ветер великих перемен достиг парусов капитана Блада: он сказал Арабелле, что она дура и второго такого фиг найдет, дядю-плантатора повесил, из пиратов организовал трудолюбивый коллектив, рабов объединил в республику хлопкоробов, а сам вообще плюнул на эти вшивые острова и стал королем Англии, дав Ирландии свободу, а власть народу, и, получив персональную пенсию, сделался профессором медицины.

Тем самым д'Артаньяну отпала надобность переться в Лондон, а мушкетерам проливать кровь за реакционную королеву. Атос заколол кардинала на дуэли и простил миледи, ставшую начальником разведки; д'Артаньян получил маршала в двадцать лет и женился на мадам Бонасье и Кэти сразу, чтоб никого не обидеть; Арамис додумался до

атеизма и, как человек интеллигентный и со связями, был назначен министром культуры; все деньги и ордена отдали Портосу — много ли у него еще радостей в жизни; с Испанией заключили мир, испанцы тоже люди, и Сервантес посетил Париж в рамках культурной программы.

Адмирал Клуба отважных капитанов, Валерьянка направил капитанскую отвагу в русло прогресса:

Капитан Гаттерас кончил мореходку, покряхтел на экзаменах и пробился к полюсу на атомоходе «Сибирь». Капитан Грант выучил морзянку, вызвал яхту по радио, и по семейной профсоюзной путевке поплыл в Сочи: отвага отвагой, а здоровье беречь надо; не пройдешь комиссию — и визу закроют. Пятнадцатилетний капитан организовал в команде контрразведку и благодаря бдительности избежал приключений с лишениями.

А Робинзон держал в пещере вертолет, и Пятница, кончив аэроклуб, раз в год возил его домой в отпуск; а иначе это зверство.

14). Что за прекрасное поле для фантазии — история! Вот где раздолье. Валерьянка недоумевал: сколько трагических несправедливостей и прямого вздора — и как еще бедная история умудрялась двигаться куда надо... пора поспособствовать ее движению! Надо торопиться переделать историю! — времени до звонка все меньше. И:

Спартак установил в Риме народную власть, а гладиаторы стали вести секции карате. Кстати, о Риме. Папа Римский при всем народе сознался, что бога нет. Можно себе представить радость римлян.

Монастыри были преобразованы в гостиницы и институты. Мрачное средневековье стало светлым. Джордано Бруно сам сжег всех инквизиторов. Магеллан дружил с туземцами и стал Заслуженным путешественником Португалии. Наполеон протянул руку помощи Робеспьеру и установил мир и братство в Европе.

Вещий Олег присоединил Царьград к Руси и сделал прививку от змеиного яда. Батыя от волнений хватил инфаркт, а татаро-монголы перешли к прогрессивному оседлому образу жизни на целинных и залежных землях.

Стрельцы помогали Петру чем могли. Петр жил сто лет и прорубил окна во все стороны. Крепостного права не существовало, народовольцев не вешали, декабристы победили.

История была прополота, как ухоженная грядка. Валерьянка беспощадно корчевал сорняки и закрашивал позорные пятна.

15). Прошлое стало не хуже будущего, а в настоящем наступил порядок. Все оружие было уничтожено, войны запрещены, и счастье торжествовало на всех пяти континентах. Безработица ликвидировалась заодно с самим капитализмом: капиталисты понурились в очереди на раздачу цветной капусты и кефира (полезно-то полезно, но как мерзко!).

Болезни искоренили, а кстати и докторов, — довольно этих убийц в белых халатах с их шприцами, всем и так хорошо. Население сплошь стало стройным и умным. Расовые и национальные различия исчезли (половые пока на всякий случай остались): все смуглые и высокие. Женщины в основном блондинки.

За добро платили добром, потому что зла нигде не было. Военных преступников переработали на мирные нужды, а милитаристы перевоспитались и охраняли мир. У всех все было, поэтому никто ничего не воровал, и тем не менее все работали. Не дрались, не пили, не курили, не ругались, а врали только из гуманизма.

Умерщвлять таких людей рука не поднимается, и Валерьянка даровал человечеству бессмертие. И процветание — чтоб умереть не хотелось.

16). Он растопил Антарктиду, пресек экологическую катастрофу и извлек энергию из космических лучей. Зима радовала снегом, лето — солнцем, а дожди для сельского хозяйства лили ночью.

В степях паслись мамонты и бизоны. Волки и тигры питались концентратами морской капусты. Ружье и рогатка украшали Музей пережитков прошлого.

Меж прозрачных зданий и шумящих сосен ездили велосипеды и лошади. Труд стал умственным, а все остальное — техническим. В семь часов двадцать минут все делали зарядку. А детей в семьях была куча, и растить их помогали восьмирукие хозяйственные роботы и идеальные няньки — овчарки-колли.

17). Дети мигом устроили скачки на овчарках, а за ними в панике гнались хозяйственные роботы, роняя из восьми рук кошелки и веники. Валерьянка ужаснулся своему созидательному гению:

Воды растаявшей Антарктиды захлестнули ароматные сосны и прозрачные здания. Степи и вовсе не осталось: расплодившиеся мамонты и тупые жвачные бизоны сожрали всю траву, — черные бури сметали тигров и волков, захиревших на капустной диете, как привидения. И среди всего этого кошмара полчища старцев делали утреннюю зарядку — они были бессмертны.

Валерьянка допускал отклонения от идеала: времени нет детально обдумать, какое ж дело застраховано от ошибок? — на подобные неприятности он заблаговременно заготовил

Третье правило всемогущества

Что бы ни делалось —
все можно будет переделать.

Дамбы, санитарный отстрел и вечная молодость. Это нам раз плюнуть.

18). Бессмертных людей прибывало, и Земля завесилась табличкой: «Свободных мест нет». Вот и звезды пригодились. Всем взлет!

Братья по разуму выкарабкивались из «летающих тарелок», маша флагом дружбы и сотрудничества. А где вы раньше были, граждане? Теперь мы сами с усами, над вами шефство оформим.

Звездолеты бороздили обжитую Вселенную: колпаки над планетами, искусственная атмосфера, синтетика и кибернетика: счастье...

Так. А что же дальше?.. Все? Жаль... Еще оставалось время. И чистое место в тетради.

— Сашка, ты что делаешь? — прошептал он через проход.

— Д'Артаньяна королем, — трудолюбиво просопел Гарявин.

Иванов играл в баскетбол за сборную мира. Лалаева уничтожала все болезни. Генка Курочков строил двигатель вечный универсальный на космическом питании. Новые идеи отсутствовали...

— Петр Мефодьчч, я все, — сообщил Валерьянка. — Можно сдать?

— Как так — все? — изумился Петр Мефодиевич. — Раньше срока сдавать нельзя. Ты должен сделать все, что только можешь.

— А зачем? — скучно спросил Валерьянка. Он устал. Надоело.

— Задание такое, — веско объяснил Петр Мефодиевич.

Валерьянка вздохнул и задумался.

— А вдруг я сделаю что-то не то? — усомнился он.

— Это не мое дело, — отмежевался Петр Мефодиевич, вновь прикрываясь своей черной физикой с формулами. — Решай сам. «То», не «то»... Все — «то»! Всемогущество и безделье несовместимы. (Безделье — частный случай всемогущества.)

...И под чарующим дурманом личной безответственности — коли фамилий и отметок не будет — в Валерьянке зашевелилось искушение, выкинуло длинный хамелеоновский язык, излучило радугу... Где и когда же, если не здесь и сейчас?..

19). «Если нельзя, но очень хочется — то можно». Валерьянка казнился безнравственностью и оправдывался желанием, подозревая его у всех.

...Он правил в хрустальном дворце. Пенилось море о мраморную ступень, и шептали пальмы. Под сенью фонтанов, истому оркестра, он отведывал яств и напитков. Дворец ломился золотом, личные яхты и самолеты ждали

сигнала. Толпа повиновалась движенью его бровей. Он был Султан Всего.

Султан воровато оглянулся, прикрыл тетрадь локтями и проследовал в гарем. В гареме цвели все красавицы мира, проводя время в драках за очередь на его внимание. Гарем представлял собою среднеарифметическое между спортивным лагерем «Буревестник» и римскими банями периода упадка, и упадок там был такой — кто хочешь упадет. Кинозвезды по его команде показывали такое кино, куда даже киномехаников не допускают.

Он мгновенно удовлетворял любые свои прихоти — и мгновенно удовлетворять стало нечего... Скука кралась к незадачливому султану.

— Друг мой, железный граф, — плакал он на груди Атоса. — Я чудовище. Я погряз в пороках.

— Жизнь — обман с чарующей тоскою, — вздыхал Атос. — Вы еще молоды, и ваши горестные воспоминания успеют смениться отрадными.

— Жизнь пуста, — разбито говорил Валерьянка.

— Выпейте этого превосходного испанского вина, — меланхолично предлагал Атос.

Валерьянка запивал виски ромом, купался в шампанском и сплевывал коньяком. Крутилась рулетка, трещали карты, рассыпались кости: он сорвал все банки Монте-Карло, опустошенный Лас-Вегас играл в классики и ножички. Тьфу...

20). В каждом холодильнике отогревался водочкой Дед-Мороз с подарками. Канарейки пели строевые песни с присвистом. Животные заговорили и высказали людям все, что о них думают. Обезьяны наконец-то превратились, посредством упорного труда, в людей и влились в братскую семью народов Вселенной...

Всемогущество начало тяготить, как пресловутый чемодан без ручки: тащить тяжко, бросить жалко...

Валерьянка попробовал ввести для интереса ограничения и препятствия своим возможностям, но самообман с поддавками не прошел: преодолевать искусственные трудности, созданные себе самим, — занятие для идиотов.

— Петр Мефодиевич, а отказаться от всемогущества можно?

— Нельзя.

Учитель-мучитель... Ну, чего еще не было? Пробуксовка...

На одной планете обезьяны посадили людей в зоопарк. По будильнику кровать стряхивала спящего в холодную ванну. Ветчина охотилась на мясников. Девчонки, вечно желающие быть мальчишками, стали ими — различия между мужчинами и женщинами исчезли: ну и физиономии были у некоторых, когда они обнаружили это отсутствие различий!.. Детей не будет? — зато никто не вякает, алиментов не платить, стрессов меньше; а народу и так полно.

21). Он слонялся по ночному Парижу (шпага бьет по ногам) и затевал дуэли, коротая время. Время еле ползло. Мертвый якорь. Непобедимый бретер был прикован к всемогуществу, как каторжник к ядру. Раздраженный неодолимым грузом, он трахнул этим ядром наотмашь.

«Веселый Роджер» застил солнце, и теплые моря похолодели от ужаса: пиратский флот точил клинки. Не масштаб: Валерьянка спихнул Чингиз-хана с белой кошмы и нарек Великим Каганом себя. Пылали и рушились города, выжженная пустыня ложилась за спиной.

От его имени с деревьев падали дятлы. Он ехал на вороном, как ночь, коне, — весь в черном, с золотым мечом. При виде его люди теряли сознание, имущество и жизнь. Зловещий палач следовал за ним — Тристан-Отшельник из «Собора Парижской богоматери».

Прах и пепел. Бич народов — Валерьянка, так его и прозвали.

Черный звездолет «Хана всему» вспарывал космос, и обреченно метались на своих курортных планетах бестолковые красавцы.

22). Зачем он дал себе волю?! Может, вырвать эту страницу? Но выпадет и еще одна — из другой половины тетради: слишком заметно, и бессвязно получится...

Не видно никакого смысла в его последних действиях! Хм...

— Петр Мефодиевич... в чем смысл жизни? — решился Валерьянка.

— Сделать все, что можешь! — захохотал настырный пастырь.

Академию наук мобилизовали искать смысл жизни. Академики рвали седины, валясь с книжных гор. Пожарники заливали пеногонами дымящиеся ЭВМ. Смысл!

Творить добро? Для этого надо, во-первых, знать, что это такое, во-вторых, уметь отличать его от зла, в-третьих, — уметь вовремя остановиться. Хоть с бессмертием: чего ценить жизнь, если от нее все равно не избавишься? Или со Спартаком — а что тогда делать Гарибальди? И Возрождения не будет — чего возрождать-то? Если всюду натворить добра, то в жизни не останется места подвигу, потому что подвиг — когда легче отдать жизнь, чем добиться справедливости. Исчезнет профессия героя — это не простят!

Несостоявшиеся герои всех эпох и народов гнались за Валерьянкой, потрясая мечами и оралами. Бежали полярники, тоскующие без льдов, доктора, разъяренные всеобщим здоровьем, строители, спившиеся без новостроек, — весь бессмертный безработный мир, кипящий ненавистью и местью к нему, своему благодетелю...

А навстречу неслись, смыкая окружение, спортсмены, лишенные рекордов, топыря могучие руки, и красавицы, озверевшие в гареме от одиночества.

— За что?.. — задыхался удирающий Валерьянка. — Я же вам... для вас!.. А если нечаянно... стойте — ведь есть

Четвертое правило всемогущества

Что бы ни делалось —
я не виноват.

Камнем, бесчувственным камнем надо быть, чтоб сердце не разбилось людской неблагодарностью!

23). Валерьянка стал камнем.

Тверд и холоден: покой. Все нипочем. Века, тысячелетия.

Когда надоело, он пророс травинкой. Зелененькой такой, мягкой. Чуть корова не сожрала.

Фигушки! Он сам превратился в корову. Во жизнь, ноу проблем: жуй да отрыгивай. Только рога и вымя мешают. И молоко, гм... доить?.. Лучше быть собакой. А если на цепь? Улетим птицей. А совы?

Утек он рекой в океан. Так прожил себе жизней, наверное, семьсот, и...

24). — Заканчивайте, — предупредил Петр Мефодиевич. — Пора.

Ах, кончить бы чуть раньше — на том, как все было хорошо! И пихнула его нелегкая вылезти со своей готовностью: сидел бы тихо. А теперь ерунда какая-то вышла... все под конец испортил.

В тетрадке оставалась одна страница. Хоть у него почерк размашистый, но — сколько успел накатать! Наверно, потому, что не задумывался подолгу, а — без остановки.

Переписать бы... Уж снова-то он не наворотил бы этих глупостей, сначала обдумал бы как следует толком. Вообще нельзя задавать такое сочинение без подготовки. Предупредили бы заранее: обсудить, посоветоваться...

Он перелистал тетрадь в задумчивости. Словно бы раздвоился: один, единый во всех лицах, суетился в созданной им, благоустроенной до идеала (или до ошибки?) и испорченной Вселенной, а второй — как будто рассматривал некую стеклянную банку, внутри которой мельтешили все эти мошки, — эдакий аквариум, где он поставил опыт...

— Всё! — приказал Петр Мефодиевич. — Ошибки проверять не надо.

...и опыт, подошедший к концу, его удручает. И Валерьянка, повинуясь сложному искушению — подгоняемый командой, влекомый этим последним чистым листом, втянувшийся в дело, раздосадованный напоротой чушью: уж либо усугубить ее до конца, либо как-то перечеркнуть, и вообще — играть так уж играть, на всю катушку! — грохнул к чертям эту стеклянную банку, дурацкий аквариум, этот бестолковый созданный им мир, взорвал на фиг вдре-

безги. Чтоб можно было с чистой совестью считать все мыслимое сделанным, а тетрадь законченной, и следующее сочинение начать в новой.

И в этот самый миг грянул звонок.

25). Валерьянка сложил портфель и взял тетрадь. И растерялся — помертвел: тетрадь была чистой. Как...

Он только мечтал впустую!! Ничего не сделал! Лучше б хоть что-нибудь! Чего боялся?!

И увидел под партой упавшую тетрадь. Уффф... раззява. Он их просто перепутал.

— Урок окончен, — весело объявил Петр Мефодиевич, подравнивая стопку сочинений. — Обнадежен вашей старательностью.

Замешкавшийся Валерьянка сунул ему тетрадь, поспешая за всеми.

— Голубчик, — укоризненно окликнул Петр Мефодиевич, — ты собрался меня обмануть? — И показал раскрытую тетрадь: чистая...

— Я... я писал, — тупо промямлил Валерьянка, не понимая.

— Писал — или только хотел? М?

Наважденье. Сочинение покоилось в портфеле между физикой и литературой: непостижимым образом (от усталости?) он опять перепутал: сдал новую, уготованную для следующих сочинений.

— Извините, — буркнул он, — я нечаянно.

Петр Мефодиевич накрыл тетради своей книжкой и встал со стула.

Тут Валерьянка, себя не понимая (во власти мандража — не то от голода, не то от безумно кольнувшей жалости к своему чудесному миру, своей прекрасной истории и замечательной вселенной), сробел и отчаялся:

— Можно я исправлю!

— Уже нельзя, — соболезнующе сказал Петр Мефодиевич. — Времени было достаточно. Как есть — так и должно быть, — добавил он, — это ведь свободная тема.

— Какая же свободная, — закричал Валерьянка, — оно само все вышло — и неправильно! а я хочу иначе!

— Само — значит, правильно, — возразил Петр Мефодиевич. — От вас требовалось не придумать, а ответить; ты и ответил.

— Хоть конец чуть-чуть подправить!

— Конец и вовсе никак нельзя.

— А еще будем такое писать? — с надеждой спросил Валерьянка.

— Одного раза вполне достаточно, — обернулся из дверей Петр Мефодиевич. — Дважды не годится. В других классах — возможно... Ну — иди и не греши.

В раздевалке вопила куча-мала, Валерьянку съездили портфелем, и ликование выкатилось во двор, блестящий лужами и набухающий почками. Гордей загнал гол малышне, Смолякова кинула бутерброд воробьям, Мороз перебежал перед троллейбусом и пошел с Лалаевой.

Книжный закрывался на перерыв, но Валерьянка успел приобрести за пятьдесят семь копеек, сэкономленных на завтраках, гашеную спортивную серию кубинских марок.

— Ботинки мокрые, пальто нараспашку, — приветствовала его Зинка. — Не смей шарить в холодильнике, я грею обед!

Холодильник был набит по случаю близящегося Мая, Валерьянка сцапал холодную котлету и быстро сунул палец в банку с медом, стоящую между шоколадным тортом и ананасом.

КЕНТАВР

Уж кто кем родился, дело такое. Стыдиться тут нечего. Бывает. У нас, так сказать, все равны. Александра Филипповича, например, — так того вообще угораздило родиться кентавром. Кентаврам еще в античной Греции жилось хлопотно. А сейчас о них почти и вовсе ничего не слышно.

Сначала его не принимали в детский сад: намекали, что нужна специальная обувь, кровать и прочее. Пришлось

без боли вырвать заведующей два зуба, устроив ее к знакомому частнику-стоматологу. Но и тогда не велели ложиться в кровать с копытами, а на прогулках он должен был плестись в конце и не размахивать хвостом.

В школе, куда его записали против желания — всеобщее обучение есть всеобщее обучение, — он пользовался уважением, как личность необыкновенная, обладающая к тому же смертельным ударом задней левой. На физкультуре его ставили в пример, но когда на городских соревнованиях жюри не засчитало ему побед в беге и прыжках, он затаил обиду и к спортивной карьере охладел, несмотря на бешеные посулы заезжих тренеров.

Он стал задумываться о судьбах кентавров в истории. И выдержал конкурс на исторический факультет (хотя предпочтение отдавалось имеющим производственный стаж), где прославился как достопримечательность костюмированных балов (первые призы) и душа пикников, на которых он катал верхом всех желающих девушек. Он долго боялся, что не может нравиться девушкам, но оказалось, что многие испытывают к нему сильнейший интерес. И на последнем курсе он удачно женился на профессорской дочке. Правда, семья прокляла ее, но потом опомнилась, что других-то детей нет, и Александра Филипповича оставили в аспирантуре.

Защита диссертации «Роль кентавров в современности» шла бурно: один профессор проснулся и напал с обвинениями в антинаучной фальсификации истории: утверждал, что у античных кентавров было шесть ног, две из которых в результате прогресса и превратились в руки. К счастью, выяснилось, что профессор спутал четвероногих кентавров с шестикрылыми серафимами и шестируким Шивой.

Завотделом кадров воспротивился приему Александра Филипповича в НИИ истории, заявив, что фактом своего существования он подрывает научные основы и мешает атеистической пропаганде, так что тестю-профессору пришлось закрутить все связи. Зато в отделе Древней Греции Александр Филиппович сразу стал непререкаемым авторитетом и предметом зависти со стороны других отделов:

сектор средних веков даже попытался устроить к себе настоящую ведьму, но встретил резкий отпор в лице директора, заявившего, что хватит с него и тех ведьм, которые в институте уже работают.

Недолюбливали Александра Филипповича лишь комендант здания, ругавшийся, что приходится менять паркет, и вахтер, на лице которого каждое утро, когда Александр Филиппович аккуратно предъявлял пропуск, появлялось болезненное и беспомощное выражение.

Несчастья начались с разнарядки на сельхозработы. Кто возмущался, что людей много, а кентавр один, а кто возражал, что именно поэтому его и надо отправить. Жена со временем стала стесняться Александра Филипповича перед окружающими (хотя наедине по-прежнему очень любила), и тесть-профессор не заступился. Вдобавок замдиректора, заполняя бланк, в графе «число людей» указал «1», и в мучительном затруднении пояснил в скобках: «+ один конь».

— Это ж надо, — восхитился в колхозе бригадир Вася, — какую полезную породу людей вывели! Давно пора! Во что мы уже умеем, а?

И Александра Филипповича рационально приспособили к телеге с картошкой: он сам насыпал ее в мешки, сам нагружал их, вез, разгружал, складывал и считал; а Вася отмечал палочками в блокноте.

— Как работать — так лошадь, а как кормить — так человек? — неумело пошутил Александр Филиппович в столовой. Ответили об установленных нормах порций, а кто недоволен — может хоть на лугу пастись.

А в дом приезжих его со скандалом не пустила уборщица.

Назавтра, голодный и невыспавшийся, он забастовал. Вася прибег к кнуту. Возмущенный Александр Филиппович поскакал жаловаться председателю колхоза. У того хватало проблем и без кентавров, он порылся в бумагах и кратко разъяснил в руководящем стиле:

— Указано: «Один человек плюс один конь». Не хотите работать — накатим такую жалобу, что вас вообще из ученых в лошади переведут.

Александр Филиппович стал худеть. Осунулся. Глаза его запали, зато ребра выступили. На поле кони встречали его сочувственным ржаньем, и это было особенно оскорбительно. Зоотехник при встрече с ним ужасался, а завклубом норовил проехаться на его телеге и сговориться о бесплатной лекции «Разоблачение мифов».

После дня под дождем Александр Филиппович простудился, слег. Врач при виде торчащих из-под одеяла копыт и хвоста в негодовании пообещал заявить о пьяных шутках бригадира Васи кому следует и ушел. Приглашенный Васей ветеринар высказал опасение, что Александра Филипповича придется усыпить. После такого прогноза больной лечиться у ветеринара отказался наотрез, и даже боялся принимать аспирин — черт их знает, что они могут подсунуть.

Добрый Вася принес водки, Александр Филиппович выпил и заснул. Вася стал решать вопрос: хоронить ли Александра Филипповича по-людски, или же сдать шкуру на заготпункт, а на вырученные деньги помянуть. А Александру Филипповичу снилась античная Греция, где среди цветущих холмов гуляли люди и кентавры, мирно беседуя о смысле истории и борьбе с общими врагами-чудовищами, а самый мудрый кентавр, которого звали Хирон, занимался воспитанием мальчика, которого звали Геракл, и никто не видел в этом ничего странного.

КОШЕЛЕК

Черепнин Павел Арсентьевич не был козлом отпущения — он был просто добрым. Его любили, глядя иногда как на идиота и заботливо. И принимали услуги.

Выражение лица Павла Арсентьевича побуждало даже прогуливающего уроки лодыря просить у него десять копеек на мороженое. Так складывалась биография.

У истоков ее брат нянчил маленького Пашку, пока друзья гоняли мяч, голубей, кошек, соседских девчонок и шпану из враждебного Дзержинского района. Позднее брат доказывал, что благодаря Пашке не вырос хулиганом или хуже, — но в Павле Арсентьевиче не исчезла бесследно вина перед обделенным мальчишескими радостями братом.

На данном этапе Павел Арсентьевич, стиснутый толпой в звучащем от скорости вагоне метро, приближался после работы к дому, Гражданке, причем в руках держал тяжеловесную сетку с консервами перенагруженного командировочного и, вспоминая свежий номер «Вокруг света», стыдливо размышлял, что невредно было бы найти клад. Научная польза и радость историков рисовались очевидными, — известность, правда, некоторая смущала, — но двадцать (или все же двадцать пять?) процентов вознаграждения пришлись бы просто кстати. Случилось так, что Павел Арсентьевич остался на Ноябрьские праздники с одиннадцатью рублями; на четверых, как ни верти, не тот все-таки праздник получится.

Он попытался прикинуть потребные расходы, с тем чтобы точнее определить искомую стоимость клада, и клад что-то оказался таким пустяковым, что совестно стало историков беспокоить.

Отчасти обескураженный непродуктивностью результата, Павел Арсентьевич убежал мыслями в предшествующий октябрь, сложившийся также не слишком продуктивно: некогда работать было. Зелинская и Лосева (острили: «Если Лосева откроет рот — раздается голос Зелинской») даже заболеть наладились на пару, так что когда задымил вопрос о невельской командировке, к Павлу Арсентьевичу, соблюдая совестливый ритуал, обратились в последнюю очередь. Тем не менее в Невеле именно он, среди света и мусора перестроенной фабрики, целую неделю выслушивал ругань и напрягал мозги: с чего бы у модели 2212 на их новом клее стельки отлетают?

А по возвращении затребовался человек в колхоз. Толстенький Сергеев ко времени сдал жену в роддом, а «Москвича» в ремонт, вследствие чего картошку из мерзлых полей выковыривал Павел Арсентьевич. Он служил как бы дном некоего фильтра, где осаждались просьбы, а предложения застревали по дороге туда.

Слегка окрепнув и посвежев, он прибыл обратно, уже снег шел, как раз ко дню получки. Получки накапало семьдесят шесть рублей, да премии десятка.

Среди прочих мелочей того дня и такая затерялась.

В одной из натисканных мехами кладовых ломбарда на Владимирском пропадала бежевая болгарская дубленка, а в одной из лабораторий административного корпуса фирмы «Скороход», громоздящегося прямоугольными серыми сотами на Московском проспекте, погибала в дальнем от окна углу (как самая молодая) за своими штативами с пробирками ее владелица Танечка Березенько, — с трогательным и неумелым мужеством. Надежды на день получки треснули, и завалилась вся постройка планов на них: до Ноябрьских праздников оставалось четыре дня.

Излишне говорить, что Павел Арсентьевич сидел именно в этой лаборатории, через стол от Танечки. В дискомфортной обстановке он проложил синюю прямую на графике загустевания клея КХО-7719, поправил табель-календарик под исцарапанным оргстеклом и нахмурился.

Молчание в лаборатории явственно изменило тональность, и это изменение Павел Арсентьевич каким-то образом ощутил направленным на себя.

Дело в том, что дома у него висел удачно купленный за сто рублей черный овчинный полушубок милицейского образца, а у Танечки в дубленке заключалось все ее состояние.

Короче, вызвал тихо Павел Арсентьевич Танечку в коридор и, глядя мимо ее припухшей щеки, с неразборчивым бурчаньем сунул три четвертных. Увернулся от Сеньки-слесаря, с громом кантовавшего углекислотный баллон, и торопливо к автомату — пить теплую газировку...

И вот поднимался он на эскалаторе, и жалел жену... Среди толчеи площади рабочие обертывали кумачом фонарные столбы, а когда Павел Арсентьевич опустил гла-

за — на затоптанном снегу темнел прямоугольничек: кошелек. Только он нагнулся, как трамвай раскрыл двери, толпа наперла и так и внесла сложенного скобкой Павла Арсентьевича с кошельком. Пока он кряхтел и штопором вывинчивался вверх, сзади загалдели уплотняться, вагоновожатая велела освобождать двери, даме с тортом и ребенком придавили как первый, так и второго, юнцы сцепились с мужиком, передавали на билеты, трамвай разгонял ход... — момент непосредственности действия как-то исчезал, а злосчастная застенчивость сковывала Павла Арсентьевича все мучительнее. Спросил бы кто... А то вот, мол, благородный выискался, оцените все его честность и кошелечек грошовый, гордого собой... Заалел Павел Арсентьевич (и то — давка), однако собрался с духом уже, — да раздвинулись двери, народ вывалился и разбежался в свои стороны, и остался он один на остановке.

И тут обнаружил, что рука-то с кошельком — в кармане. Тьфу.

Черт ведь... Теперь в бюро находок завтра тащиться...

Кошелечек коричневый, потертый, самый средненький. Срезая пахнущим по-зимнему соснячком путь к подъезду, Павел Арсентьевич не выдержал — обследовал... Содержимое равнялось одному рублю, ветхому, сложенному пополам. Эть, — из-за пустяков...

— Верочка, — сказал он в дверях, улыбнувшись и ясно ощутив движение лицевых мускулов, создавшее улыбку, — сегодня, знаешь...

Жена была верной спутницей жизни Павла Арсентьевича и настоящим другом; они делились всем. Она выразила взглядом дежурную готовность мирно принять известие и помочь найти в нем положительную сторону. Они хорошо жили.

— Мамочка! бежит! — запаниковала Светка из кухни, грибной дух и шипение распространились одновременно, Верочка взмахнула руками и исчезла. Проголодавшийся Павел Арсентьевич стал настраиваться к обеду: разуваться, переодеваться, мыть руки и попутно растолковывать Валерке, что такое бивалентность и (подглядев в словаре) амбивалентность, причем соглашался долговязый Валерка высокомерно, — возрастное...

За столом Павел Арсентьевич, дуя на суп, изложил про дубленку. Верочка разложила второе, налила кисель, щелкнула по макушке Валерку за то, что он жареный лук из тарелки выуживал, и умело раскинула высшую семейную математику, теория которой ханжески прикидывается арифметикой, а практика сгубила не один математический талант.

После, выставив детей и конфузясь, Павел Арсентьевич чистосердечно поведал обстоятельства находки и предъявил кошелек. Верочка ознакомилась с рублем номер ОЕ 4731612, 1961 года выпуска, обязательным к приему, подделка преследуется по закону, и сказала:

— Бир сом!

— А? — встревожился Павел Арсентьевич.

— Бир манат, — сказала Верочка. — Укс рубла. Адзин рубель. Добытчик мой!..

Посмеялись...

Назавтра у Верочки после работы проводилось торжественное собрание, так что Павел Арсентьевич должен был спешить домой — контролировать детей. В четверг же, следуя закономерности своей жизни, он трудился на овощебазе (неясно, вместо кого): таскал в хранилище ящики с капустой. Когда расселись на перерыв, Володька Супрун, начальник второй группы, стал по рублю народ гоношить. Бутерброды у Павла Арсентьевича были, рубля же — нет... А Володька ждет, и все смотрят... Плюнул про себя Павел Арсентьевич, достал найденный кошелек, который потом в бюро сдать намеревался, и подал рубль, под шуточки компании.

За портвейном с Володькой он же в очереди давился.

Застелили ящики, устроили застолье, встретили предварительно наступающий праздник 7 Ноября. По-человечески, по-свойски; хорошо.

Праздничным утром Павел Арсентьевич еще кейфовал в постели, а вернувшаяся из универсама Верочка уже варила картошку, перемешивала салат и наставляла Светку

не-мед-ленно поднимать ленивых мужчин. И водочка на белой скатерти отпотевала, и шпроты, и огурчики, так что Павел Арсентьевич умильно подивился Верочкиной изворотливости.

Ответ ему был:

— Пашенька... да я у тебя же в кошельке взяла...

Павел Арсентьевич не понял.

— Ну... который ты нашел... В куртке нейлоновой, что для овощебазы, во внутреннем кармане... лежал...

Павел Арсентьевич совсем не понял. Розыгрыш.

— Двадцать рублей, — растерялась Верочка. — По пятерке. Три шестьдесят сдачи осталось...

Валерка, паршивец, из туалета голос подал:

— Дед-Мороз принес, чего неясного!..

Насели на Валерку, но он с шумом спустил воду. По телевизору загремел парад, Светка индейским кличем потребовала своей доли веселья в торжестве, пожаловал Валерка и нацелился отмерить себе алкоголя, — праздник раскручивал свое многоцветное колесо: утюжить костюм, ехать гулять на Невский, из автоматов обзванивать с поздравлениями знакомых, собираться в гости к Стрелковым на Комендантский аэродром... Возвращаясь ночью, вспоминали, как Верочка однажды из мешочка пылесоса вытряхнула десятку... Мало ли забот...

В этих заботах он с легким сердцем пожертвовал жениховствующему, предсвадебному Шерстобитову два билета на Карцева и Ильченко, а сам подменил его в дружине: подняв ворот тулупчика, до полуночи патрулировал пустынную Воздухоплавательную улицу, знакомясь с историями из жизни бывалого двадцатилетнего старшины.

Из почтового ящика в подъезде Павел Арсентьевич вынул открытку с напоминанием о квартплате.

— Ну-ка... тряхни нашу самобранку! — пошутил он, поцеловав Верочку в прихожей. И как-то... не то чтобы они друг друга поняли... а может, и поняли...

Верочка открыла защелку стенного шкафа, достала из синей нейлоновой куртки с надорванными карманами кошелек, с улыбкой открыла, перевернув, и тряхнула. На зеленый линолеум прихожей выпорхнули синенькие пятерки: раз-два, три, четыре...

В спальне испуганный совет шел шепотом, хотя дети в другой комнате давно спали. Ночью Верочка грела молоко: Павел Арсентьевич не мог уснуть, а снотворное в их доме отродясь не требовалось.

— Товарищи, — храбро вопросил Павел Арсентьевич в лаборатории, — кто мне двадцать рублей возвращал, братцы?..

Прозвучало бестактно. Большинство хмыкнуло, а Танечка Березенько покраснела. Толстенький Сергеев пожал ему плечо и мужественным голосом попросил обождать аванса. Павел Арсентьевич смутился, отнекивался.

Отнекиваться у Агаряна, Алексея Ивановича, начальника лаборатории, не приходилось. Алексей Иванович хлопотливо усадил его в кресло, угостил сигаретой, осведомился о жизни, после чего ущипнул себя за кавказские усики и поручил бегленько накидать ему тезисы для выступления на отраслевом совещании, — за последние полгода, только основы, ну, как он умеет. Всех след простыл, а Павел Арсентьевич терзался муками слова, пока сдал перелицованный текст злой золотозубой блондинке, распускавшей свитер в пустом машбюро.

Перед сном он стукнул кулаком по подушке, извлек из тумбочки возле кровати помещенный туда кошелек и дважды пересчитал восемь бумажек пятирублевого достоинства.

— Верочка, — фальшиво и крайне глупо обратился к ней Павел Арсентьевич, — ты зачем сюда-то свой аванс положила?..

Аванс лежал в денежной коробке из-под конфет «Белочка», в бельевом шкафу. Павел Арсентьевич закурил в спальне. Верочка пошла греть молоко.

От субботника, проводимого в четверг, Павел Арсентьевич неумело попытался увильнуть. («С таким лицом отказать в просьбе — значит обмануть в искреннейших ожиданиях... Непорядочно...») И выгребал Павел Арсентьевич ветошь из закройного без всякого подъема духа.

И подозрения его не могли не оправдаться.

Плюс двадцать ре.

А в пятницу хоронили директора пятого филиала, и отряженный от лаборатории Павел Арсентьевич стоял с траурной повязкой среди венков с лицом воистину скорбным...

Плюс двадцать ре.

В его отсутствие Верочка погасила задолженность за квартплату, прибегнув к сумме из этого кошелька. Грянула сцена.

Убедившись в недостаче, Павел Арсентьевич хлопнул своим персональным Клондайком об стену и призвал Верочку в спальню.

— Что — это? — твердо спросил он.

Верочка засвидетельствовала:

— Это деньги.

— Откуда? — надавил Павел Арсентьевич. Для него такая интонация являлась признаком значительного раздражения.

Верочка ответила:

— Из кошелька, — и нервно засмеялась.

Ночное совещание постановило: ну его к лешему. Унизительно и небезопасно. Что надо — на то они сами заработают. Еще неизвестно, откуда эти деньги в кошельке берутся. И вообще, что это за кошелек такой. Может, здесь такое замешано, что потом грехов не оберешься. Лучше держаться подальше. А посему — сдать в бюро находок, и пусть кому принадлежит — тот и владеет.

На Литейном, в бюро находок («гибрид сберкассы и камеры хранения вокзала»), Павел Арсентьевич заполнил за стойкой бланк. Похожий на гардеробщика в синем халате старик казенно кивнул. Павел Арсентьевич сунулся в карман, засуетился и оцепенел: забыл дома... Конфуз вышел.

Перерывали дом всей семьей. Валерка брезгливо возил веником под ванной. Светка, перетряхивая игрушки, деловито разломала старую гармошку и нелюбимую куклу Ваньку под предлогом поисков внутри них. Посреди разгрома Верочка прозрачно посмотрела Павлу Арсентьевичу в глаза, влезла рукой во внутренний карман его пиджака и достала искомый предмет.

Предмет содержал сто десять рублей.

Вдвое против вчерашнего.

— Паша, — сказала Верочка и оробела, — может, так надо?..

— Кому? — резонно возразил Павел Арсентьевич. И сам себе ответил: — Мне — нет. — Подумал и добавил: — Тебе — тоже нет.

Еще мысль проплыла, что у Танечки есть дубленка, а у Верочки нет, что у Сергеева имеется знакомый частник-протезист, вставляющий фарфоровые зубы... Вздохнул Павел Арсентьевич и обнял жену.

Теперь перед высокой двустворчатой дверью бюро он зафиксировал кошелек в кармане. По заполнении бланка карманы в совокупности содержали: носовой платок, сигареты «Петровские», спички, ключи от дома и почтового ящика и шестирублевую проездную карточку на декабрь. Абзац.

В заснеженном сквере у метро «Чернышевская» он закурил на скамеечке; осенился — проверил.

Достал.

Пересчитал. Двести двадцать как одна копеечка.

«Удваивает, негодяй...» — прошептал Павел Арсентьевич.

Зажал постыдный рог изобилия в кулаке и направил решительные шаги обратно.

Кошелек неукоснительно исчез при пересечении линии порога и появился по выходе. Павел Арсентьевич мрачно произнес не к месту фразу: «Вот так верить людям» и пошел вон.

Четыреста сорок.

Выкинуть? Ну, знаете... Да и... тоже не получится...

Следующий отчаянный заход добавил пятерку. Эта мелочность подачки воспринималась особенно оскорбительно. Мол, не ерунди, дядя, ты уже все понял.

Умница Верочка самочинно приобрела бутылку «Старого замка», и два зеленоватых стаканчика с вином светились, как в добрую старь, на тумбочке у кровати.

Выявленная закономерность не поддавалась материалистическому истолкованию, а в идеалистическом они были не сильны. Ученый совет твердого мнения не вывел. Информацию постановили во избежание труднопредсказуемых последствий не распространять, а в качестве дополнительных мер предпринять походы в филиал Академии наук и районное отделение милиции, а также дать объявление в «Вечерку».

Насчет Академии наук Павел Арсентьевич представлял себе туманно, а вывеска милиции молочно белела по соседству. Сержантик в рыжих бакенбардах понимающе проследил, не отрываясь от телефона, как потерянного вида гражданин охлопал себя по груди и бокам, покраснел и ретировался.

Обозвав себя аферистом, Павел Арсентьевич за углом ревизовал утаившиеся от органов средства, каковые увеличил таким образом на один ветхий рублишко: кошелек явно издевался.

Объявление в «Вечерке» незамедлительно потерялось: никаких отклонений и неожиданностей. Кошелек приветствовал разменной монетой двадцатикопеечного достоинства.

Нежелание очевидного позора удержало от контактов с Академией наук.

Дома густела неопределенная напряженность. Павел Арсентьевич запретил себе вдаваться в ее анализ, крепя заслон от предательски неверных соблазнов. Воля его подрагивала и держалась, как флагшток среди туманных руин.

— А многие бы радовались, — простодушно заметила Верочка. — В конце концов, он же платит тебе за добрые дела... — интонация звучала неопределенно...

— И даже за добрые намерения, — помедлив, продолжил неподкупный муж. — Ладно...

Под ее боязливым взглядом он вынул из кошелька четыреста сорок шесть рублей двадцать копеек и спустился

в морозный и мирный вечер, ощущая себя чужим самому себе.

Начав твердым почерком заполнять бланк почтового перевода, он обнаружил, что адреса Министерства финансов не знает. Приемщица, озабоченная краснотой своих глазок девочка, усмотрела в вопросах насмешку, но пошла советоваться с другой девочкой, озабоченной линией челки. Под их взглядами Павел Арсентьевич занервничал, как объявленный к розыску преступник при опознании, и рассудил, что министерство не может принять на баланс сумму неизвестно откуда, а как оформить — он не знает. Да и адрес не выяснился.

Назавтра в обеденный перерыв он составил в профкоме фирмы заявление о перечислении в Фонд мира. Оформили деловито и спокойно, но вспоминался Павлу Арсентьевичу медосмотр призывников: стоишь голый перед женщинами, и за профессиональной обыденностью все равно угадывается простецкий и стыдный интерес.

— И что теперь? — задала Верочка вопрос после ужина.

— А что теперь? — благодушно отозвался Павел Арсентьевич, отметивший славный день двумя кружками пива и теперь размышлявший о парилке.

Верочка протянула кошелек:

— Пятьсот.

— Черт какой, — печально молвил Павел Арсентьевич. — А?..

— А я еще когда за тебя выходила, знала, что все у нас будет хорошо, — прорвало вдруг и понесло Верочку. — Мне девчонки наши говорили: «Смотри, Верка, наплачешься: хороший человек — это еще не профессия. Он же такой у тебя правильный, такой уж — все для всех, весь дом раздаст, а сами голые сидеть будете». Но я-то чувствовала, что все не так.

Это признание на шестнадцатом году семейной жизни Павла Арсентьевича задело неприятно... Нечто не совсем ожидаемое и знакомое было в нем...

— Паша, — тихо сказала Верочка и вдруг заплакала. — Ну что ты мучишься?.. Уж неужели ты не заслужил?..

— Да что ты несешь? Что заслужил? — в бессилии и жалости вскричал Павел Арсентьевич. Он устал. — Устал я!

— Все же... все тобой пользуются. Должна же быть справедливость на свете...

— Какая еще справедливость! — закричал Павел Арсентьевич, комкая в душе белый флаг капитуляции. — Квартиру дали, зарплаты получаем, в доме все есть, какого рожна?!..

И нелепо подумалось, что ему сорок два года, а он никогда не носил джинсов. А ведь у него еще хорошая фигура. А джинсы стоят двести рублей. А Светка через десять лет станет невестой...

По лаборатории поползли слухи. Скромный облик Павла Арсентьевича обогатился новой чертой некоей оживленной злости. Предначертанность отчетливо проступила с прямизной и однозначностью рельсовой колеи.

И — лопнул Павел Арсентьевич. Сломался. (И то — сколько можно...)

...В Гостином поскользнулся на лестнице, в голове волчком затанцевала фраза: «На скользкую дорожку...», и он не мог от нее отделаться, когда отсчитывал в кассу за венгерскую кофту кофейного цвета, исландский кофейной же шерсти свитер, куклу-акселератку со сложением гандболистки, когда принимал у нагло-ласковых цыганок пакеты с надписью «Монтана» и на Кузнечном рынке набивал их нежнейшими, как масло, грушами, просвечивающим виноградом, благородным липовым медом желтее топаза, когда в винном, затовариваясь марочным коньяком и шампанским, в помрачении ерничая выстучал чечетку («Гуляет мужик... с зимовки вернулся», — одобрительно заметили за спиной), когда оставшиеся сорок семь рублей, доложив три двадцать своих кровных, пустил на глупейшую якобы хрустальную вазочку в антиквариате на Невском.

— Откуда приехал? — со свойским одобрением спросил таксист у разваливающейся груды материальных ценностей на заднем сиденье, меж которыми вертелась кроличья ушанка Павла Арсентьевича.

— С улицы Верности, — зло отвечал Павел Арсентьевич. — Дом тридцать шесть.

Себе он приобрел десять пар носков и столько же носовых платков, приняв решение об отмене всяческих стирок. Хотел еще купить стальные часы с браслетом, но денег уже не хватило.

Неуверенный возглас и заблудившаяся улыбка Верочки долженствовали изобразить их невинность, непричастность к свалившемуся изобилию — ну, как если бы они получили наследство от дальнего и забытого родственника. Светка возопила о Новом годе; Валерка удивился отсутствию нравоучений. Павел же Арсентьевич издал неумелое теноровое рычание, отведал коньяку, пожалел, что не водка или портвейн, и припечатал точку — веху воткнул: «Ну и черт с ним со всем». Перевалив внутренний хребет самоуничижения, он почувствовал себя легче.

Валерка высказался в том духе, что лучше б часы, а не свитер.

Светка, чуя неладное, опасалась, что утром все исчезнет.

Верочка прикинула кофту и пошла в спальню с выражением то ли оценить вид, то ли всплакнуть.

А Павел Арсентьевич заполировал коньячок шампанским, мелодично отрыгнувшимся, и напомнил себе записаться на прием к невропатологу и получить рецепт на снотворное.

Однако спал он чудно. Снились ему джунгли на необитаемом острове, среди лиан порхали пестрые попугаи с деньгами в клювах, а он подманивал их манной кашей, варящейся в кошельке, втолковывая, что кошелек портится без денег, а попугаи гибнут без каши, и если он не наденет джинсы, то они не научатся говорить, усовещивая, что машина ему не нужна — не пройдет в джунглях, а вездеход ему, как частному лицу, не продадут.

— Для вас! — кричал он, шлепая по теплой каше ладо-

нью. Попугаи ворковали, кружась: «Паша, Паша...» — но денег не выпускали.

— Паша, — сказала Верочка, дуя ему в лицо. — Не кричи... Ты дерешься...

Случай предоставился тут же: в Архангельске упорно не клеил Л-14НТ, зато клеил немецкие моющиеся обои дома Модинов и уламывал каждого откомандироваться за него. Сборы Верочкой «командировочного» чемодана Павла Арсентьевича и проводы в аэропорт носили невысказанный подтекст.

Под порошистым небом Архангельска звенела стынь; маленькая одноэтажная фабричка оказала ему прием — авторитет! — забронировали гостиничную одиночку, директор попотчевал в ресторашке... неудобно...

Возясь до испарины в обе смены, с привычной скрупулезностью проверяя характеристики состава и режима выдержки, не мог он не думать — сколько это будет стоить... Раскумекав простейшее и указав парнишке-директору дать разгон намазчицам за свинскую рационализацию (мазали загодя и точили лясы), честно признал, что и за так работал бы не хуже.

На родном пороге, отряхая с себя пыльцу северной суровости и вручая домочадцам тапочки оленьего меха с вышивкой, оттягивал ожидаемое...

Возмутительною суммой в три рубля оценил кошелек добросовестнейшую наладку клеевого метода крепления низа целому предприятию. Уязвленный и разочарованный Павел Арсентьевич слегка изменился в лице.

— Как же так? — произнесла Верочка с обманутым видом. — И здесь тоже... — Подразумевалось, что ее представления о справедливости и воздаянии по заслугам в очередной раз не совпали с действительностью.

Так что билеты в Эрмитаж на испанскую живопись, из таковой все равно знавший лишь фамилию Гойя и картину «Обнаженная маха», Павел Арсентьевич уступил Шерстобитову хотя и готовно, но не без некоторого внутреннего раз-

дражения. Все же, когда за добро хотят платить — это одно, но подачки...

Однако оказалось — десятка... Хм?..

Участие в составе комиссии по проверке санитарного состояния общежития профессионального училища — двадцать.

Составление техкарты за сидящую на справке с сыном Зелинскую — тридцать.

Передача Володьке Супруну двухдневной путевки в профилакторий «Дибуны» — сорок.

С неукоснительной повторяемостью прогрессии вырастала привычка, растворявшая душевное неудобство. В свободные минуты (дорога на работу и с работы) Павел Арсентьевич пристрастился размышлять о природе добра и предназначении человека.

В фабричной библиотеке он выбрал «О морали» Гегеля, с превеликим тщанием изучил первые четыре страницы и завяз в убеждении, что философия не откроет ему, откуда в кошельке берутся деньги.

Принятие на недельный постой покорного сорокинского кота (страдалец Сорокин по прозвищу «Иов» вырезал аппендицит) — девяносто рублей.

Провоз на метро домой Модинова, неправильно двигавшегося после отмечания своего сорокалетия, и вручение его жене — сто рублей.

Добросовестнейший Павел Арсентьевич постепенно утверждался в мысли о правомерности своего положения. Говорят, период адаптации организма при смене стереотипа — лунный месяц. Так или иначе, — к Новому году он адаптировался.

— Не исключено, — поделился он мыслями с Верочкой вечером на кухне, — что подобные кошельки у многих. Как ты думаешь?..

Верочка подумала. Электрические лучи переламывались в белых плоскостях гарнитура. Новый холодильник «Ока-III» урчал умиротворенно. Она соотнесла оклады знакомых с их приобретениями и признала объяснение приемлемым.

Доставка трех литров клея для нужд школьного родительского комитета — сто пятьдесят рублей.

Помощь при переезде безаппендиксному Сорокину — сто шестьдесят рублей.

И азартность оказалась не чужда Павлу Арсентьевичу: впервые конкретный результат зависел лишь от его воли. Дотоле плавное и тихое течение неярких дней взмутилось и светло забурлило. Краски жизни налились соком и заблистали выпукло и свежо. Прямая предначертанности свилась в петлю и захлестнула горло Павла Арсентьевича. Жажда стяжательства обуяла его тихую и кроткую душу.

Павел Арсентьевич втянулся, превращаясь в своего рода профессионала. Деловито вертел головой: что еще он может сделать? Проходя коридором, бросался в дверь, за которой двигали столы. Отправлялся в дружину каждую субботу; лаборатория переглядывалась: дома, видать, нелады...

Дома были лады. Очень даже. Жить стали как люди.

Павел Арсентьевич отыскивал молоток и гвозди и чинил ветеранше фабричной химии Тимофеевой-Томпсон каблук, вечно отваливавшийся вследствие ее индейской, подвернутой носками внутрь походки. До полуночи подвергался психофизическим опытам темпераментного отпрыска Зелинской, посещавшей театр. Сдав в библиотеку многомудрого Гегеля, до закрытия расставлял с девочками кипы книг по стеллажам; в благодарность его собрались наградить «Ночным портье», — он отказался с испугом...

— Вы похорошели, Павел Арсентьевич, — отметили Зелинская и Лосева, оглядывая его енотовую шапку. — Что-то такое мужское, знаете, угрюмоватое даже в вас появилось.

Зеркало ни малейших изменений не отражало, но, уловив несколько «женских» взглядов, Павел Арсентьевич решил, что нравиться еще вполне может. Ничего такого.

Беспокоила лишь работа. Времени на нее не хватало.

Он опасался, что это заметят, но каким-то образом дело двигалось, в общем, ничуть не медленнее, чем раньше. С облегчением убедившись в этом, он успокоился.

Верочка (при дубленке) записалась на финский мебельный гарнитур «Хельга», и тут оказалось, что срочно продают новый югославский, но деньги нужны в четыре дня. Исходя из соображений, что мебель дорожает, решили деньги собрать.

С оттенком сожаления припоминал Павел Арсентьевич, сколько в прошлом не было ему оплачено. Ну — ...

Он приналег. Хватал на тротуаре старушек и переводил их под ветхий локоток через переход. В столовой помогал судомойке собирать грязную посуду. Занимал на всех очередь за апельсинами и бежал предупреждать, выстаивая после два часа в слякоти. Навестил в больнице Урицкого, на Фонтанке, помирающего Криничкина. В густом и теплом запахе урологического отделения Павел Арсентьевич сомлел. Криничкин, желтый, облезлый и старенький, был толковым химиком и работал в их лаборатории с самого ее основания. Все он понимал, кивал и спокойно улыбался с плоской подушки; и казалось, что боль его проявляется в этой улыбке... Павел Арсентьевич принес ему конфеток, свежих журналов, три гвоздички, передал приветы от всех... Ах ты, господи...

Сумма сложилась. Кошелек выдавал теперь по триста за раз. Удар настиг с неожиданной стороны. Сергеев, косясь на польские сапожки Павла Арсентьевича, хмурясь и крякая, попросил одолжить тысячу на год: водил рукой по горлу и материл жулье-авторемонтников и кандидата-гинеколога, пользовавшего жену частным образом.

Павел Арсентьевич сохранил самообладание.

— Пашка, ты меня угробишь, — отреагировала на известие Верочка.

Вздохнули. Поугрызались.

Плюнули. Дали.

Разрешилось неожиданно: утром Павел Арсентьевич вручил тысячу деловито-счастливому Сергееву, вечером Верочка вынула из кошелька тысячу двести.

— Па-авлик, — прошептала ночью Верочка и потерлась об него носом, — у меня такое ощущение, будто мы с тобой моложе стали...

— Ага, — признался он.

Новый способ был прост и хорош. Павел Арсентьевич стал давать деньги в долг. Расслоились слухи о наследстве из-за границы. Неопределенными междометиями Павел Арсентьевич оставил общественное мнение пребывать в этом предположении, достаточно для него удобном. Облагодетельствование проводилось с глазу на глаз с присовокуплением просьб — и обещаний в ответ — не распространяться. Однажды Павел Арсентьевич в неприятном смысле задумался об ОБХСС; позже его удивило, что тогда он этой мысли не удивился...

Черно-вишневый с бронзовой отделкой югославский гарнитур, компактный и изящный, включал в себя тумбочку под телевизор. На каковую и поставили цветную «Радугу», свезя старенький «Темп» в скупку в Апраксином.

Купаясь мысленным взором в синдбадовых красочных далях «Клуба кинопутешествий», Верочка развесила витиеватую фразу:

— И какая же белая женщина не мечтает сидеть дома и заниматься семьей — при наличии достатка, — прибегая к общественно полезной деятельности эпизодически и в необременительной форме, по мере возникновения потребности, но не регулярнее и чаще.

Павел Арсентьевич соотнес Гавайские острова с грядущим летом и неуверенно завел речь о Сочи.

— Этот муравейник в унитазе? — удивилась Верочка с пугающей прямолинейностью выражений. — Приличные люди давно туда не ездят.

И настояла на Иссык-Куле: горный воздух, экзотика и фешенебельная удаленность от перенаселенных мест.

Под черным флагом пиратствовал Павел Арсентьевич в обманчивом океане добрых дел.

Но петля оказалась затяжной. Павел Арсентьевич пытался сообразить, чего ему не хватает. Первые признаки недовольства он обнаружил в себе через несколько месяцев.

В яркое воскресенье, хрустя по синим корочкам подтаявшего снега, Павел Арсентьевич высыпал помойное ведро и с тихой благостностью помедлил, постоял. В безлюдном (время обеда) дворе обряженная кулема на качелях — Маришка из второго подъезда, — старательно сопя, пыталась раскачаться. «Сейча-ас мы...» — Павел Арсентьевич подтолкнул, еще, Маришка пыхтела и испускала сияние от удовольствия и впечатлений.

В лифте он вспомнил... и не то чтобы даже омрачился... но весь тот день не исчезала какая-то тень в настроении.

С этого эпизода, крупинки, началась как бы кристаллизация насыщенного раствора.

Павел Арсентьевич честно спросил себя, не надоели ли ему деньги, и так же честно ответил: нет. Неограниченность материальных перспектив скорее вдохновляла. Но...

Накапливалась одновременно и какая-то связанность, усталость. Он больше не был ни легок, ни чудаковат, и сам знал это. Павел Арсентьевич отметил в себе моменты внутреннего злорадства при совершении своих добрых дел. Мол, нате, — а знали бы вы... Стал ловить себя на нехороших, неожиданно злых мыслях.

Он понял, что профессия оказалась тяжелее, чем он предполагал. И, пожалуй, оплата, как ни высока она теперь была, производилась все же по труду. Этот успокоительный вывод, вместо того чтобы укрепить душевное равновесие Павла Арсентьевича, непонятным образом усиливал внутреннее раздражение.

Система меж тем функционировала отлаженно, от Павла Арсентьевича даже не требовалось личной инициативы. Однако к каждому поступку ему теперь приходилось понуждать себя, и он отчетливо сознавал это.

Бунт вызревал в трюме, как тыква в погребе.

Но сначала в марте пришло письмо от брата, из Новгорода. Просил приехать.

Затемно в субботу Павел Арсентьевич и отбыл «Икарусом» с Обводного и вкатил в Новгород серебряно-солнечным утром.

В ободранной квартире, похмельный — нехорош был брат... После ухода жены (несколько лет назад) он тосковал, запивал иногда, говорил о жизни, жалел всех и все пытался объяснить...

Они пили в кухне, нежилой, голой — два брата, два невеселых стареющих мужика, и думал Павел Арсентьевич, что лучше б Нина его разлюбезная ушла гораздо раньше, и все бы тогда еще сложилось счастливо, пьянел, считал ее стервой и шлюхой, а потом и ее жалел, и бубнил неискренне, что все к лучшему, и искренне — что она из тех, на ком вообще жениться нельзя...

Наутро брат встал снова черен, Павел Арсентьевич потащил его выгуливать, под закопченными сводами «Детинца» осетрину по-монастырски медовухой запили, а вечером дома он заставил его разгребать мусор, пришивать номерки к грязному белью и менять перегоревшие лампочки.

В понедельник, позвонив Агаряну и Верочке на работу, он хозяйничал, купил новые занавески и швабру, мыл пол, все заблестело, а вечером выпили — уже немного, перебирали детство, пили за детей, поминали отца и мать и плакали.

Павел Арсентьевич подарил брату кофейный пиджак и приемник «Океан» и велел приезжать на следующие выходные.

А дома он вынул из кошелька толстую пачку зеленых пятидесятирублевок. Глупо подумал, что доллары — тоже зеленого цвета...

В пушистом кофейном джемпере и вранглеровских джинсах он сел за семейный стол и поковырялся в индейке.

Вызревшая тыква оказалась бомбой, стенки разлетелись, локомотив сошел с рельс и замолотил по насыпи.

Эффект в лаборатории оказался силен. Даже очень силен.

Павел Арсентьевич явился на работу ровно в восемь сорок пять и закрыл за собой дверь, уходя, ровно в семнадцать пятнадцать. Масса ужасных вещей вместилась в этот промежуток времени.

В восемь пятьдесят пять он отказался утрясать вопросы с технологами.

— Супрун, — с сухим горлом ответил он, — это компетенция начальника группы. Или завлаба. Я запустил работу. Пусть прикажут — тогда пойду.

Супрун растерялся, стушевался, просил извинения, если обидел, и только потом обиделся сам.

Алексей Иванович Агарян, заглянувший с мягким пожеланием приналечь, получил ответ:

— Кто везет — того и погоняют.

Агарян обомлел и ущипнул себя за усики. Похолодевший от усилия над собой Павел Арсентьевич стал точить карандаш.

Каждый час он выходил на пять минут курить в коридор, и в лаборатории словно включали тихо гудящий трансформатор: «Крупные неприятности... ОБХСС... вызывают в Москву... любовница...»

— Извините — я ни-чего не могу для вас сделать, — ласково, с состраданием даже сказал он бескаблучной Людмиле Натальевне Тимофеевой-Томпсон. Старая дама в негодовании ушла к затяжчикам.

Теперь Павел Арсентьевич не садился в транспорте, чтоб не уступать потом место. На улице смотрел прямо перед собой: пусть падают, кому нравится, его не касается. Отворачивался, когда женщины брались за пальто: не швейцар.

Существование его двинулось в перекрестии пронизывающих взглядов; они вели его, как прожекторные лучи намеченный к сбитию самолет.

В последующие дни он отказался от встречи с подшефными школьниками, овощебазы, дружины и стояния в очереди за колготками, заполучив неприязнь Тимофеевой-Томпсон, Зелинской и Лосевой, Шерстобитова, который все еще не женился, но уже на другой, и Танечки Березенько. В его отсутствие для успокоения общественного самолюбия решили, что Павел Арсентьевич нажил расстройство нервов вследствие переутомления.

Без двадцати семь он являлся домой с продуктами из универсама, с аппетитом обедал, шутил, возился со Светкой, мыл посуду, декламировал прочувственные нравоучения Валерке и читал в постели журнал «Юный натуралист».

По истечении пятнадцати суток этого срока испытаний он получил пятьдесят пять рублей аванса, кои и вручил Верочке со скромным и горделивым видом наследника, отрекшегося от миллионов и заколотившего копейку грузчиком в порту.

Кошелек пятнадцать суток провел в запертой на ключ тумбочке; ключ был упрятан в старый портфель, а портфель сдан в камеру хранения.

По освобождении кошелек предъявил тысячу восемьсот пятьдесят рублей: на полсотни больше последней выдачи, как и наладился.

Спорить и бессмысленно ломиться против судьбы они с Верочкой не стали, деньги отложили, а часть пустили на жизнь.

Ночью в туалете Павел Арсентьевич составил крайне детальный список: что в жизни делать обязательно, а что — сверх программы. «И никакого произвольного катания, — шептал он, — никакой самодеятельности».

Жизнь приобрела напряженность эксперимента. Павел Арсентьевич боялся лишний раз улыбнуться. Мучился, взвешивая каждое слово. Дома обедал, смотрел телевизор и ложился спать — все. «Как все нормальные мужья», — веско объяснил Верочке.

Еще пятнадцать суток.

Тысяча девятьсот.

Нехороший блеск затлел в глазах Павла Арсентьевича. Ночами он просыпался от сердцебиений (по-современному — тахикардия).

Назавтра, скованный от злости, он сидел в вагоне метро, отыскивая глазами женщин постарше, поседее; и сидел.

Танечке Березенько ни с того ни с сего влепил, что надо соотносить траты со средствами.

В скороходовском дворе оглянулся, подобрал камешек и с силой запустил в голубя; не попал.

Сергееву велел пошевеливаться с долгом; он не миллионер.

Тимофеевой-Томпсон прописал ходить в обуви без каблуков: и по возрасту приличнее, и для ног легче. «А также для чужих рук», — негромко добавил.

Какие услуги!..

Пружина разворачивалась в другую сторону: треск и щепки летели. В воздухе лаборатории пышным цветом распустились нервозные колючки.

Зелинской и Лосевой было велено пройти заочный курс техникума легкой и обувной промышленности, а также бросить бегать в театр и записаться — с целью замужества — в клуб «Тем, кому за 30».

Агаряну было положено заявление о десятке прибавки. Агарян вырвал два волоска из усиков, подписал и двинул в бухгалтерию.

Павел Арсентьевич ждал конца этих пятнадцати суток, как зимовщик — уже показавшегося на горизонте корабля со сменой. Корабль подвалил, и в пену прибоя посыпались с автоматами над головой десантники в чужой форме.

Тысяча девятьсот пятьдесят.

Любимым местом в доме постепенно стала у Павла Арсентьевича ванная. Там он мог быть один, долго и вроде по делу. Он пристрастился сидеть там часа по два каждый вечер; дети мыли руки перед сном на кухне.

Он сидел под душем, хлещущим по разгоряченному лысеющему темени, время от времени высовываясь к прислоненной у мыльницы сигарете. «Гад, — шептал он, затягиваясь, — паразит, врешь, что хочу, то и делаю».

Чего он хотел, он уже решительно не знал, а делал следующее:

Потребовал двухдневную путевку в профилакторий; и получил, и не поехал, но Сорокин тоже не поехал.

Совершил прогул: вызвал врача, настучал градусник, подарил коробку конфет и получил больничный по гриппу на пять дней. Позвонил в лабораторию (телефон стоял давно — триста ре) и злобно потребовал навестить его — как он навещал всех. Вечером примчалась делегация в составе Зелинской и Лосевой с хризантемами и Супруна с «Мускатом», которую Павел Арсентьевич и велел Верочке не пускать, передав, что он заснул впервые за двое суток.

Вышел в день совещания по итогам первого квартала, потребовал слова и вознес ханжеским голосом льстивую и неумеренную хвалу администрации, заработал неожиданно аплодисменты, спохватился и тут же подверг администрацию черной клеветнической критике, а деятельность родной лаборатории смешал с грязью, предложив чистку, ревизию и пересмотр планов работы и штатного расписания, снова сорвал аплодисменты и с легким сердечным приступом был отвезен домой на такси.

Кошелек платил. Павел Арсентьевич потерял всякую ориентацию, словно слепой в невесомости. Он обратился к своей душе, узрел в ней скверну и грянул во все тяжкие. Перестал здороваться с соседями по площадке. В комиссионке предложил взятку продавцу за японские электронные часы «Сейко»; часы нашлись тут же.

На грани невменяемости Павел Арсентьевич украл в универсаме пачку масла и банку сардин, заставил кассиршу дважды пересчитать и вслух сказал: «Жулье». Он стал пить и ругаться. Кошелек платил.

В два часа ночи Павел Арсентьевич обнаружил себя в незнакомой комнате и почти в такой же степени незнакомой постели, где лежала незнакомая женщина. Восстановив в памяти предшествующие события, он убедился, что изменил Верочке сознательно. Домой назло не звонил и пришел лишь вечером после работы. Был принят с пониманием и уважением — усталый добытчик, глава семьи. Кошелек заплатил.

Ушибившись о бесплодные крайности, Павел Арсентьевич решил попытать счастья в золотой середине. И бросил делать вообще что бы то ни было.

Он бросил ходить на работу. И вообще никуда не выходил. Поставил в ванную переносной телевизор, бар и пепельницу и сидел целыми днями среди благоухающих сугробов немецкого шампуня, пил черный португальский портвейн по шесть пятьдесят бутылка, курил крепчайшие кубинские «Партагас» и прибавлял теплую воду.

Верочка плакала...

Кошелек платил.

Холодным апрельским утром Павел Арсентьевич умыл лицо, побрился, выпил крепкого чаю, надел старую синюю нейлоновую куртку, сел в троллейбус, доехал до Дворцового моста и с его середины кинул кошелек в воду. Выпил кружку пива, позвонил на работу, сообщил, что тяжело болел и завтра придет, дома произвел уборку, приготовил обед, забрал удивленную и обрадованную Светку из садика и поведал пришедшей Верочке финал всех событий.

— Ну и слава богу, — сказала Верочка, с лица которой словно сняли теперь светомаскировку. — Так и лучше.

Вечером они ходили в кино. И весь следующий день тоже был славный, теплый и прозрачный.

А дома Павел Арсентьевич увидел кошелек. Он лежал на их постели, отсыревший, и на покрывале вокруг расходилось влажное пятно. На тумбочке испускала струйку кучка мокрых денег.

— Ааа-аа!.. — голосом издыхающего барса сказал Павел Арсентьевич.

— Пришел, — сказал кошелек. — Мерзавец... Свинья неблагодарная. — И простуженно закашлял. — Ты соображаешь хоть, что делаешь?

Павел Арсентьевич взвизгнул, схватил обеими руками

мокрую потертую кожу, выскочил на балкон и швырнул ее в темноту, вниз, на асфальт.

— Вот так, — хриповато объявил он семье. И не без рисовки стал умывать руки.

Назавтра, отворив дверь, по лицам домашних он сразу почуял неладное.

Кошелек сидел в кресле под торшером. Нога у него была перебинтована. Он привстал и отвесил Павлу Арсентьевичу затрещину.

— Он в травматологии был, — хмуро сообщил Валерка, отведя глаза.

Окаменевшая Верочка двинулась на кухню. Кошелек потребовал чаю с лимоном. Отхлебнул, поморщился на чашку и сказал, что даст на новый сервиз, хотя они и не заслужили.

Петля стянулась и распустилась сетью: началась оккупация.

Кошелек велел, чтоб его величали Бумажником, но откликался и на Портмоне. Запрещал Светке шуметь. Ночью желал пить чай и читать биографии великих финансистов, за которыми гонял Павла Арсентьевича в букинистический. На дверь ванной налепил голую девицу из журнала. По телевизору предпочитал эстрадные концерты и хоккейные матчи, сопровождая их комментарием, кто сколько получает за выступление. Во время передачи «Следствие ведут знатоки» клеветал: говорил, что все они взяточники и сажают не тех, кого следует, и поучал, как наживать деньги, чтоб не попадаться. И за все исправно платил.

Под его давлением Верочка записалась в очередь на автомобиль и на кооперативный гараж. Кошелек обещал научить, как провернуть все в полгода.

Однажды Павел Арсентьевич застал его посылающим Валерку за коньяком, с наказом брать самый лучший. Валерке сулился магнитофон к лету.

Верочка говорила, что теперь уже ничего не поделаешь, а когда они поменяют с доплатой свою двухкомнатную на четырехкомнатную — она уже нашла маклера, — то

у Бумажника будет своя комната, и все устроится спокойно и просторно.

Именование ею кошелька Бумажником Павлу Арсентьевичу очень не понравилось. Еще менее ему понравилось, когда Кошелек погладил Верочку ниже спины. Судя по отсутствию у нее реакции, случай был не первый.

Павел Арсентьевич пригрозил уволиться с работы и пойти в ночные сторожа. Кошелек парировал, что он может хоть вообще не работать — хватит и работающей жены, с точки зрения закона все в порядке. Да хоть бы и оба не работали, плевать, с милицией он сам всегда сумеет договориться.

Павел Арсентьевич замахнулся стулом, но Кошелек неожиданно ловко ударил его под ложечку, и он, задохнувшись, сел на пол.

Когда Светка гордо объявила, что подарила Маришке из второго подъезда синий мячик и помогала искать котенка, Павел Арсентьевич напился до совершенного забвения, попал в вытрезвитель, из которого и был извлечен через час телефонным звонком Кошелька.

...Билет он взял в кассах предварительной продажи на Гоголя. До Ханты-Мансийска через Свердловск. Там есть и егеря, и промысловая охота, и безлюдность и отсутствие регулярного сообщения, — он прочитал все в энциклопедии. Друг его институтского друга работал в тех краях лесничим. Пристроит.

Он оставил Верочке письмо в тумбочке и поцеловал спящих детей. Чемодана с собой не брал. Одолжит денег и купит все на месте.

Утро в аэропорту было ветреное и ясное. Самолеты медленно рулили по бетонному полю и занимали место в ряду. Гулко объявили регистрацию на его рейс.

Павел Арсентьевич прошел контроль, магнит, стал в толпе ожидающих выхода на посадку и засвистал пионерскую песенку.

Подъехал желтый автобус-салон, прицепленный к седельному тягачу-ЗИЛу, дежурная сдула кудряшку с глаз и открыла двери; все повалили.

Трап мягко поколебался под ногами, и Павла Арсентьевича принял компактный комфорт лайнера. Его место было у окна.

Салон был полупустой и прохладный. Павел Арсентьевич застегнул ремень, улыбнулся и закрыл глаза. Дверца хлопнула. Трап отъехал. Засвистели турбины, снижая мощный тон. Они тронулись.

Потом город в иллюминаторе накренился, бурая дымка подернула его уменьшающийся постепенно чертеж, и Павел Арсентьевич задремал.

— Минеральная вода, — сказала стюардесса.

Павел Арсентьевич протянул руку к подносу, и тут же протянулась к пластмассовой чашечке с ручкой без отверстия рука соседа. Рядом сидел Кошелек.

Он солидно раскинулся в кресле у прохода и благосклонно разглядывал круглые коленки стюардессы под смуглым капроном.

— А покрепче ничего нет? — со слоновой игривостью поинтересовался Кошелек, поднимая доброжелательный взгляд к ее бюсту.

— Покрепче нельзя, — без неудовольствия отвечала стюардесса, и в ее голосе Павел Арсентьевич с тоской и злобой различил разрешение на подтекст. Она повернулась с пустым подносом и пошла за следующей порцией.

— А? — сказал Кошелек и подмигнул вслед стройному и округлому под синим сукном. — Ни-че-го... В Свердловске они на отдых пойдут; там посмотрим. Выпьем, причастимся? А то ведь с утра не выпил — день пропал.

Он вынул из внутреннего кармана плоскую стеклянную бутылочку коньяку.

— Потом в туалете по очереди покурим, точно? А в Свердловске хватай в буфете два коньяка и дуй прямо к диспетчеру по пассажирским перевозкам. А то мы с тобой в Ханты-Мансийск до морковкиных заговен не улетим.

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ

Как-то в гостях, листая достойно «Историю западноевропейской живописи» Мутера, Мамрин задержался на картине «Бег часов» (Крэнстона? или как его? забыл...): безумный атлет в колеснице хлещет четверку коней — бешеную молнию. Аллегория, понимаешь; засело доходчиво... с прожилкой тоски зеленой.

Как все нормальные трудящиеся, Мамрин ненавидел будильник. Будильник проборОздил дрянным дребезжанием сон его детства: хорошенький, кофейный, круглый, на двух обтекаемых лапках, он просверливал подушку до барабанной перепонки и втрескивался в мозг, понуждая вставать в темноте, крутить гантелями, пихать в себя завтрак и волочься в чертову школу. Опаздывая, Мамрин традиционно клеветал на будильник.

В двенадцать лет ему подарили первые часики, с полированным циферблатом и узорчатыми стрелками. Часы повысили его социальный статус в классе и вообще улучшили жизнь: красивые девочки, дотоле бывшие к нему без внимания, интимно интересовались, сколько осталось до звонка, а на практическом уроке географии «определение скорости течения» благодаря его секундной стрелке засекли время сплывания щепочки, и учительница включила его в летний турпоход.

Часы эти сперли на пляже, и банок подвесили, и школу он кончал с дешевой круглой «Победой».

«Победа» разбилась в стройотряде, из заработка Мамрин приобрел модный плоский «Полет». «Полет», соответствуя названию, отличался исключительной скоростью хода, да и запас мамринской точности подысчерпался в школе: просыпая первую пару, он испытывал не раскаяние, но злорадство: выкусите. Демократизм студенческой жизни укрепил опоздания в систему: он и на свидания опаздывал: и ничего.

«Полет» он по выпускной пьянке отстегнул на память другу, а себе, распределившись на работу, достал «Сейко».

«Сейко» пришлось загнать в комиссионке перед свадьбой: деньги нужны были.

Жили они, сторублевые молодые специалисты, бедно и перспективно: в основание будущих достижений жена ухватила в очереди за шесть рублей огромный будильник «Севан», разгромный рев которого сметал с постели не хуже пулеметной очереди: с чумной головой и стонущим сердцем, Мамрин вздрыгивался над одеялом и мельтешил руками, норовя прихлопнуть гадский агрегат. Потом обнимал юную супругу и опаздывал на работу.

На второй год такой жизни будильник покончил самоубийством: грохоча и трезвоня, как перед концом света, он буквально подковылял к краю полочки и ринулся вниз головой на пол. Пластмассовое раскололось, железное разлетелось, пружинка звенькнула отравленной стрелой и вонзилась Мамрину в щеку. Жена похоронила останки в помойном ведре и заплакала над трудностью жизни и неперспективностью мужа.

«Когда-нибудь я опоздаю на собственные похороны», — в оправдание шутил он. И начинал новую жизнь по понедельникам.

Один небольшой, но явный недостаток способен перевесить ряд больших, но скрытых достоинств. Опаздывающий работник не преуспеет там, где главным показателем работы является отсидка. При капитализме он, возможно, не выжил бы, так при капитализме он бы, возможно, и не... Однако при социализме все с годами налаживалось.

Сынишка, роясь в песочнице, притащил «Кардинал» на стальном браслете, и Мамрин с умилением носил «Кардинал», пока сынишка же не пустил их в окно, чтоб полюбоваться, как они полетят.

На тридцатилетие жена подарила ему электронный «Кварц», который без промедления стал показывать что угодно, вплоть до высоты над уровнем моря и роста цен на водку, только не время.

Часы не приживались: он забывал их в бане, терял в колхозе, ронял на лестнице и топил в кастрюлях. Зато не

было проблем что дарить ему к празднику. Красивые коробочки с новенькими «бочатами» вручались друзьями и сослуживцами, родственниками и даже начальством. Дольше всех продержался шикарный «Ориент» с музыкой, преподнесенный женой в экстазе переезда на новую квартиру, которую они выменивали шесть лет. И каждый раз с новыми часами он начинал новую жизнь.

Мамрину доставляло удовольствие изучать витрину и неторопливо, со вкусом, выбирать, примериваться, прикладывать часы к руке, предвкушая, как они будут тихонько и щекотно тикать, упорядочивая и направляя его действия.

Иногда он жульничал, сдавая приевшийся, не оправдавший надежд механизм в комиссионку: так вырывают испорченную страницу из дневника или выкидывают грязную тетрадь, чтоб в свежей начать начисто.

Пятнадцатирублевую надбавку за стаж отметили покупкой «Вымпела», а когда его повысили в начальники отдела, вся родня сложилась и выставила золотую «Омегу», полагая, что уж ее-то Мамрин потерять посовестится... или хоть пожалеет.

Эту «Омегу», которая окольцевала ему словно не запястье, а горло, он прямо возненавидел, и однажды утром, когда долго и честно не сумел найти ее нигде, вздохнул с облегчением.

Пробовались и карманные часы, на цепочке, но судьба не дремала: рвался карманчик, распаивалась цепочка, отлетала пуговица, крошились стекло и начинка о стальной поручень, жаля нежное подбрюшье в автобусной прессовке.

Но вне зависимости от марки и цены часов, он в четверть шестого вставал из-за стола, толкался в магазине, трясся домой, обедал, помогал жене по хозяйству, смотрел телевизор и в одиннадцать раскладывал диван-кровать, листая перед сном «Иностранку» или «Советский экран». А без десяти семь давил будильник, жужжал бритвой, кусал бутерброд, хватал портфель и скакал через колдобины на троллейбус.

И вся-то наша жизнь есть борьба, как справедливо пелось в песне, и начинается эта борьба с посадки в транспорт.

Городской транспорт в час пик — о! да... ы-ыхх! ристалище крепкобоких горожан, арена борьбы за право на труд вовремя, уж мы пойдем ломить стеною. Упрессованное месиво, оснащенное поверху, как тесная кастрюля накипью фрикаделек, слоем лиц: мрачных, серых, невыспавшихся, замкнутых, взор еще внутри, еще досыпает под скобленой щетиной или беглым гримом, — стылый свинец застарелой усталости, преодолеваемой механической инерцией маховика, яремной запряжкой воли: клюющие носы, тяжелые веки, сжатые губы, ноль улыбок, минус оживление, — несвежий полуфабрикат рабочей силы, дохлый концентрат трудящихся масс, угрюмые шаркающие толпы безмолвно всасываются в проходные и подъезды под темной моросью: «Слава труду!». И будешь добывать хлеб свой в поте лица своего, — какова добыча, таково и лицо.

А часы: тик-так! как крохотный снайпер отстреливает тонкие подвески люстры, без промаха и осечки: отстрелит последнюю — и гаси свет.

Мамрин отработал способ посадки: троллейбус еще скользит — шаг вперед к самой бровке и маневр вбок-вбок, выгадывая дверцу. Удалось — локтями прикрыть печень и ребра, и тебя вносит. Нет — выбрасывай вперед портфель, его заклинит телами, и за ручку втя-агивайся на буксире внутрь. Ручка была пришита медной проволокой.

Умело вбившись с первой попытки, он повоевал внизу ногой, распихивая пятачок для опоры, удвинул нос от мокрого пальто переднего и расслабился. Троллейбус ревматически поскрипел, крякнул, дрыгнул расхлябанными створками и заныл, накручивая ход.

Тужась короткими перебежками, снося стенобитный штурм на остановках, достигли они Невы и поползли на мост Строителей. Меж плеч и боков ехала пред Мамриным тонкая женская кисть, с колдуньими кровавыми когтями,

с царственным узким запястьем, и на запястье том, на двойном шнурке, блестела золоченая срезанная горошина. Мамрин сощурился, читая ее марку, и — насторожился положением стрелок... Их желтые усики растопырились на восемнадцать минут девятого.

Минувший отрезок занимал обычно десять минут. Не могли же они тащиться двадцать... двадцать две?.. Мамрин выдернул к телу собственную руку, как пробку из бутылки, повихлял запястьем, елозя обшлагом о спинку соседа и помогая себе носом, и до предела скосил глаз. Его красавица-дешевка «Ракета» утверждала восемь тринадцать!

Настроение удачного, рассчитанного утра испортилось. Понедельник этот вдобавок выпал первым числом месяца, а «Ракета» куплена в пятницу. Собравшись к новой жизни, он встал раньше, надел на совещание новую сорочку: хотел явиться с запасом...

У Биржи троллейбус вулканически изверг студентов и офицеров, прочие пытались удержаться, хватаясь за любые выступы: Мамрин вспотел. В молодости, на карате, тренер, опаздывая, гнал сокращенную разминку «зеленых беретов»: один лежит крестом мордой в пол, а второй топчется по нему, давя весом на мышцы и суставы: пять минут — и кимоно мокрое. Утренний вояж не хуже, чего там зарядка: дыхание резче, гретые мышцы гибче, узкий бойцовый проблеск меж век: готов к труду и обороне против действительности.

Скатился транспорт с дуги Дворцового моста, сбросил очередной десант, освобождая место для вздоха по опозданию и похеренным планам. За текучим стеклом деревья голые вклеились в серую муть, расчеркнутую пополам Адмиралтейским шпилем. А под шпилем, в адмиральского золота колпаке, четким военно-морским звоном сыпанули куранты две четверти: половина девятого.

Устный выговор, прилюдный, был обеспечен.

Ковыляя и тянясь в двойном гнутом ряду бамперов и фар, вывернули они наконец через трамвайные рельсы под светофор на дымный плотный Невский. Приняли груз, застонали рессорами и, кренясь и шелестя, шаланда

с сельдью понесла Мамрина навстречу сужденным злоключениям.

Вялым фруктом висел он под поручнем, безучастно глядя на проносящийся Строгановский дворец, в тихом дворике которого так хорошо было выкурить некогда сигаретку на пустой скамейке, отделившись тяжелой старинной калиткой от бегучего гама Невского; на рыбный магазин, где кроме пучеглазых океанических чудовищ давно ничем не потчевали; на магазин сорочек, где никогда не было приличных рубашек его, ходового тридцать девятого, размера; на «Кавказский» ресторан, где он вообще както ни разу не был; на Казанский собор, куда он однажды водил жену, тогда еще невесту, и с тех пор хранил знание, что это красивейший собор в Ленинграде, а архитектор Воронихин, из крепостных, был на самом деле внебрачным сыном графа Строганова, того самого, чей дворец.

Там проплыла Дума, а на каланче Думы — часы: а на часах — без пяти девять.

Мамрин моргнул, подумал, послушал пустое позванивание под черепной крышкой. С нетвердой преступной улыбкой обратился к соседу:

— Который час на ваших, не скажете?

Вздернулся серый дутый рукав, обнажив пластмассовые «Диско»:

— Семь минут десятого.

— А там? — Мамрин кивнул за окно, но Дума уже сдвинулась за обрез стекла, парень не понял.

В аркадах Гостиного таранились по спискам и без списков покупательские колонны, на Галере кучковалась, перекидывая сделки, фарца, а на Садовой, над трамваем, над серым камнем, за угловым, огромным, выгнутым, многостекольным окном Публички — часы, привычные, круглые, малозаметные постороннему, и стрелки — вразлет: девять часов пятнадцать минут! будьте любезны!..

В прострации Мамрин миновал Катькин садик — и решился, с неловкостью ощущая запретную бестактность своего вопроса:

— Который час?

— Десять, — доброжелательно отозвался золотозубый мешок.

Изящноусый кавторанг предъявил из-под черного сукна «Командирские» с красной звездочкой и фосфорными стрелками:

— Десять сорок две.

— Вы уверены? — странно спросил Мамрин.

Кавторанг отвечал с превосходством:

— Хронометр!

Усмехнувшись мстительно, Мамрин без церемоний дернул за меховой локоток надменную манекенщицу, запустив традиционной до идиотизма фразой: «Девушка, который час?». Девушка шевельнулась презрительно. Мамрин допытывался: «А то вот товарищ утверждает, что сейчас без четверти одиннадцать». Сменив гнев на милость:

— Пять минут двенадцатого, — обронила она в сторону.

— Ну что вы, у меня в одиннадцать лекция в училище, — опроверг моряк.

— Плакала ваша лекция, — без сочувствия сказала манекенщица.

Тетища с сумищей, ядреный и несъедобный продукт городского естественного отбора, до всего дело, встряла судейски:

— Без двадцати двенадцать. Я к двенадцати в больницу к мужу еду, всегда в это время.

— Вы что, нездоровы? — гуднул немолодой работяга. — Я к семи на смену еду.

Все ехали по своим делам.

Оставив их разбираться, Мамрин угрем заскользил к кабине, протискиваясь и извиваясь. Огромную баранку пошевеливала брюнеточка в стрижке «под полубокс» (так это раньше называлось?). Мамрин пленной птицей заколотился в перегородку. У перекрестка она отодвинула форточку:

— Билеты?

— Вы по расписанию едете? Что? по расписанию?

— По, по!.. — захлопнула отдушину и, пробурчав совсем не девичье, но вполне солдатское, нажала педаль

хода. «А время?» — булькнул в стекло Мамрин, уж заметя: часы в приборной доске — на половине первого.

— Сейчас ровно час, мужчина, — помог студент, очкатый-бородатый.

— Ночи! — добавил его друг, и, гогоча, они вывалились:

— Сколько времени, ваше величество?

— Сколько вам будет угодно, ваша честь!

Рухнув на площадь Восстания, Мамрин утвердил со всей возможной прочностью ноги и воззрился в охватившее его пространство. Гранитный дурацкий карандаш, увенчанный геройской звездой, торчал, как ось, посередине беспорядочного вращения каменной, бензиновой, металлической, людской мешанины. Беспросветный стальной колпак без малейших проблесков светила покрывал ее.

И победно и непререкаемо слали знак на все четыре стороны света циферблаты твердыни Московского вокзала: час. Двадцать минут пятого. Семь сорок. Одиннадцать ноль семь.

— Сколько времени!!! — воззвал к небесам Мамрин. Небеса опустились, и Божья ладонь прихлопнула егозливую букашку.

— ...Почему шумим? — спросил сержант, и передвинул рацию на ремешке к груди.

— Сколько времени? — уцепился Мамрин.

— А в чем, собственно, дело? — сержант неодобрительно принюхался.

— Вы знаете, который час?.. — зловеще прошептал Мамрин.

Неохотно:

— Я за временем не приставлен.

— Так посмотрите по сторонам! — визгнула жертва.

Сержант не стал следовать приказу.

— Что вы имеете в виду? — с казенной отчужденностью произнес он.

По сторонам многорядно фырчал и тыркался, буравя клаксонами, транспорт. Рваный рок хлестал из ресторанных стекол, и швейцар в сутолоке сеял затоптанные червонцы. Муравейник переливался вкруг вокзала, брачной страстью трубили электрички. Зажглись пустые витрины булочной, гармошкой съехалась очередь за итальянским мороженым. У стоянки такси обнимали букеты мокрые теснимые цветочницы. Загремел засов гастронома, захромала световая реклама, завертелись головы прибывающих толп.

Многоцветная беспокойная пробка закупорила, насколько хватало глаз, Лиговку и Невский. Вскрикнул сдавленно слипшийся ком, валясь в метро. Выражаясь языком дорожно-транспортных происшествий, движение было парализовано.

Цвиркнул и задохся милицейский свисток, соловей городских кущ. И круглый гулкий звук прокатился в электрическом воздухе: ударила пушка с Петропавловки, которой полагалось отмечать либо полдень, либо стихийное бедствие типа наводнения.

С полднем обстояло проблематично, а бедствие неявно, но вполне наличествовало. Перенасыщенная человеческая смесь, следуя естественной закономерности, возбуждалась собственной энергией: самовозгорание опасного груза при неправильном хранении; не кантовать. В обмене репликами и соображениями уже переходили на личности и храбрыми намеками кляли городскую власть и всеобщий бардак, и сильно умный рассуждал о высоконаучной природе времени, раскручивался слух о небывалой магнитной буре, перекрываясь другим — о безобразном качестве советских часов, и третьим — о переходе на всеобщий скользящий график: уже одни читали вчера объявление об этом эксперименте, а вторые слышали по телевизору.

«Экономическая катастрофа... ионизация!..» — «Авария на подмосковной АЭС, все поезда забиты — на Ленинград эвакуируются...»

«Топливо кончилось, нет подачи энергии... троллейбусы и трамваи обесточены, закупорили весь город...»

...уже искали виновных, и вычислили таковых, в основном они оказались лицами еврейской национально-

сти, явными или скрытыми; зазвенела празднично и призывно разбитая витрина; застонала гражданка про украденный кошелек; завибрировали кассирши и продавщицы под напором жадных рож, растекались коробки с мылом и сахаром.

И грозовыми барашками возделись, закланялись самодельные плакаты: «Демократия — через многопартийность», «Патриоты всех стран — объединяйтесь!», «Труд должен быть свободным!», «Долой партократию!» и почему-то «Украсим наш город!». Балансируя на лотках и урнах, проклюнулись поверху ораторы, напрягая тренированные гортани, рубили правду-матку, в подтверждение правоты ведя рукой вокруг — не то демонстрируя имеющиеся безобразия, не то даря их слушателям широким жестом Садко, бросающего заморские подарки — в доказательство, что уж теперь-то всем явно и очевидно: так дальше жить нельзя.

— Был порядок раньше, был! А теперь...

— Всем принять вправо! — Милицейский «козел», чиркая синей мигалкой и ярясь сиреной, проталкивался упорно. Мегафон слал привычный жестяной указ: — Граждане, соблюдайте порядок! Просьба очистить площадь!.. Нарушители законности будут привлечены!..

Призывы возымели противоположный эффект. Тр-рах по жестяному и стеклянному! Отрицательные эмоции площади сфокусировались на козле отпущения. Выделились крепкие ребята в черных майках и десантных тельняшках и хорошо прикинутые деляги, с мятыми боксерскими носами и выкрученными ушками борцов. Фургончик качнулся и лег, хрустнув зеркальцем на кронштейне и вминая в борт дверные ручки.

Площадь завопила.

Мелькнула фуражка, треснул рукав, с мягким влипающим чмоком опустилась пряжка армейского ремня.

Вдали черной гребенкой плеснули дубинки ОМОНа.

— Сто-оп!!! — седеющий рослый киногерой держался с мегафоном на опрокинутой машине. — Нельзя кровавую баню! Они этого хотят! Провокация не пройдет! Мы не марионетки... Мы не дадим себя одурачить! загнать в лагеря! Хватит!

— А-а-а!!

— Мы еще узнаем причину! и виновников! Хаос — против нас! Паника — против нас! Опять пойдем на поводу? на бойню?

— Э-э-э!!

Прорубил воздух кулаком:

— Чего они добились? Пошли вразнобой часы? Это — повод для погромов? для психоза? — Повел по толпе указующим пальцем: — Ну, кто тут такой туземец, что впадает в раж из-за испорченных часов? — Перепустил умелую ораторскую паузу: — Пусть тот, у кого никогда не врали часы, первый бросит в меня камень! Ну? Булыжником, так сказать, орудием пролетариата?

Нервное напряжение проискрилось смехом. «Я б кинул, да тут асфальт кругом!»

— У кур сальмонелла, у свеклы нитраты, у компьютеров вирус, у часов тоже... дизентерия!.. — Пошутил, значит, с народом.

Подыграли хохотом. Оратор, безусловно, обладал магнетизмом: он ухватил нерв толпы, как хирург пинцетом, и теперь играл на этой натянутой струне, приотпуская.

— Не в часах дело!

— А-а-а!!

Как всякий вяловатый и малоудачливый человек, Мамрин обладал развитым воображением, компенсирующим недостачу конкретных благ. Плывя внутрь себя от гула, он мечтательно проницал за пределами видимости:

Рыдает во Дворце невеста, отчаявшись дождаться жениха; тупо смотрит фарцовщик на чемодан бессмысленных часов; срываются бесчисленные совещания; —

Свободный и злой мозг работал в злорадно-деструктивном, если можно так выразиться, режиме: разладился хронометраж боевых ракет; всплывают из преисподней черные подлодки; впервые иссякает ядовитый дым труб и водопады отравы... А на дорогах-то что сейчас на железных!.. «А, на дорогах и так не лучше», — отозвался

железнодорожник, длинно сплюнув. Видимо, Мамрин заговорил вслух.

— Народ сделал свой выбор! — торжествующе грохотал мегафон. Политгерой мотнул седым волчьим чубом. — Сейчас мы поставим часы на единое время — наше! И начнем н а ш у, нормальную жизнь! В полдень!..

— А если сейчас не полдень? — прогорланил рыжий петух, кожаный заклепанный панк.

— Мы в жизни хозяева — всего! и времени тоже! оно принадлежит нам! и будет таким, какое мы установим!!! — воздел руку жестом памятника, выбрасывающего исторический лозунг: — Мы покоряем пространство и время!

В гипнозе сумятицы самое простое решение кажется гениальным, а самый банальный и забытый призыв — пророческим. Толпа, как известно, живет эмоциями, а эмоции эти частично переключились из ярости в энтузиазм: всем льстило осознать себя хозяевами и покорителями как пространства, так и, черт возьми, времени!

— Итак! — Грохот. Тишина. — Есть предложение поставить стрелки часов...

— А у меня без стрелок! — пропищала бесполая джинса, свесив ножки с крыши троллейбуса. — Электронные!.. (Смех.)

— Кто такой бедный, что и стрелок нет — обходись цифрами! (Смех. Инстинкт самосохранения и здравомыслия брал верх — отходили...) Есть другие предложения?

— Есть! — Поставим на два часа — обеденный перерыв.

«Четверть шестого — конец работы!»

— Раз!..

Миллионы рук с часами поднялись к глазам.

— Два!..

Миллионы пальцев коснулись ребристых головок и кнопок...

— Момент, момент! — стареющий запущенный юнец, эдакий диссидентский тип дворника-интеллигента, вскарабкался на фургон и тащил мегафон к себе. Рослый вождь оттолкнул его, но железо под тяжестью прогнулось и спружинило, окно сыпануло крошками под неверной ногой — он провалился косо, и люмпен-интеллигент, очочки проволочные разночинские, завладел аппаратом.

— А куда вы, собственно, торопитесь? — с циничной рассудительностью повесил он вопрос.

— Еще не натопились? Соскучились? — спросил он.

— Второго такого случая, надо полагать, не будет, — сказал он.

— Вот и давай вам после этого последний шанс. — Скосоротился.

Тусклым блеском надавливала линия пластиковых щитов.

Тяжелый моторный рык придвигался от Обводного.

— Да кто его дал-то?!

— А я откуда знаю? А тебе какая разница?

Упоминание о последнем шансе, хоть и неизвестно откуда, и неизвестно зачем, но и упустить — так, сразу, тоже знаете... — заставило слушателей задуматься.

Тем временем вождь высвободился и вцепился было в мегафон, но давно отдышавшийся милицейский капитан усмотрел, наконец, для себя дело и сдернул его за полу серого макинтоша вниз. «Плюрализм так плюрализм, — пропыхтел он. — Слово имеет следующий оратор».

— Спасибо, — вежливо сказал люмпен. — А может, уж и время тоже кончилось, — сказал он.

— Как это? А что теперь?

— А ничего... Пойдем каждый куда хочется.

— Это куда ж мы придем!? — пробасил толстый вислоусый полковник с суровостью Тараса Бульбы.

— Как вы мне все надоели! — закричал люмпен. — Кто куда хочет, тот туда и прийдет! Кто тут был такой счастливый? Не вижу! Кто успел сделать в жизни то, что хотел? Не вижу!

— Меньше пены, — посоветовали снизу. — Тут не вечер поэзии.

— Пусть каждый сделает то, что ему надо сделать!!

— Ого! — сказал одноногий десантник. — А что потом?..

— Потом? А вот потом мы снова соберемся вместе...

— Все? — спросили красавицы и инвалиды, очкарики и работяги, учителя и бараны, теснимые щитами.

— Те, кто останется в живых... — странно ответил люмпен. — И вот тогда мы решим, что делать дальше... как ставить часы!..

— А что именно делать? — донеслось от Октябрьской гостиницы.

— Посмотри в зеркало — и ты увидишь ответ! Вспомни свое детство и мать. И ты узнаешь ответ. Взгляни в глаза соседу. И ты узнаешь ответ. А если ты совсем глуп — купи букварь. И ты узнаешь ответ!

На углу Гончарной такси вдруг двинулось боком и с хрустом сложилось, открывая плоскую башню и скошенную грудь танка. Времени больше не было.

Площадь потекла.

Вместо подобающих ситуации спасательных и серьезных, возвышенных мыслей Мамрину пришло в голову до непонятности пустейшее детское воспоминание: он хотел стать пиратом. Еще он хотел увидеть Рио-де-Жанейро и Гавайские острова. Еще он хотел посадить в машину жену и сына, и отправиться втроем куда глаза глядят. Еще он хотел переспать с негритянкой, написать книгу о своей жизни, дать по морде директору института и отыскать свою первую любовь и поцеловать ей руку. Еще хотел пристрелить хоть одного из тех, кто когда-то пытал и расстреливал невинных. Хотел влезть по лесенке на фонарный столб, привязать себя цепью, закрыть ее на замок, ключ выкинуть, и выкрикнуть всю правду обо всем. Хотел создать собственное маленькое проектное бюро и проектировать как хочется, и что хочется, и кому хочется, быстро и за хорошие деньги. Хотел заняться физкультурой и привести в порядок фигуру. Хотел найти несколько друзей юности и крепко с ними надраться. Хотел поохотиться в Африке. Хотел взорвать комбинат, отравляющий Байкал, и был согласен отсидеть за это потом положенный срок. Хотел своими руками построить маленький, но собственный дом, какой хочется, и завещать его сыну.

Он сел на урну и закурил. Посмотрел на свой портфель и послал его пинком — он никогда не любил портфель. Удивленно подумал, неужели никто не мог пристрелить Сталина.

Потом он подумал, что дел набирается слишком много, и несколько встревожился, что может опоздать, когда придет срок снова собираться вместе и ставить свои часы на единое новое время.

Отстегнул ремешок и брызнул часами о гранитную стену.

И очень медленно, с наслаждением, глазея по сторонам, отправился для начала пообедать в ресторан «Кавказский», с хрустом ступая по миллиардам крохотных пружин и шестеренок.

ХОЧУ В ПАРИЖ

ХОЧУ В ПАРИЖ

Хотение в Париж бывает разное. На минуточку и навсегда, на экскурсию и на годик, служебное и самодеятельное, необоснованное и законное, неотвязное и мимолетное, всерьез и в шутку: «Я опять хочу в Париж. — А что, вы там уже были? — Нет, я уже когда-то хотел». Всемирная столица искусств и мод, вкусов и развлечений, славы и гастрономии, парфюмерии и любви — о далекий, манящий, загадочная звезда, сказочный Париж, совсем не такой, как все остальные, обыкновенные и привычные, города. Париж д'Артаньяна и Мегрэ, Наполеона и Пикассо, Людовиков и Брижжит Бардо, Бельмондо, Шанель, Диор, Пляс Пигаль, Монмартр, бистро, мансарды... ах — Париж!.. Вдохнуть его воздух, пройти по улочкам, обмереть под Нотр-Дам, позавтракать луковым супом, перемигнуться с пикантной парижанкой, насладить слух разноязыкой речью, кануть в вавилонские развлечения, кинуть франк бездомному художнику, растаять в магазинном изобилии, купить жареных каштанов у торговки, узнать вкус абсента и перно... ах — Париж! хрустальная мечта, магнетическое сияние, недосягаемый идеал всех городов, искус голодных

душ. Вернуться и до конца дней вспоминать, рассказывать, где ты был и что ты видел — или рискнуть, преступить, сыграть с судьбой в русскую рулетку, остаться, слиться с его плотью, стать его частицей, — или гордо покорить, пройти сквозь нищету, подняться к сияющей славе, добиться всемирного успеха, денег, поклонения, репортеры, экипажи-скачки-рауты-вояжи, летняя вилла в Ницце, особняк на Елисейских полях... Один знаменитый весельчак-композитор поведал телезрителям, что весну он предпочитает проводить в Париже. Тонкая шутка не была понята: миллионы безвестных и рядовых тружеников дрогнули в возмущенной зависти к наглому счастливцу, ежегодно празднующему весну в Париже, где цветут каштаны и доступные женщины на брегах Сены под сенью Эйфелевой башни. Короче, кому ж неохота в Париж. А спроси его, что он в том Париже оставил? Побывать, походить, посмотреть... даже не обарахлиться, это и в Венгрии можно... а печально: жить, зная, что так до смерти и не увидишь его, единственный, неповторимый, легендарный, где живали все знаменитости, и помнили, и вздыхали ностальгически: «Ну что, мой друг, свистишь, мешает жить Париж?». Неистребимая потребность, бесхитростная вера: есть, есть где-то все, чего ни возжаждаешь — красота, легкость, романтика, свобода, изобилие, приключение, слава; смешной символ красивой жизни — Париж. Боже мой, как невозможно представить, что из Свердловска до Парижа ближе, чем до Хабаровска. Как невозможно представить, что там кто-то может так же просто ж и т ь, как в Конотопе или Могилеве.

Итак, в один прекрасный день Кореньков захотел в Париж.

В пятом классе Димка Кореньков посмотрел в кино «Трех мушкетеров». И — все.

Он вышел из зала шатаясь. Слепо бродил два часа. Вернулся к кинотеатру и встал в очередь.

Денег на билет не хватило. Помертвев, он двинулся домой и выклянчил у матери рубль, задыхаясь, понесся обратно: успел.

После девятого раза Париж стал для него реальнее окружающей скукоты.

Жизнь в городишке была небогатая. Пассажирский поезд проходил дважды в неделю. Местных хулиганов знали наперечет. Изредка заезжали областные артисты. Пробуждающаяся Димкина душа, неудовлетворенная обыденностью, оказалась затронута в заветной глубине.

Обрушился удар — фильм сняли с экрана. Димка горевал, пока не просияла надежда: он впервые отправился в библиотеку и взял «Три мушкетера». Ту ночь не спал: сидел в туалете их коммуналки и читал...

Вернуть книгу было выше его сил — он легче расстался бы с рукой. Почта принесла суровое извещение об уплате пятикратной стоимости. Отец отвесил Димке воспитующий подзатыльник. Такова была первая его жертва на тернистом пути к мечте.

Познав наизусть «Трех мушкетеров», Димка обнаружил «Двадцать лет спустя» и «Виконта де Бражелона». Упоительно и безмерно счастлив, он погрузился в яркий и отважный мир Люксембургского дворца и Пре-о-Клер, где дамы мели шлейфами паркеты, взмыленные кони с грохотом мчали кареты через горбатые мосты, и шпаги звенели и сверкали в лучах заходящего солнца. Его выдернули из грез, как рыбку из речки — четверть окончилась, он не успевал по всем предметам, грандиозный скандал разразился.

— Хоть что-нибудь ты знаешь? — скучно спросила классная, прикидывая втык от педсовета за Димкины успехи.

— Париж стоит мессы, — нахально выдал Димка. — Экю равняется трем ливрам, а пистоль — десяти!

Класс возопил триумф над племенем педагогов. Кличку «француз» Димка принял как посвящение в сан. Раньше он не выделялся ничем: ни силой, ни храбростью, ни умением драться, ни знаниями, ни умом, ни престижными родителями. В секцию его не приняли по хилости, кружки не интересовали, музыкальный слух отсутствовал. Париж придал ему индивидуальность, выделил из всех, и в любовь к Парижу он вложил все отпущенные природой крохи честолюбия и самоутверждения — это был его мир, здесь он не имел конкурентов.

Упрочивая репутацию и следуя течению событий, он

вытребовал в библиотеке слипшуюся «Историю Франции». Нарабатывал осанку, гордое откидывание головы. Отрепетировал высокомерную усмешку. С герцогской этой усмешкой сообщал о невыполненных уроках, не снисходя до уловок. Учителя и родители, одолевая бешенство, списывали выкрутасы на трудности переходного возраста; вздыхали и строили планы воспитательной работы. Они ничего не понимали.

— Ты правда знаешь французский? — спросила Сухова, красавица Сухова, глядя непросто.

Французский в их дыре не звучал со времен наполеоновского нашествия; Димка зарылся в поиски и добыл учебник, траченый мышами и плесенью. Выламывал губы перед зеркальцем — ставил артикуляцию. И все реже отсиживал в школе, зато в нее все чаще вызывали отца.

Отец попомнил домострой и выдрал его с тщанием.

— Еще тронешь — сбегу, — прерывистым фальцетом пообещал Димка, когда экзекуция перешла в стадию словесную.

— Куда ты убежишь? — вскрикнула мать, вскинув полотенце.

— В Париж! — зло припечатал Димка. Серьезно.

«Во блажь очередная... Слетит». Блажь не слетала. Жизнь обрела стержень: Париж был интереснее, красивее, лучше дурной повседневной дребедени. Он уже знал Париж вернее собственного района: Версаль, Сен-Дени, Иври, Сите!.. Окружающее касалось его все меньше, плыло мимо, не колыхало.

После восьмого класса школа с облегчением сбросила бзикнутого в лоно ПТУ. И то сказать: хотение в Париж — это еще не профессия.

Годы в ПТУ не отяготили Димкино сознание. Он чего-то делал в мастерских, чего-то слушал в классах, а на самом деле хотел в Париж. Хотение начало давать результаты, пока как бы промежуточные: с ним считалась прекрасная половина училища — он досконально знал, что носят в Париже. Неведомыми путями приплывал каталог мод, сиял глянцем, вгонял в пот провинциальных портняжек,

не чаявших обшивать маркизов и виконтов. В конце концов сермяжную продукцию родной областной фабрики взялись перешивать ему две девочки в обмен на консультации. «Так носят в Париже», — снисходительно ронял он местным денди в клешах с жестяными пряжками.

На каникулах он приобрел в областном центре пластинки с уроками французского, пылившиеся там с одна тысяча девятьсот незапамятного года. Гонял их до ошизения на наидешевейшем проигрывателе «Юность», шлифуя произношение.

Поскольку французы предпочитают пить красное вино, он предпочитал исключительно его серьезному мужскому напитку водке. Запив в парадняке красным рагу и паштет, приготовленные матерью по списанному рецепту, он чувствовал, что вкусил сегодня вполне французскую трапезу.

Сложнее оказалось с луковым супом. «Книга о вкусной и здоровой пище» рецепта не давала. Димка сам разварил лук в лохмотья, бухнул в мутную водичку поболе соли, перца и лаврового листа (французская кухня острая) и через силу выхлебал ложкой; прочие домочадцы, отведав и сплюнув, от деликатеса мягко отказались.

Апофеозом гастрономических изысков явилась варка лягушек. Нацапав в болоте десяток квакух, Димка улучил час, когда дома никого не было, и приволок добычу на кухню. Не будучи дилетантом, он знал, что едят только задние лапки, с дрожью отделил их и разместил в суповой кастрюле, помолившись, чтоб мать не узнала. Определив готовность, скомандовал себе: «Пора!» — и действительно сунул в рот маленькую, похожую на цыплячью, лапку и сжал челюсти, но тут здоровый русский организм воспротивился насилию над своей природой, желудок лягушек отверг; Димка отпился холодной водичкой и помыл в кухне пол. И еще долго стыдился своего тайного позора.

Зато с девушками он в свой срок сделался свободен и даже развязен. Атмосфера Парижа фривольна, парижанин живет легкой и игристой, как шампанское, любовью: тонкий флирт, мимолетная измена, элегантный роман. Обычно Димкины избранницы не могли вот так сразу настроиться на парижский лад, иногда отказ происходил в форме категорической и грубой, он насмешливо утешался их глухим провинциализмом: «Да, это не Париж». Но и когда его пылкая страсть была разделяема — он оставался недоволен. Где талия, тонкая, как у цветка? Где грудь, упругая, как резиновый мяч? где шаловливый задор, прикушенная губка? И где, наконец, неземное блаженство? А тайная белая пена кружев тончайшего белья? Вот уж по части белья местные Манон были столь же бессильны, сколь невиновны, облекая свои юные прелести в стеганую холстину с желтыми костяными пуговицами и байку с начесом... горький осадок не исчезал.

Может составиться впечатление, что он был каким-то маньяком, параноиком. Да нет, он был в общем совершенно обычным парнем, ну просто он хотел в Париж, хотеть ведь никому не запрещено. У каждого свое хобби, или свой таракан в голове, как сказали бы англичане. Ну, с легким прибабахом, бывает. Он бы и поехал в Париж, да понятия не имел, с какого конца за это дело взяться. Иностранец было словом ругательным, политическим ярлыком. За границу уезжали дипломаты или предатели. Но не одни же дипломаты и предатели заграницу населяют. У него не было никаких конфликтов с Родиной, никаких несогласий, он был за социализм — он ведь и в Париж-то хотел не навсегда, а так, посмотреть, пожить немного, ну от силы года два; но кому и как это объяснишь?..

А фанерная этажерка заполнялась книгами о Париже. С закрытыми глазами он мог бы пройти из пятого арандисмана в четырнадцатый. Он высчитал количество шагов от Лувра до «Ротонды», принимая длину шага равной семидесяти сантиметрам. В нем родилось знакомое некоторым чувство: он словно вспоминал о Париже, хотя там не был. Однажды он с пронзительной достоверностью почувствовал себя парижанином, неведомо как заброшенным в этот дальний глухой угол.

В армии, слава богу, из него эту дурь подвыбили. Напомнили об империализме, колониализме, ненужно большой армии, кстати, позорно разбитой в восемьсот двенадцатом году, интервенции, безработице, проституции и эксплуатации. Рядовой Кореньков (молодой-необученный, салажня, еще варежку разевает!) пытался проповедовать насчет Сопротивления, Жанны Лябурб, Марата и голубки Пикассо, но первейшие доблести солдата есть дисциплина и выполнение приказа, направление мыслей беспрекословное, налево кру-гом. И для укрепления правильного направления мыслей лепили наряды.

Мысли Димкины направления не изменили, но что подразвеялось, что упряталось поглубже: солдат вышел исправный. Французский стал подзабываться, так ведь и порусски к отбою язык заплетается.

Перед дембелем подсекло: выяснилось, что он знаком с военной техникой и прочими секретными вещами, и теперь на нем пять лет карантина — без права поездок за границу.

— Ты что, Кореньков, за границу, что ли, собрался? — удивился замполит его реакции на известие.

— Никак нет, — заготовленно соврал Димка: — Хотел учиться в институте на переводчика.

— О? Пока выучишься — время и пройдет!

Дома Димка отдохнул месяц и затосковал. Когда тебе двадцать, пять лет — срок бесконечный... Да эх, еще не старость. Прочитал объявление о наборе и сорвался в областной центр: все ж фабрика, институт, — цивилизация. А там обвыкся, перевез в общагу свои книжки и пластинки и терпеливо принялся за старое.

Мечты мечтами, жизнь жизнью: из череды девочек как-то выделилась одна, высветилась, открылась — единственная. Димка влюбился, Димка потерял голову. И оказалось, что будет ребенок... Так он женился. В общем счастливо женился, не жалел.

Он помогал жене стирать пеленки, собирал справки для получения квартиры, вечерами слушали по приемнику французскую музыку, он переводил слова, учил ее одеваться так, как носят в Париже, ей это нравилось поначалу, подкупало: «Я сразу увидела, что не такой, как все...»

Сыну было три года, а Димке двадцать шесть, когда родилась дочка, а квартиры все еще не было, снимали комнату. Теперь он прекрасно представлял, что попасть в Париж безмерно трудно, практически нереально, и в любом случае сначала требовалось добыть семье крышу над головой... родная же кровь...

В тридцать два он получил от фабрики квартиру. На радостях влезли в долги, купили всю мебель, а дети росли, одежда на них горела, Димка прихватывал сверхурочно, жена часто сидела дома на справке: корь, свинка, грипп, — жизнь текла, как заведено, чем дальше, тем быстрей.

Париж стал абстрактным, как математическая формула, но столь же неотменимым. Димка не пил, не болел в футбол, не играл в домино, не ездил на рыбалку, не копил на машину: он готовил себя к свиданию, которое когданибудь состоится. Тайком встречался с учительницей французского языка; жена чуяла, ревновала, хотя учительница была немолодая и некрасивая. Учительница радовалась родственной душе, она тоже никогда не была в Париже, а французскому ее научили в пединституте преподаватели, которые тоже никогда не были в Париже, по учебникам, авторы которых там тоже не были. Странный город.

Стать моряком загранплавания и сбежать в капстране? И поздно, и позорно, и семью не бросишь... слишком много з д е с ь.

Времена между тем шли, и кое-что менялось. В городе построили новую гостиницу, и в нее стали иногда приезжать иностранцы. К разочарованию Коренькова, построившего знакомства с администраторшей и швейцаром, французов не было: болгары, поляки, восточные немцы.

...И вот однажды, получив письмо от сына из армии, он вздохнул и подивился быстротечности времени, усмехнулся безнадежно себе в зеркало — полысевший с темени, поседевший с висков, погрузневший в талии... и понял с

леденящей ясностью, что все эти годы обманывал себя, что никогда ни в какой Париж он не поедет.

И стало — легче.

Словно обруч распался — освободил грудь: исчезли выматывающая надежда, томительная неопределенность. Он даже просиял. Сплюнул. «Нереально так нереально. И черт с ним, что за ерунда!»

Этой освобожденной легкой приподнятости хватило на два дня. На третий обнаружилась сосущая черная пустота в душе, где-то в районе солнечного сплетения.

Кореньков выпил, и ему полегчало.

Запил он по-черному, прогулял фабрику; на первый раз простили.

Жена поплакала, он покаялся, через неделю сорвался опять.

— Из меня будто хребет вынули, понимаешь? — объяснил он.

Справлял затянувшиеся поминки по мечте: постепенно исчезли книги, пластинки, проигрыватель, магнитофон и, наконец, приемник, — истаяла и лопнула нить, связывающая его с Парижем.

Но иногда ему снился голубой город, ажурные набережные в текучих огнях, быстрый картавый говор, и тогда он просыпался угрюм, черен, не шел на работу, цедил дрянное разведенное пиво у ларька и дожидался открытия винного.

Жена раньше прихвастывала перед соседками редкостным мужем, теперь бегала к ним же на кухни, они всплакивали о судьбине и костерили алкашей, и от того, что у других так же, и ничего, живут, становилось легче.

Давно уже он не перешивал купленные костюмы, не выбирался по выходным «на пленэр», не покупал у знакомой киоскерши «Юманите», — он вкалывал, безропотно отдавал жене зарплату, утаивая на выпивку, и покорно принимал ругань и причитания после позднего и нетрезвого возвращения домой.

Он плелся домой мимо гостиницы, когда в его сознание проникло что-то постороннее, мешающее: странное.

Он досадливо собрал хмельные мысли — и споткнулся, застыл в стойке, как голодный пес: донеслась французская речь! («Я волнуюсь, заслышав французскую речь», — вдруг завертелась в голове бешеная пластинка.) Трое мужчин и молодая дама вышли из «Волги», швейцар излучил радушие при входе, и, как горохом перебрасываясь быстрыми фразами, они проследовали внутрь!..

Неотвратимо, подобный ожившей статуе, Кореньков двинулся следом. Он будто со стороны отмечал, как совал деньги швейцару, администратору ресторана, официанту, как втиснулся за столик, что-то пил и чем-то закусывал, всем существом устремленный к тем четверым — они почти не пили, держались как-то по-особенному свободно, болтали, — и он почти все понимал: ужасные сроки согласования какого-то документа, длинные дороги, русские художники в Париже...

Они расплатились. Кореньков подошел, задевая стулья.

— Вы из Парижа? — отчаянно спросил он без предисловий.

Компания воззрилась, замолчав.

— О, вы говорите по-французски? — приятно улыбнулся один, носатый, без подбородка, похожий в профиль на доброго попугая.

— Иногда, — сказал Кореньков. — И что мне здесь с этого толку?

Французы рассмеялись вежливо.

— Мы не ожидали услышать здесь... — с нотками воспитанной отчужденности начала дама...

— Вы из Парижа? — повторил Кореньков, перебивая.

— Из Парижа, — подтвердил маленький, весь замшевый, шарик. И были они все чистенькие, промытые, не по-нашему небрежные. — А что, у вас особое отношение к этому городу?

— Ребята... — проговорил Кореньков, и голос его сел до сипа, шепота, мольбы. — Ребята, — проговорил он, — давайте выпьем. Вы не понимаете, что такое Париж.

Французы отреагировали весело. Возник администратор и стальной хваткой поволок Коренькова. «Т-те-бе чего, это иностранцы, вали, ну», — прошипел он.

Кореньков вцепился в скатерть:

— Господа, прикажите мерзавцу подать стул и прибор, меня заберут в милицию, помогите!

Неловко бросать почти знакомого в беде, — солидарность возникла: французы достойно загалдели, зажестикулировали.

— Этот человек — их гость, они его пригласили, — на чистейшем русском сказала дама; Кореньков сообразил — переводчица.

Официант неодобрительно обслужил.

Происшествие сблизило, наладился разговор, расспросы.

— У вас почти чистое парижское произношение!

Поаплодировали; чокнулись; изумлялись:

— И вы самостоятельно... Признайтесь: разыгрываете?

— Столько лет...

— Так почему вы давно туда не съездили?

— Вам бы наши заботы, — туманно ответил Кореньков; все-таки он был нетрезв.

Прекрасную сказку не могли омрачить мелочи: у входа его забрали дружинники, доставили в отделение, составили протокол о приставании к иностранцам, отправили в вытрезвитель; ха.

Утром он на удивление сиял среди измятых рож казенного дома, умолил не посылать бумагу на работу, оставил в залог часы и пропуск, схватил такси, занял денег, уплатил штраф и примчался к жене — устроил сплошной праздник: уборку, стирку, поцелуи, клятвы, песни и пляски. Его распирало, он летал, он парил над землей, в звоне серебряных колокольчиков.

Переводчица объяснила: теперь все реально. Есть «Интурист», есть ОВИР, турпутевки, поездки по приглашению; стоит это круто, но в пределах возможного.

Коренькова залихорадило. Он стал восстанавливать свою французскую библиотечку, слушать французскую музыку; и начал копить деньги.

Полюбил прогуливаться вблизи гостиницы, иногда посиживал в ресторане; еще дважды удалось свести знакомства — французы консультировали здесь строительство новой фабрики по их проекту. Последняя группа решительно отказалась признать его за русского, не нюхавшего Франции, и заподозрила, кажется, в провокации. А выказанное им доскональное знание Парижа просто поставило их в тупик.

— Вы могли бы работать гидом в Париже.

— Я попробую, — спокойно ответил Кореньков.

Зал за залом перечислял он коллекцию Лувра. Французы, переглянувшись, признались, что искусство — не их хобби.

— Видите ли, мсье, мы не посещаем Париж, мы в нем живем, а это совершенно разные вещи.

Ему обещали прислать приглашения, но пришло только одно. В соответствующем месте Коренькову разъяснили, что он практически незнаком с приглашающим, а годится лишь настоящее знакомство, длительное, с перепиской. Полтора года Кореньков переписывался с одним добрым шевалье, но приглашение почему-то не пришло...

А в другом месте ему после строгого внушения разъяснили, что такое его невыдержанное поведение может только навредить в случае оформления за границу: неясные контакты с иностранцами.

«Интурбюро» раскрыло, что путевки во Францию (поулыбались) приходят сравнительно редко, и распределяют их исключительно по профсоюзной линии.

Кореньков прикинул свой стаж, разряд, дисциплину. По собственному почину взял повышенные обязательства. После перевыборов сделался профоргом бригады. Он как бы пытался забить очередь, понимая проблематичность урвать столь лакомый кусок...

И однажды действительно пришла путевка во Францию, на двенадцать дней, стоимостью две тысячи сто рублей; но поехал замдиректора по коммерции — руководитель, с высшим образованием, ветеран...

Вышла замуж дочь, отложенные деньги ухнули на свадьбу: застолье, платье, первое обзаведение для молодых, — все нужно, как у людей, куда ж денешься.

Время летело, женился и сын, появились внуки, внукам хотелось делать подарки, жена все чаще прихварывала, рекомендовалось отправлять ее в санатории, и все требовало сил, времени, денег, денег, времени, сил...

А перед сном Кореньков закрывал глаза и думал о Париже — спокойно и даже счастливо. Так в старости вспоминают о первой любви: давно стихла боль, сгладились терзания, рассеялись слезы, и осталась лишь сладкая память о красоте, о потрясающем счастье, и вызываешь воспоминания вновь и вновь, они уже не мучат, как некогда, а дарят тихой отрадой, умилением, убежищем от тягостного быта, мирят с действительностью: было, все у меня было и останется навсегда. Он неторопливо шествовал с набережной д'Орсэ в зелень Булонского леса, помахивая тросточкой, молодой, хорошо одетый, бодрый и жадный до впечатлений, смеющийся, выпивал под полосатым тентом бистро стакан кислого красного вина, жмурился от дыма крепкой «Галуаз» и предвкушал, как кутнет у «Максима», разорится на отборную спаржу и дорогих плоских устриц, выжав на них половинку лимона и запивая белым, старого урожая вином, пахнущим дымком сожженных листьев и сентябрьскими заморозками. Он сроднился с утопией, достоверно казалось, что это на самом деле было, или наоборот — завтра же сбудется, и такое двойное существование было ему приятно.

А наутро к шести сорока пяти ехал на фабрику.

Ему было пятьдесят девять, и он собирал справки на пенсию, когда в профком пришли две путевки во Францию.

— Слышь, Корень, объявление в профкоме видел? — спросил в обед Виноградов, мастер из литейки.

— Нет. А чего? — Кореньков взял на поднос кефир и накрыл стакан булочкой.

— Два места в Париж! — сказал Виноградов и подмигнул.

Кореньков услышал, но как бы одновременно и не услышал, и стал смотреть на кассиршу, не понимая, чего она от него хочет. «Семьдесят шесть копеек!», — разобрал

он, наконец, и все равно не знал, при чем тут он и что теперь надо делать.

— Да ты что, дед, чокнулся сегодня! — закричала кассирша. — Давай свой рубль!

Кореньков послушно протянул рубль, от этого поднос, который теперь он держал только одной рукой, накренился, и весь обед с плеском загремел на пол, эти посторонние звуки ничего не значили.

— Ой, ну ты вообще! — закричала кассирша. — Переработал, что ли!

В конце перерыва Кореньков обнаружил себя на привычном месте в столовой, под фикусом, лицом ко входу, перед ним лежали вилка, ложка и чайная ложечка. Стрелка дошла до половины, он встал и спустился по лестнице в цех.

На скамейке у батареи, где грохотали доминошники, выкурил сигарету, заплевал окурок и как-то сразу оказался в профкоме.

Там скрыли смущение: страсть Коренькова слыла легендой, а права у него, строго говоря, имелись... Толкнув обитую дверь, он нарушил беседу председательницы с подругой-толстухой и вперился в нее вопросительно, требовательно и мрачно.

— Ко мне, Дмитрий Анатольевич? — осведомилась председательница певуче.

— Путевки пришли, — вопросительно-утвердительно сказал Кореньков.

— Какие путевки? В санаторий? — приветливо переспросила та.

— Во Францию, — тяжко рек Кореньков, выдвигаясь на боевые рубежи.

— Ах, во Францию, — любезно подхватила она. — Ну, еще ничего не пришло, обещали нам из Облсовпрофа одно место, может быть, два...

— Я первый на очереди, — страшным шепотом прошелестел он.

— Мы помним, обязательно учтем, кандидатуры будут разбираться... открытое обсуждение...

Дремавшее в нем опасение вскинулось зверем и вгрызлось Коренькову в печенки. Протаранив секретаршу директора, он пересек просторный затененный кабинет и упал в кресло напротив.

— Что такое? — директор не поднял глаз от бумаги, не выпустил телефонной трубки.

— Павел Корнеевич, — выдохнул Кореньков. — Тридцать шесть лет на фабрике. На одном месте. Верой и правдой (само выскочило)... Христом-богом прошу! Будьте справедливы...

— Квартиру?..

— Две путевки в Париж пришли. Тридцать шесть лет. Через полгода на пенсию... Верой и правдой... не подводил... всю жизнь... прошу — дайте мне.

Народ знает все. Ехать предназначалось главному инженеру и начальнику снабжения. Общественное мнение Коренькова поддержало:

— Давай, не отступайся! Имеешь право!

В глазах Коренькова появилось затравленное волчье мерцание. Сжигая мосты, он записался на прием в райкоме и Облсовпрофе. Фабричный юрисконсульт, девчонка не старше его дочери, посочувствовала, полистала справочники, посоветовала заручиться ходатайством коллектива. Распространился слух, что если Коренькову не дадут путевку, он повесится прямо в цехе и оставит письмо прокурору, кто его довел. Во взрывчатой атмосфере скандала Кореньков почернел, высох, спотыкался.

Жена заявилась и закатила истерику в профкоме:

— Как чуть что — так про рабочую сознательность! А как чуть что — так начальству! Я в ЦК напишу, в прокуратуру, в газету! будет на вас управа, новое дворянство!..

Делопроизводительница по юности лет не выдержала: шепнула срок заседания по распределению загранпутевок. Кореньков возник ровно за минуту до начала и прочно сел на стул. Лица у президиума изменились.

— А вы по какому вопросу, Дмитрий Анатольевич?

Кореньков заготовил гневную и аргументированную речь, исполненную достоинства, но встать не смог, голос

осекся, и он со стыдом и ужасом услышал тихий безутешный плач:

— Ребята... да имейте ж вы совесть... да хоть когда я куда ездил... хоть когда что просил... что же, отработал — и на пенсию, пошел вон, кляча... Ну пожалуйста, прошу вас... — И, не соображая, чем их умилостивить, что еще сделать, погибая в горе, сполз со стула и опустился на колени.

Теплая щекотная слеза стекла по морщине и сорвалась с губы на лакированую паркетную плашку.

Кто-то кудахтнул, вздохнул, кто-то поднял его, подал воды, потом он лежал на диване с нитроглицерином под языком, старый, несчастный, в спецухе, так некстати устроивший из праздника похороны.

Назревший нарыв лопнул: непереносимая ситуация требовала разрешения. Пожимая плечами и переглядываясь, демонстрировали друг другу свою человечность и великодушие: чтоб и волки сыты, и овцы целы. Все были в общем «за», помалкивали только двое «парижан»... В конце концов главному инженеру пообещали первую же лучшую путевку в капстрану, улестили, умаслили, и он, неплохой, в сущности, мужик, по нынешним меркам молодой еще, согласился — и сразу повеселел от собственного благородства и размаха.

— Вставай, Дмитрий Анатольевич, — дружелюбно хлопнул по плечу Коренькова. — Все в порядке, поедешь, не сомневайся.

...Ах, что за несравненные хлопоты — сборы за границу! Пять месяцев Кореньков собирал справки, выписки, характеристики, заверял их в инстанциях, заполнял многочисленные анкеты о сотне пунктов, сидел в очередях на собеседования и инструктажи. На медкомиссии у него от волнений подскочило давление, он слег от горя; жена достала через знакомую с базы десяток лимонов (снижают), с той же целью скормила ему с полведра варенья из черноплодной рябины, перед сном выводила на прогулку и велела думать только о приятном. Слава богу, давление нормализовалось: пропустили.

Идеологической комиссии он боялся не меньше. Конспектировал программу «Время», вырезал из «Правды» политические новости и сидел в фабричной библиотеке над подшивками «Коммуниста». Он среди ночи мог не задумываясь ответить, что главой государства Буркина-Фасо является с тысяча девятьсот восемьдесят третьего года Санкара, первым генеральным секретарем ООН был норвежец Т.Х. Ли, а фамилия председателя компартии Лесото — Матжи. Накануне подстригся, пошел при галстуке... Ответил на все вопросы!

Они продали облигации, снесли в комиссионку женин песцовый воротник, влезли в долги: деньги набрались.

Купили ему новый костюм, чешский, вполне приличный, жена сама, как когда-то, подогнала брюки; сорочка индийская, галстук польский, туфли румынские: европейская экипировка.

Покупки — список на четырех листах, многократно откорректированный и выверенный — изумительным фокусом укладывались в четыреста франков, выданных в обмен сорока рублей.

Пять месяцев минули. В последнюю ночь Кореньков не смог заснуть. Победное солнце Аустерлица возвестило прекрасный день начала пути. Помолодевший и легкий («Присели на дорожку. Поехали!») — он тронулся.

На вокзале их группу, уже хорошо знакомых между собой тридцать человек, во главе с руководителем, которого следовало слушаться беспрекословно, проверили, пересчитали, посадили в вагон и отправили в Москву. Перрон с машущими семьями уплыл...

Улетали из Шереметьева. В международном отделе по сравнению с общей толкучкой было свободно, прохладно. Таможенник, полнеющий парнишка с вороной подковкой усов, мельком сунул нос в кореньковскую сумку и продвинул ее по стойке: досмотр окончен.

В автобусе Кореньков оказался рядом с двумя француженками, элегантными грымзами с сиреневой сединой, покосился на руководителя и от разговора воздержался:

грымзы сетовали, что не выбрались на тысячелетие крещения Руси, церковные торжества.

Их «Ту-154» взлетел минут на пять позже расписания, как и принято, Кореньков завибрировал, считал минуты, он уже боялся всего: задержки, неисправности самолета, ошибки в оформлении документов, обнаруженной в последний момент; в полете боялся бездны внизу, боялся, что Париж вдруг закроется по метеоусловиям, или забастуют диспетчеры, или вдруг нарушатся дипломатические отношения, и вообще самый опасный момент — посадка... и лишь когда под колесами с мягкой протяжной дрожью понесся бетон и турбины шелестяще засвистели на реверсе, гася пробег, явилось спокойствие — странноватое, деревянное, пустое.

— Наш самолет совершил посадку в аэропорту Шарль де Голль...

В свою очередь Кореньков спустился по трапу, мгновение помедлив, прежде чем перенести ногу с нижней ступени на шероховато-ровное серое пространство — з е м л ю П а р и ж а.

Рубчатые резиновые ступени эскалатора вынесли их в красноватый от вечерних отблесков зал, наполненный ровным сдержанным эхом. Длинноволосый таможенник в каскетке пропустил их со скоростью автомата: пара небрежных движений в небогатом багаже каждого. Процедура проверки паспортов выглядела не тщательней контроля трамвайных билетов. Гид ждал у киосков с плакатиком в руке. Шагнул навстречу, точно выделив их из пестрой круговерти.

— Бонжур, мсье, — поздоровался Вадим Петрович, руководитель.

— С благополучным прибытием, — приветствовал гид с небольшим милым акцентом. — Хорошо долетели? Сейчас мы сядем в автобус и поедем в гостиницу.

Стеклянные двери разошлись. Протканный бензиновыми иголочками воздух, палевый, сгущающийся, напол-

нил легкие. Коренькову как-то символически захотелось сесть на асфальт, привалившись спиной к стене, вытянув ноги, и посидеть так, покурить, тихо глядя перед собой: предаться значительности момента... Но неудобно, да и некогда; ладно; а жаль...

Они пробрались через автостоянку к одному из ярких автобусов, Кореньков подсуетился — захватил место на первом сидении, у дымчатого просторного стекла.

— Давай в Париж, шеф! — велел сзади дурашливо-счастливый голос, и все чуть нервно и оживленно засмеялись.

И розоватый, кремовый, бежевый, притухающий в сумерках, ни с чем не сравнимый парижский пейзаж, неторопливо раскрываясь, покатился навстречу.

Гнутый лекалом профиль гида с микрофоном на фоне лобового стекла, за которым менялись виды, казался маркой города (Дени, брюнет, черноглаз, высок, тонок, студент-русист Сорбонны). Кореньков слушал вполуха известное наизусть, жадно отмечая детали: усатый ажан в пелерине, прохаживающийся вдоль витрин: целующаяся в машине перед светофором парочка; араб-зеленщик с лотком; дама в манто, выходящая из обтекаемого, зверовато-го «ситроена»!..

Они плавно свернули с бульвара Бертье на авеню Гюржо, встроились в поток на пляс Перьер, из тоннеля внизу выскочила громыхающая электричка, «На вокзал Сен-Лазар?» — спросил Кореньков утверждающе.

— Куда? — прервался Дени.

— На Сен-Лазар, — повторил он, тыча пальцем.

— О, — улыбнулся Дени, — вы не впервые в Париже.

Близились к сердцу Парижа. «Авеню Ниэль... Рю Пьер Демур... Де Терн... Мак-Магон...» В перспективе открылась Пляс Этуаль («Де Голль», поправил себя Кореньков), над каруселью красных автомобильных огоньков — угол Триумфальной арки, подсвеченный золотом барельеф под сиреневым, лиловым, бархатным небом.

Здесь пульс бьющей жизни отдавался тихим неблизким шумом, тихо светился подъезд скромной гостиницы

«Мак-Магон», тиха и неширока, белела лестница, тихо двигался лысый портье за темной деревянной стойкой. Руководитель Вадим Петрович руководил расселением, Коренькову достался в соседи работник горисполкома, веселый и хозяйственный Андрей Андреич, сразу перешедший на ты:

— Ты меня слушай, и отоваримся путем, и посмотрим что надо — я здесь второй раз. — Подмигнул.

Достали кипятильнички, печенье, консервы, — поужинали дома, безвалютно. Потом Вадим Петрович собрал всех на инструктаж, напомнил о дисциплине, бдительности, возможных провокациях.

Кореньков спустился в холл и купил у портье синеватую короткую пачку «Галуаз» — без фильтра, из темного крепкого табака типа «капораль», попахивающего вроде кубинских сигар. Угостил портье болгарской сигаретой, зная, что здесь это не принято, каждый курит свои; портье выразил благодарность, и Кореньков насладился разговором в полутемном холле с видами Парижа на стенах, в покойном кресле, легким приятным разговором о погоде, туристах, ценах в ресторанах, — он знал, что серьезные темы здесь не приняты, разговор должен быть легким. Но от рукопожатия на прощанье не удержался; ладонь у портье была сухая, не слабая, приятная.

В номере Андрей Андреич храпел жизнерадостно. Не зажигая света, Кореньков открыл привезенную бутылку, осторожно отодвинул штору, сел к окну и чокнулся со стеклом. С пятого этажа был виден узкий сектор освещенной площади, уголок Триумфальной арки, редкое ночное движение. «Повезло».

Лег не скоро, насытившийся ощущением того, что он — здесь, слегка опьянев, наблюдая легкое подрагивание треугольника света на потолке, искрящегося в крае люстры...

Автобус подавали в восемь. Завтракали в одном из дешевых ресторанчиков близ Монмартра: кофе, пуховые булочки, желтое масло, джем. Расплачивался Вадим Петрович. Вадим Петрович в первый же день выделил Корень-

кова, держал рядом: как бы из дружеского расположения угощал его Парижем лично, особо; и с уважением равного кивал подробностям о Париже, распиравшим Коренькова.

Скрывалась за цветными крышами высящаяся на холме белая стройная громада Сакрэ-Кёр, дневная программа начиналась, они дружно вертели головами, внимая Дени: Казино, галерея Лафайета, Гранд-Отель, Вандомская площадь: выходим, мадам и мсье. Он трогал рукой Вандомскую колонну! Взлетали голуби, щелкали фотоаппараты, шаркали толпы разноязыких туристов: небо сияло.

Эйфория звездного часа несла Коренькова. Любовно и торопливо он дополнял Дени: как Мопассан поносил Эйфелеву башню за изуродование вида Парижа; как триста викингов в VIII веке захватили Париж, именуемый тогда Лютецией, и не ушли до получения выкупа; как поляк Домбровский командовал войсками Парижской Коммуны.

— Мсье, по-моему, вы самый чистокровный парижанин в этом городе! — радовался Дени, поводя узкими плечиками в вельветовом пиджаке.

В Доме Инвалидов с Кореньковым сделалось головокружение. Мраморные ангелы с лицами античных воинов, несшие караул вокруг красного порфирного саркофага Наполеона, надвинулись на него; буквы «Ваграм. Маренго. Иена...» на черном подножии вспыхнули огненным колесом и ослепили. Он пришел в себя на тенистой ступеньке перед газоном, поддерживаемый внимательным Вадимом Петровичем.

Обед и ужин вкушали в том же ресторанчике, втекали вежливо-скованной чужеродной кучей, подчищали мандарины и листья салата с подносов с зеленью, до капли цедили сухое красное вино из двенадцатиунциевых графинов-колбочек, стоящих перед каждым прибором. Старались держать вилку в левой руке, а нож в правой; старались не глазеть в стороны; старались без шума отодвигать стулья. Кореньков жевал палочки мелкой спаржи, корочкой под-

бирал правильно соус и комплексовал, что не может дать на чай милой плоской официантке: хамство-с, то-то она и не улыбается.

В обмене впечатлениями проскальзывало греховным пунктиком: «Пляс Пигаль?..». Кореньков усмехнулся дилетантству, попросил гида вернуться в гостиницу через улицу Сен-Дени.

— Мсье? — тот вздернул тонкую бровь.

Вадим Петрович возразил хозяйски:

— Делать крюк? поздно уже, некогда. И в программу не входит.

— Какой же крюк, пятьсот метров направо...

Вадим Петрович глянул пристально — медленно кивнул.

Вывески Мулен-Руж струились в витринах розовым, малиновым, оранжевым, электрические лопасти мельницы вращались в темной вышине, электрический нагой силуэт вскидывал ножку в канкане. На Сен-Дени девицы были уже реальные, в шортах или мини-юбках и обтягивающих сапожках до бедер, в ажурном белье под распахивающимися шубками, всех цветов и мастей, чаще некрасивы, некоторые стары: похаживали парами и стайками, ждали у стен, опершись ножкой, курили, поигрывали сумочками.

— Вот эта карга обслужит вас по-французски прямо в автобусе франков за сорок, — забывшись, склонился Кореньков к сидящему рядом Вадиму Петровичу. — А чудокиска с вызовом на дом приедет на «ягуаре» и возьмет утром тыщонок до трех.

Вадим Петрович обернулся дико; Дени заржал, перешел на вздох:

— Увы, это наша социальная язва, позор Парижа...

За углом пассажиры перевели дух и заговорили сдержанно и фальшиво о постороннем; пара дам сокрушалась, их слушали с неприязнью; постепенно раскрепостясь, обсудили проблемы проституции и почему-то пришли в прекрасное настроение.

Перед сном Кореньков намылился под душем мыльцем из фирменного пакетика в ванной, пастой из такого

же пакетика почистил зубы, обувным кремом отполировал свои коричневые туфли. Андрей Андреич слегка рассердился:

— Их все на сувениры берут. Что у тебя, мыла нет? Ладно, забери из ванной, завтра новые положат. А чего водку открыл, пить сюда приехал? Ну чудила ты...

Свои две бутылки он загнал швейцару за сорок франков: «Все только так и делают».

Вообще основные интересы группы распределились между бульваром Рошешуар и пляс Републик, где обосновались знаменитые баснословной дешевизной универмаги Тати. Совали в бесплатные пакеты гонконгские кассеты, бразильские джинсы, сингапурские штампованные часы, кроссовки с Тайваня и куртки из Макао — Андрей Андреич купил южнокорейский магнитофон за сто девяносто франков: «колониальные товары», дешевая рабсила, демпинговые цены. Кореньков свои приобретения упрятывал в сумку: показываться с пакетом от Тати уж больно непрестижно, бедно; стыдновато. Налетали не раз на уличную дешевую распродажу, бесценок непредсказуемый: за пакистанские нормальные кроссовки он отдал пять франков, за джинсы — восемнадцать. Сэкономленные средства он перебросил в расходы на местный колорит: рюмка абсента, рюмка перно. (Чашка кофе — три франка, и это в обычном бистро...)

Абсент действительно горчил полынью; перно имело привкус лакрицы, Кореньков это знал, но он не знал, какой вкус у лакрицы, и приторной сладковатостью удовлетворился.

— Ну и скупердяи эти твои французы! — заявил Андрей Андреич.

— Они не скупердяи, они привыкли считать деньги, — доброжелательно разъяснил Кореньков. — Как все в Европе, кстати.

— Привыкли, это точно. Гид наш попросил у меня юбилейный рубль, так, думаешь, дал хоть что-нибудь взамен? И звонят они только из гостей, чтоб на автоматы не тратиться; мне говорили.

График времяпрепровождения был сугубо коллективный и отклонений не допускал: кладбище Пер-Лашез и стена Коммунаров — один час, музей Ленина на улице Мари-Роз — два часа, Лувр — три часа, Эйфелева башня — прощальный ужин накануне отъезда...

Безусловно и категорически не входили в намерения группы стриптиз и порнографические фильмы. Но подспудное брожение присутствовало. Кореньков за полтора франка купил номер «Пари суар», слюнявя пальцы (тончайшая бумага) переворошил отдел объявлений и отыскал «Декамерон-70» Феллини в недорогом кинотеатрике: классика мирового кино, вне политики, не придерешься. Депутация желающих отправилась к Вадиму Петровичу. Культпоход в кино состоялся.

Из зала выходили в некотором понятном обалдении, прочищая пересохшее горло. О девяти франках никто не жалел.

— Странно, что в группе не нашлось любителей оперы, — резюмировал руководитель. — Билет на балкон стоит всего сотню монет. Какие голоса!

Еще Коренькову удалось спровоцировать краткое посещение рынка, достославного Чрева Парижа (женщины загорелись! Вадим Петрович поцокал неодобрительно). Бескрайнее царство жратвы ломило красками, оглушало запахами, ананасы соседствовали с хреном, цесарки с акульими плавниками, устрицы с кокосами, жаровни дымились, чаны парили, монахини садились на мотороллеры, плыли и качались корзины! Букашки в грандиозном натюрморте, созданном фантазией гурмана, они, влекомые Кореньковым, как нитка за иголкой, достигли лукового супа: янтарный и благоухающий, в грубой фаянсовой миске, вроде и суп как суп, ан нет, вроде и как пища богов, галльских богов, лукавых и вечных, амброзия бессмертных, святое причастие. Дени тоже угостили.

...Ах, почему так быстро кончается все хорошее! Оттрещали в ветре трехцветные флаги Великой французской революции на готических шпилях Нотр-Дам, отшумели каштаны под башнями Консьержери, отсверкали в парке-

тах люстры Версаля. Укатился в прошлое франк, поданный Кореньковым клошару под мостом Де Берси.

Он не ощущал себя туристом, напротив: словно вернулся из неудачного отпуска домой, где прожит век. Вздыхал знакомым мелочам, жалел о ликвидации уличных писсуаров: не трогайте мою старую обитель.

Накануне отлета проснулся чуть свет, заварил чай в стакане, закурил у серого окна: к рыбному магазину подкатила цистерна, юный развозчик загрузил длиннейшими батонами из пекарни ящик мотороллера и унесся, расклейщик афиш огладил тумбу рекламой фильма с Жаклин Биссе.

И Кореньков понял, что никуда завтра не улетит.

Он это давно знал, но запрещал себе и думать. Преграда треснула, и мысль разрослась огромно, как баобаб. Дети самостоятельны, все имущество — жене, а он уже старик, сколько ему осталось... какая разница, как он будет здесь жить. Конечно, в Париже очень трудно найти постоянную работу, но он знал твердо, что с голоду тут давно никто не умирает, существует масса социальных и благотворительных служб... а он согласен на любую работу, хоть мусорщиком. Слать им посылки... попробовать когда-нибудь посетить Союз под чужой фамилией... ведь никаких эмигрантских газет, радиостанций, заявлений, упаси бог.

Эх, было б ему тридцать лет. Или сорок... Но уж хоть что осталось — то мое.

В подремывающем после завтрака автобусе он машинально ловил полушепот между Дени и шофером.

— Финиш, завтра этих провожаем, — сказал Дени.

— Старикан этот, ну дотошный, — цыкнул шофер.

— До чертиков надоел, — сказал Дени.

Кореньков померк от обиды, попытался погордиться своеобразным комплиментом; потом его что-то забеспокоило, сильнее, очень сильно — и окостенел:

о н и г о в о р и л и п о - р у с с к и!

Без малейшего акцента.

Он попытался уяснить происшествие и усомнился в себе.

— Долго еще ехать? — обратился по-русски с возможной естественностью, как будто забывшись.

Шофер не отреагировал. Дени обернулся.

— Туалет будет по дороге, — приветливо прокурлыкал он, сдерживая грассирование, и по-французски спросил у шофера, сколько им ехать, на что тот по-французски же ответил, что минут пятнадцать.

Померещилось?

Едва вышли, Кореньков поскользнулся и увидел под ногой апельсиновую корку на крышке канализационного люка. В мозгу у него лопнул воздушный шарик: нечеткие буквы гласили: «2-й Литейный з-д — Кемерово — 1968 г.».

— Что с вами, мсье? — позвал Дени. Приблизился, глянул:

— Потрясающе! — сказал он. — Может быть, в Париже есть какая-то русская металлическая артель, поставляющая муниципалитету крышки для канализации?

— А Кемерово? — спросил Кореньков, и тут же ощутил свой вопрос... нехорошим.

— А вы знаете, что в США есть четыре Москвы? — успокоил Вадим Петрович. — Эмигранты любят такие штучки. И во Франции, если поискать, найдется парочка Барнаулов!

— Близ Марселя есть деревня Севастополь, — привел Дени. — В честь старой войны.

— Ну вот видите.

Когда садились обратно в автобус, Кореньков обратил внимание, что рядом на пути не оказалось ни одного человека, хотя площадь казалась запруженной народом...

Дени дал указания шоферу, и напряженный кореньковский слух выявил легкое такое искажение дифтонгов!..

— Хорошо родиться и вырасти в Париже, — по-французски сказал ему Кореньков.

Дени ответил спокойным взглядом.

— Я родился в Марселе, — сказал он. — Только в восемнадцать поступил в Сорбонну. Так и остались в произношении кое-какие южные нюансы.

«Почему он сказал о произношении? Я ведь не спрашивал. Догадался сам? А почему он должен догадаться об этом?»

Жутковатым туманом сгущалось подозрение.

Приехали. Вышли. Кореньков расчетливо, методично сманеврировал к краю группы, выждал и быстро шагнул к спешащему по тротуару с деловым видом прохожему:

— Простите, мсье, как пройти к станции метро «Жавель»?

Прохожий запнулся, ткнул пальцем в сторону и наддал.

— Дмитрий Анатольевич, что же вы? — укорил Вадим Петрович: он стоял за спиной. — Какой-то вы сегодня странный. И вид больной. Ну ничего, завтра будем дома. Переутомились от обилия впечатлений, наверное? это бывает.

«Почему он промолчал? И — метро совсем не там!»

Они сгрудились у особняка, где окончил свои дни Мирабо. Кореньков оперся рукой о теплые камни цоколя, нагретые солнцем, и без всякой оформленной мысли поковырял ногтем. Камень неожиданно поддался, оказался не твердым, сколупнулась краска, и под ней обнаружилось что-то инородное, вроде прессованного картона... папье-маше.

Нервы Коренькова не выдержали. (Драпать... Драпать... Драпать!..)

Боком-боком, по сантиметру, двинулся он назад. Группа затопотала за Дени, Вадим Петрович отвлекся, Кореньков собрался в узел, улучил момент — и выстрелил собой за угол!

Бегом, быстрее, свернуть, налево, еще налево, направо, быстрее! Юркнул в подворотню и затаился, давя кадыком бухающее в глотке сердце.

Поднял глаза, ухнул утробно, осел на отнявшихся ногах.

Никакого дворца не было.

Высилась огромная декорация из неструганных досок, расперты серыми от непогод бревнами. Занавески висели на застекленных оконных проемах. Посреди двора криво торчала бетономешалка с застывшим в корыте раствором, и рядом валялась рваная пачка из-под «Беломора».

Поспешно и со звериной осторожностью Кореньков заскользил прочь, дальше, как можно дальше, задыхаясь рваным воздухом и оглядываясь.

Вот еще особняк, обогнуть угол, второй угол: ну?!

Внутри громоздкой фанерной конструкции, меж ржавых растяжек тросов, влип в лужу засохшей краски бидон с промятым боком.

Обратно. Дальше.

Вот люди сидят за столиками под полосатым тентом. Бесшумно подобрался он с тыла, отодвинул край занавески:

говорили по-русски, и не с какими-то там эмигрантскими интонациями, — родной, привычный, перевитый матерком говорок. А одеты абсолютно по-парижски!..

С бессмысленной целеустремленностью шагал он по проходам и «улицам», слыша русскую речь, и теперь ясно различал привычную озабоченность лиц, привычные польские и чехословацкие портфели, привычные финские и немецкие костюмы, привычные ввозимые моряками дешевые модели «Опеля» и «Форда».

Эйфелева башня никак не тянула на триста метров. Она была, пожалуй, не выше телевышки в их городке — метров сто сорок от силы. И на основании стальной ее лапы Кореньков увидел клеймо Запорожского сталепрокатного завода.

Он побрел прочь, прочь, прочь!.. И остановился, уткнувшись в преграду, уходившую вдаль налево и направо, насколько хватало глаз.

Это был гигантский театральный задник, натянутый на каркас крашеный холст.

Дома и улочки были изображены на холсте, черепичные крыши, кроны каштанов.

Он аккуратно открыл до отказа регулятор зажигалки и повел вдоль лживого пейзажа бесконечную волну плавно взлетающего белого пламени.

Не было никакого Парижа на свете.

Не было никогда и нет.

ИСПЫТАТЕЛИ СЧАСТЬЯ

— Шайка идиотов, — кратко охарактеризовал он нас. — Почему, почему я должен долдонить вам прописные истины? — Я смешался, казнясь вопросом.

Нет занятия более скучного, чем программировать счастье. Разве только вы сверлите дырки в макаронах. Лаборатория закисала; что правда, то правда.

Но начальничек новый нам пришелся вроде одеколона в жаркое: может, и неплохо, но по отдельности.

I

Немало пробитых табель-часами дней улетело в мусорную корзину с того утра, когда Павлик-шеф торжественно оповестил от дверей:

— Жаловались, что скучно. Н-ну, молодые таланты! угадайте, что будем программировать!..

С ленцой погадали:

— Психосовместимость акванавтов...

— Параметры влажности для острова Врангеля...

— Музыкальное образование соловья. — Это Митька Ельников, наш практикант-дипломник, юморок оттачивает. Самоутверждается.

— Любовь невероломную. — А это наша Люся ресницами опахнулась.

А Олаф отмежевался:

— Я не молодой талант... — Олафу год до пенсии, и он неукоснительно страхуется даже от собственного отражения.

Павлик-шеф погордился выдержкой и открыл:

— Счастье. — Негромко так, веско. И паузу дал. Прониклись чтоб. Осознали.

Вот так все в жизни и случается. Обычная неуютность начала рабочего дня, серенький октябрь, мокрые плащи на вешалке, — и входит в лабораторию «свой в стельку» Павлик-шеф, шмыгает носиком: будьте любезны. Счастье

программировать будем. Ясно? А что? Все сами делаем, и все не привыкнем, что есть только один способ делать дело: берем — и делаем.

Павлик же шеф принял капитанскую стойку и повелел:

— Пр-риступаем!..

Ну, приступили: загудели и повалили в курилку: переваривать новость. Для начальства это называется: начали осваивать тему.

Эка невидаль: счастье... Тьфу... Деньги институту девать некуда. Это вам не дискретность индивидуального времени при выходе из анабиоза на границе двух гравитационных полей.

Обхихикали средь кафеля и журчания струй ту пикантную деталь, что фамилия Павлик-шефа — Бессчастный.

Потом прикинули на зуб покусать: похмыкали, побубнили...

Вдруг уже и сигареты кончились, забегали стрелять у соседей; на пальцах прикидывать стали, к чему что. Соседи же зажужжали; и весь институт зажужжал, насмешливо и завистливо. Нас заело. Мы от небрежной скромности выше ростом выправились.

Стихло быстро: работа есть работа. Мало ли кто чем занимается. Вдосталь надержавшись за припухшие от перспектив головы, всласть обсосав очередное задание кто с родными, а кто с более или менее близкими, — и вправду приступили.

— Два года сулили... я обещал — за год, — известил Павлик-шеф.

Втолковали ему, что мы не маменькины бездельники, время боится пирамид и технического прогресса, дел-то на полгода плюс месяц на оформление, ибо к тридцати надо иметь утвержденные докторские.

Ельникова мы законопатили в библиотеку: не путайся под ногами.

Люся распахнула ресницы, посветила зеленым светом, — и все счастье в любви и близ оной препоручили ее компетенции.

А сами, навесив табличку «Не входить! Испытания!», сдвинули столы, вытряхнули сухую вербу из кувшина, работавшего пепельницей, и (голова к голове) принялись расчленять проблему на составные части и части эти делить сообразно симпатиям.

И было нам тогда на круг, братцы, двадцать четыре года; знаменитая вторая лаборатория, блестящий выводок вундеркиндов, отлетевший цвет университета. Одному Олафу стукнуло пятьдесят девять, и он исполнял роль реликта, уравновешивая средний возраст коллектива до такого, чтоб у комиссий глаза не выпучивались.

Прошел час, и другой, — никто ничего себе брать не хочет.

— Товарищи гении, — обиделся шеф, — я эту тему зубами выгрыз!

— А, удружил... — перекорежил шкиперскую бородку Лева Маркин. — Через полгода сдадим и забудем — и втягивайся в новое... Пусть бы старики из седьмой до пенсии на ней паразитировали...

— У стариков нервная система уже выплавлена... такой покой прокатают — плюй себе на солнышко да носы внукам промакивай...

— Ошипаетесь! — скрипнул Олаф. — Старики-то на излете учтут то, о чем вы и не подумаете по молодости...

Мы были храбры тогда: размашисто и прямо брались за главное, не тратя время и силы по мелочам. И поэтому, вернувшись из столовой (среда — хороший день: давали салат из огурцов и блинчики с вареньем), мы разыграли вычлененные задачи на спичках и постановили идти методом сложения плюсовых величин.

Митьку прогнали за мороженым, мы с Левой забаррикадировались справочниками, Игорь ссутулился над панелью и защелкал по клавиатуре своими граблями баскетболиста, а Олафу Павлик-шеф всучил контрольные таблицы («Ваш удел, старая гвардия... не то наши молокососы такого наплюсуют...»). Сам же Павлик-шеф умостился на подоконнике и замурлыкал «Мурку»; это он называл «посображать».

— Поехали!

Вот так мы поехали. Мы заложили нулевой цикл, и в основание его пустили здоровье («Менс сана ин корпоре сана», — одобрительно комментировал из-под вороха книг испекающийся до кондиции эрудита М. Ельников), и на него наслоили удовлетворение потребностей первого порядка. Затем выстроили куст духовных потребностей и свели на них сеть удовлетворения. Промотали спираль разнообразия. Ввели эмиссионную защиту. Прокачали ряды поправок и погрешностей.

Люся все эти дни читала «Иностранку», полировала ногти и изучала в окно вид на мокрые ленинградские крыши.

— У тебя с любовью все там, более или менее? — не выдержал Павлик-шеф.

Из индивидуального закутка за шкафом нам открылись два раскосых зеленых мерцания, и печально и насмешливо прозвенело:

— С любовью, мальчики, все чуть-чуть сложнее, чем с рациональным питанием и театральными премьерами...

И — чуть выше — на нас с сожалением и укоризной воззрились Лариса Рейснер, Марина Цветаева и Джейн Фонда: вот, мол, додумались... понимать же надо...

Павлик-шеф закрыл глаза, сдерживая порыв к уничтожению нерадивой программистки в обольстительном русалочьем обличье. Молодой отец двух детей Лева Маркин пожал плечами. Олаф скрипнул и вздохнул. Мы с Митькой Ельниковым переглянулись и хмыкнули. А Игорь с высоты своего баскетбольного роста изрек:

— Бред кошачий...

Мы встали над нашей «МГ-34», как налетчики над несгораемой кассой, и шнур тлел в динамитном патроне у каждого. Взгретая до синего каления и загнанная в угол нашей хитроумной и бессердечной казуистикой, разнесчастная машина к вечеру в муках сигнализировала, что да, ряд вариантов в принципе возможен почти без любви. Злой как черт

Павлик-шеф остался на ночь, и к утру выжал из бездушной техники, капитулировавшей под натиском челове-

ческого интеллекта, что ряд вариантов счастья без любви не только возможен, но даже и не совместим с ней...

И через две недели мы получили первый результат. Его можно было б счесть бешено обнадеживающим, если б это не было много больше... Мы переглянулись с гордостью и страхом: сияющие и лучезарные острова утопий превращались в материки, реализуясь во плоти и звеня в дальние века музыкой победы... Священное сияние явственно увенчало наши взмокшие головы...

— Надеюсь, — скептически скрипнул Олаф, — что несмотря на радужные прогнозы, пенсию я все же получу.

Его чуть не убили.

— Вопрос в следующем, — шмыгнул носиком Павлик-шеф. — Вопрос в следующем: может ли быть от этого вред.

Ельников возопил. Олаф крякнул. Люся рассмеялась, рассыпала колокольчики. Игорь постучал по лбу. Лева поцокал мечтательно.

И, успокоенный гарантиями коллектива, Павлик-шеф отправился на алый ковер директорского кабинета: ходатайствовать об эксперименте.

От нас потребовали аргументированное обоснование в пяти экземплярах и через неделю разрешили дать объявление.

II

— Что лучше: несчастный, сознающий себя счастливым, или счастливый, сознающий себя несчастным?..

— А ты поди различи их...

Вслед за Павлик-шефом мы вышли на крыльцо как пророки. Толпа вспотела и замерла. В стеклянном солнце звенела последняя желтизна топольков.

— Представляешь все-таки: прочесть такое объявление... — покрутил головой Игорь. — Тут всю жизнь пересмотришь, усомнишься...

— Настоящий человек не усомнится... хотя, как знать...

— А мне, — прошептала Люся, — больше жаль тех, которые на вид счастливы... гордость...

Мы устремились меж подавшихся людей веером, как торпедный залп. Респектабельный и осанистый муж... чахлая носатая девица... резколицый парень с пустым рукавом... кто?.. рыхлая, заплаканная старуха... костыли... золотые серьги... черные очки... Лица менялись в приближении, словно таяли маски. Обращенные глаза всех цветов и разрезов кружились в калейдоскопе, и на дне каждых залегло и виляло хвостом робкое собачье выражение. Слабостная дурнота овладела мной; верят?.. последняя возможность?.. притворяются?.. урвать хотят?.. имеют право?..

Н е у ж е л и   м ы   с м о ж е м?

Пророк и маг ужаснулся своего шарлатанства. Лик истины открылся как приговор. Асфальт превратился в наждак, и ослабшие ноги не шли. Неистовство и печаль чужих надежд разрушали однозначность моего намерения.

— Вам плохо, доктор?..

...На первом этаже я заперся в туалете, курил, сморкался, плакал и шептал разные вещи... У лестницы упал и расшиб локоть — искры брызнули; странным образом удар улучшил мое настроение и немного успокоил.

В лаборатории мы мрачно уставились по сторонам и погнали Ельникова в гастроном.

Люся появилась лишь назавтра и весь день не смотрела на нас.

Подопытного привел презирающий нас старик Олаф. «Дошло, з а   ч т о   м ы   в з я л и с ь?» — проскрипел он.

III

Это был хромой мальчик с заячьей губой и явными признаками слабоумия. Сей букет изъянов издевательски венчался горделивым именем Эльконд.

Лет Эльконду от роду было семнадцать. «Ему жить, — пояснил Олаф свой выбор. — Счастливым желательно быть с молодости...»

Мы подавили вздохи. Сентиментальность испарилась из наших молодых и здоровых душ. Это вам не рыдающая

хрустальными слезами красавица на экране, не оформленное изящной эстетикой художественное горе: горе земное, жизненное — круто и грубо, с запашком не амбрэ. Наши эгоистичные гены бунтовали против такого родства, и оставалось только сознание.

Мальчик затравленно озирался, ковыряя обивку стула. Однако он знал, за чем пришел. Тряся от возбуждения головой и пуская слюни, проталкивая обкусанные слова через ужасные свои губы, он выговорил, что если мы сделаем его счастливым... обмер, растерялся, и наконец прошептал, что назовет своих детей нашими именами.

Олаф положил передо мной карточку. Он не мог иметь детей...

Каждый из нас ощутил себя значительнее Фауста, приступившего к созданию гомункулуса. Мы должны были выправить самое природу, по достоинству создав человека из попранного его подобия.

...Сначала мы сдали его в Институт экспериментальной медицины, и они вернули нам готовый продукт в образцово-показательном состоянии. Это оказалось проще всего.

Теперь имя Эльконд по чести принадлежало юному графу. Веселый ореол здоровья играл над ним. Павлик-шеф улыбнулся; Люся подмигнула ведьминским глазом; Олаф скрипнул о лафе молодежи...

Графа препроводили в Институт экспериментального обучения, и педагоги поднатужились: мы вчистую утеряли умственное превосходство над блестящей помесью физика с лириком.

Прямо в вестибюле помесь нахамила вахтеру, тут же была развернута на сто восемьдесят и загнана на дошлифовку в Институт экспериментального воспитания, открывшийся недавно и очень кстати.

И тогда мы прокрутили на него всю нашу программу и отпустили, любуясь совершенным творением рук своих, как создатель на шестой день. А Митьку Ельникова прогнали за шампанским и цветами.

И выпустили его в жизнь.

И он влетел в жизнь, как пуля в десятку, как мяч в ворота, как ракета в звездное пространство, разогнанная стартовыми ускорителями до космической скорости счастья.

Романтика и практицизм, жизненная широта и расчет сочетались в нем непостижимо. Он завербовался на стройку в Сибирь, а пока комплектовался отряд, сдал экзамены на заочные биофака и исторического. Купил флейту и самоучитель итальянского, чтоб понимать либретто опер; заодно увлекся Данте. Занялся каратэ. Помахав ему с перрона Ярославского вокзала, мы пошли избавляться от комплекса неполноценности.

...На контрольной явке на него было больно смотреть. Печать былых увечий чернела сквозь безукоризненный облик. Эльконд влюбился в замужнюю женщину — исключительно неудачно для всех троих.

— С жиру бесится, — пригорюнился Олаф, крестный отец.

А эрудит Ельников процитировал:

— «Человек, который поставит себе за правило делать то, что хочется, недолго будет хотеть то, что делает...»

Павлик-шеф сопел, коля нас свирепыми взглядами.

— Несчастная любовь — тоже счастье, — виновато сообщила Люся.

— Вам бы такое, — соболезнующе сказал Эльконд.

Люся чуть побледнела и стала пудриться.

— «Любовь — случайность в жизни, но ее удостаиваются лишь высокие души», — утешил Митька.

А Павлик-шеф схватил непутевого быка за рога: чего ты хочешь?

Увы: наше дитя хотело разрушить счастливую дотоле семью...

— «Не философы, а ловкие обманщики утверждают, что человек счастлив, когда может жить сообразно со своими желаниями: это ложно! — закричал Ельников. — Преступные желания — верх несчастья! Менее прискорбно не получить того, чего желаешь, чем достичь того, что преступно желать!!»

Однако обнаружились мысли о самоубийстве...

— Да пойми, ты счастлив, осел! — рубанул Игорь. — Вспомни все!

— Нет, ты хоть понимаешь, что счастлив? — требовательно спросил Лева, выдирая торчащую от переживаний бороду.

— Что есть счастье? — глумливо отвечал неблагодарный дилетант.

— «Счастье есть удовольствие без раскаяния!» — вопил Ельников, роняя из карманов свои рукописные цитатники. — «Счастье в непрерывном познании неизвестного! и смысл жизни в том же!» «Самый счастливый человек — тот, кто дает счастье наибольшему числу людей!»

— Вряд ли раб из Утопии, обеспечивающий счастье других, счастлив сам, — учтиво и здраво возразил Элькond.

— «Нет счастья выше, чем самопожертвование», — воздел руки Ельников жестом негодующего попа.

— Это если ты сам собой жертвуешь. Чаще-то тебя приносят в жертву, не особо спрашивая твоего согласия, а?

Ельников выдергивал закладки из книг, как шнуры из петард, и они хлопали эффектно и впустую: перед нами стоял явно несчастливый человек...

IV

«Милый мой, хороший! Долго ли еще я буду не видеть тебя неделями, а вместо этого писать на проклятое «до востребования»... Я уже совсем устала...

Павлик-шеф выхлопотал мне выговор за срыв сроков работы всей лаборатории. А требуется от меня ни больше ни меньше подготовить данные: как быть счастливым в любви...

А ведь легче и вернее всего быть счастливым в браке по расчету. Со сватовством, как в добрые прадедовские времена. Тогда все чувства, что держала под замком, все полнее направляются на избранника, словно вынимают заслонки из водохранилища, и набирающая силу река размывает ложе... Кто-то умный и добрый (как ты сама, пока

не влюбилась) позаботится о выборе, и тогда тебе: — предвкушение — доверие — желание — близость, а уже после — узнавание — любовь. Наилучшая последовательность для заурядных душ. А я — человек совершенно заурядный.

А внешность и прочее — так относительно, правда? Лишь бы ничего отталкивающего. Я понимаю, как можно любить урода: уродство его тем дороже, что отличает единственного от всех...

Глупая?.. Знаю... Когда созреет необходимость любить — кто подвернется, с тем век и горюем. Но только — прислушайся к себе внимательно, родной, будь честен, не стыдись, — на самом первом этапе человек сознательным, волевым усилием позволяет или не позволяет себе любить. Сначала — мимолетнейшее действие — он оценит и сверит со своим идеалом. Прикинет. Это как вагон вдруг лишить инерции — тогда можно легким толчком придать ему ход, а можно подложить щепочку под колесо. Вот когда он разгонится — все, поздно.

Ах, предки были умнее нас. Когда у девушки заблестят глаза и начнутся бессонницы — надо выдавать ее замуж за подходящего парня. И с вами аналогично, мой непутевый повелитель...

И пусть сильным душам противопоказан покой в браке, необходимы страсти, активные действия... они будут ногтями рыть любимому подкоп из темницы, но неспособны к мирной идиллии... ведь таких меньшинство. Да и им иногда хочется покоя — по контрасту...

Господи, как бы я хотела хоть немножко покоя с тобой...

Твоя дура — Люська...»

V

И навалились мы всем гамузом на любовь.

Нельзя, твердили, ее просчитать... Отчего так уж вовсе и нельзя? Примитивные женолюбы всех веков, малограмотные соблазнители, прекрасно владели арсеналом: заронить жалость, уколоть самолюбие, подать надежду и отка-

зать; восхитить храбростью и красотой, притянуть своей силой, поразить исключительностью, закружить весельем, убить благородством; привязать наслаждением и страхом...

Лишенная прерогатив Люся вошла в разработку на общих основаниях. И коллективом мы споро раскрутили универсальный вариант счастливой любви, — на основании предшествующего мирового, а также личного опыта; при помощи справочников, таблиц, выкладок и замечательной универсальной машины «МГ-34».

Мы учли все. На фундаменте инстинкта продолжения рода мы возвели невиданный дворец из физической симпатии и духовного созвучия, уважения и благодарности, радужного соцветия нежных чувств и совместимости на уровне биополей; спаяли швы удовлетворением самолюбия и тщеславия, пронизали стяжками наслаждения и страсти, свинтили консоли покоя и расписали орнаменты разнообразия, инкрустировав радостью узнавания, стыдливостью и откровенностью.

Мы были молоды, и не умели работать не отлично. Нам требовалось совершенство. И мы получили его — как получаешь в молодости все, если только тебе это не кажется...

И когда в четырехтомной инструкции по подготовке данных была поставлена последняя точка, Казанова выглядел перед нами коммивояжером, а Дон Жуан — трудновоспитуемым подростком. Мы были крупнейшими в мире специалистами по любви. По рангу нам причиталось витать в облаках из роз и грез, не касаясь тротуаров подошвами недорогих туфель, купленных на зарплату младших научных сотрудников.

Институт вслух ржал и тайно бегал к нам за советами.

А мартовское солнце копило чистый жар, небесная акварель сияла в глазах, ватаги пионеров выстреливались из дверей с абордажными воплями, спекулянты драли рубли за мимозки, и коварные скамейки раскрашивали под зебр те самые парочки, уют которым предоставляли.

Но если раньше осень пахла мне грядущей весной, — теперь весна пахла осенью... На беспечных лицах ясно читались будущие морщины. И имя «Эльконд» вонзилось в совесть серебряной иглой.

Наверное, мы сделались мудрее и печальнее за эти полгода. Усталая гордость легла в нас тяжело и весомо. Хмуроваты и серы от зимних бдений, мы были готовы дать этим людям то, о чем они всегда мечтали. Счастье и любовь — каждому.

VI

Избегая огласки, мы обратились в Центральное статистическое бюро и прогнали двести тысяч карточек.

— А как меня на работе отпустят? — тревожилась Мафонова Алла Семеновна, 34 года, русская, не замужем, бухгалтер «Ленгаза», образование среднее... воробушек серый и затурканный...

— Оплатят сто процентов, как по больничному, — успокаивал я.

— Я больна? — пугалась Алла Семеновна, и на поблекшем личике дрожало подозрение, что институт-то наш — вроде онкологического.

— Вы здоровы, — ангельски сдерживался Павликшеф. — Но... — и в десятый раз внушал, что летнего отпуска она не лишится, стаж, права, положение, имущество сохранит, — а вдобавок...

— Ах, — чахло улыбнулась Алла Семеновна, уразумев, наконец. — Не для меня это все... Я ведь неудачница; уже и свыклась, что ж теперь... — рученькой махнула...

Уж эти мне сиротские улыбки ютящихся за оградой карнавала...

К Маю Алла Семеновна произвела легкий гром в родимой бухгалтерии. Зажигая конфорку, я глотал смешок над потрясенным «Ленгазом».

Возник кандидат непонятных наук со старенькой мамой (мечтавшей стать бабушкой) и новыми «Жигулями». Мил, тих, спортивен, в присутствии суженой он впадал в трепет. Грушевый зал «Метрополя» исполнился скромного и достойного духа счастливой свадьбы неюной четы. Неве-

ста выглядела на ослепительные двадцать пять. Сослуживицы, сладко поздравляя, интересовались ее косметикой.

Развалившись вдоль резной панели, мы наслаждались триумфом, как взвод посажёных отцов. Олаф сказал речь. В рюмках забулькало. Закричали «горько!». Запахло вольницей. Нетанцующий Лев Маркин выбрыкивал «русскую» с ножом в зубах, забытым после лезгинки. Игорь «разводил клей» с джинсовой шатенкой: две модные каланчи...

В понедельник все опоздали, Игорь предъявил помаду на галстуке и тени у глаз и затребовал отгул. Нет — три отгула! И все захотели по три отгула. И попросили. По пять. И нам дали. По два.

Отоспавшись и одурев от весенней свежести, кино, газет и телика, я заскучал и сел на телефон. Люся нежно звенькнула и бросила трубку. У паникующего Левы Маркина обед убегал из кастрюль, белье из стиральной машины, а жена — из дому: сдавать зачет. Мама Павлик-шефа строго проинформировала, что сын пишет статью. Олаф отпустил дочку с мужем в театр и теперь спасал посуду и мебель от внучки.

А ночью я проснулся от мысли, что хорошо бы, чтоб под боком посапывала жена — та самая, которой у меня нет. Черт его знает, куда это я распихал всех, кто хотел выйти за меня замуж...

Нет; древние были правы, когда начинающий серьезное предприятие мужчина удалялся от женщин. Не один Пушкин, «влюбляясь, был слеп и туп». Сублимация, тралили... Негасящийся очаг возбуждения переключается на соседние, восприимчивость нервной системы обостряется, работоспособность увеличивается... азбука...

Но счастье, прах его... Уж так эти молодожены балдели... Собственно, был ли я-то счастлив. Неужто сапожник без сапог...

Разбудоражившись, я расхаживал, куря и корча зеркалу мужественные рожи, пока не зажгли потолок косые солнечные квадраты.

...На контрольной явке Алла Семеновна, светясь и щебеча, шушукалась с Люсей в ее закутке и рвалась извлечь из замшевой торбы «Реми Мартен». Но перед билетами на

гастроли Таганки мы не устояли: нема дурных. Хотя без Высоцкого — не та уже Таганка...

Митька выразил опаску: потребительницу напрограммировали; однако «Ленгаз» восторгался: и всем-то она помогает, и подменяет, и исполняет, и вообще спасибо ученым, побольше бы таких.

Выдерживая срок, мы перешли к разработке поточной методики.

Новое несчастье свалилось на наши головы досрочно. При очередной явке в щебете счастливицы прозвучали фальшивые ноты; а шушуканья с Люсей она уклонилась.

Резонируя общей нервической дрожи, Олаф ухажерски принял Аллу Семеновну под локоток и увлек выгуливать в мороженицу. И взамен порции ассорти и двухсот граммов шампанского полусладкого получил куда менее съедобное сакраментальное признание. В его передаче слова экснеудачницы звучали так: «Что-то как-то э-ммн...».

Я аж кипятком плюнул. Павлик-шеф взъярился. Люся пожала плечиками. Игорь припечатал непечатным словом. Измученный домашним хозяйством Леня Маркин (жена сдавала сессию) зло предложил «вернуть означенную лошадь в первобытное состояние».

— Чефо ше ты, душа моя, хочешь? — со стариковской грубоватостью врубил Олаф в лоб.

— Не знаю, — поникла Алла Семеновна, 34 года, трехкомнатная квартира, машина, муж-кандидат, старший уже бухгалтер «Ленгаза» и первая оной организации красавица. — Все хорошо... а иногда лежишь ночью, и тоска: неужели это все, за чем на свет родилась.

Хотел я спросить ядовито, разве не родилась она для счастья, как птица для полета... да глаза у нее на мокром месте поплыли...

VII

— Когда все хорошо — тоже не очень хорошо...

— Кондитер хочет соленого огурца... Сладкое приторно...

— В развитии явление перерастает в свою противоположность — это вам на уроках обществоведения не зада-

вали учить, зубрилы-медалисты? — и Олаф постучал в переносицу прокуренным пальцем.

— Система минусов, — хищно предвкусил Павлик-шеф, вонзая окурок в переполненный вербно-совещательный кувшин. — Минусов, которые, как якоря, удерживают основную величину, чтоб она не перекинулась со временем за грань, сама превратившись в здоровенный минус.

— Хилым и от счастья нужен отдых? — поиграл Игорь крутыми плечами, не глядя на Люсю.

— «Мужчина долго находится под впечатлением, которое он произвел на женщину», — шепнул Митька, воротя нос от его кулака.

Игорю указали, как он изнемог от женских телефонных голосов...

— Перца им, растяпам! — сказал я. — Под хвост! Для бодрости!

— Заелись! Горчицы!

— Соли!

— Хрена в маринаде!

— Дуста! — мрачно завершил перечень разносолов Павлик-шеф.

Ельников, по молодости излишне любивший сладкое, осведомился:

— А как будем считать пропорции? По каким таблицам?

И попал пальцем не в небо, и не в бровь, и даже не в глаз, а прямо в больное место. Откуда ж взяться таким таблицам-то...

Расчет ужасал трудоемкостью, как постройка пирамиды. На нашей «МГ-34» от перегрева краска заворачивалась красивыми корочками...

— Не ляпнуть бы ложку дегтя в бочку меда...

И выяснились вещи удивительные. Что прыщик на носу красавицы делает ее несчастной — хотя дурнушка может быть счастлива с полным комплектом прыщей. Что отсутствие фамилии среди премированных способно отравить счастье от труда целой жизни. Что один владелец дворца несчастлив потому, что у соседа дворец не хуже! —

а другой счастлив, отдав дворец детскому саду, и в шалаше обретает сплошной рай, причем даже без милой.

Н-да; у всякого свое горе: кому суп жидок, кому жемчуг мелок.

Тупея, мы поминали древние анекдоты: что такое «кайф», о доброй и дурной вести, о несчастном, постепенно втащившем в хибару свою живность и, выгнав разом, почувствовавшем себя счастливым...

Один минус мог свести на нет все плюсы, в то время как сто минусов каким-то непросчитываемым образом нейтрализовывали один другой и практически не меняли картину пресыщения...

Мы тонули в относительности задачи, не находя точку привязки...

VIII

Мы раскопали безропотного лаборанта словарного кабинета, упоенно забаррикадировавшегося от действительности приключенческой литературой, и сделали из него классного зверобоя на Командорских островах. Лаборант-зверобой забрасывал нас геройскими фотографиями, которые годились иллюстрировать Майн-Рида, а потом затосковал о тихом домашнем очаге.

Хочешь — имеешь: получай очаг. Думаете, он успокоился? Сейчас. Захотел обратно на Командоры, а через месяц вернулся к упомянутому очагу и попытался запить, красочно повествуя соседям о тоске дальних странствий и клянча трешки. Паршивец, тебе же все дали! Ну, от запоя-то его мигом излечили...

— Лесоруб канадский! — ругался Игорь. — В лесу — о бабах, с бабами — о лесе!..

Пробовали и обратный вариант: нашли неустроенного, немолодого уже мужика, всю жизнь пахавшего сезонником по Северам и Востокам, с геологами и строителями, и поселили в Ленинграде, со всеми делами. Через полгода у него обнаружился туберкулез, и он слал нам открытки из крымского санатория...

IX

— Великий человек — это тот, кто нанес значительные изменения на лицо мира, — изрек Митька и в третий раз набухал сахару, поганец, вместо того чтоб один раз размешать. — Тот, чья судьба пришлась на острие истории.

Мы гоняли чаи ночью у меня на кухне.

— Независимо от того, хороши они или плохи? — хмыкнул я.

— Независимо, — поелозил Митька на табуреточке. — Главное — велики. Хороши, дурны, — это относительно: точки зрения со временем меняются, а великие личности остаются!

— Хм?..

— Если считать создание и уничтожение города равновеликими действиями с противоположным знаком, то ведь сжечь сто городов легче, чем построить один. На этом стоит слава завоевателей.

Смотри. Наполеон: полтора века притча во языцех. Результат: смерть, огонь, выкошенное поколение, заторможенная культура, европейская реакция... ну, известно.

Отчего же ветеран молится на портрет императора и плачет, вспоминая былые битвы — когда одни парни резали других неизвестно во имя чего, вместо того чтоб любить девчонок, рожать детей, разминать в пальцах ком весенней пашни, понял, — он разволновался, стал заикаться, возвысил штиль, — вместо того, чтоб плясать и пить на майских лужайках, беречь старость родителей... эх...

— Вера в свою миссию, — я сполоснул пепельницу, прикурил от горелки. — Величие Франции, мораль, иллюзии, пропаганда.

— Величие империи стоит на костях и нищете подданных! — закричал Митька, и снизу забарабанили по трубе отопления: час ночи. — Знаме-ена, побе-еды... Чувствуй: ноги твои сбиты в кровь, плечи растерты ремнями выкладки, глотка — пыль и перхоть, и вместо завтрашнего обеда имеешь шанс на штык в брюхо, и мечты твои — солдатские: поспать-пожрать, выпить, бабу, и домой бы. «Миссия...»

— А сунь его домой — и слезы: «Былые походы, простреленный флаг, и сам я — отважный и юный...»

— Дальше. Великий завоеватель не может стабилизировать империю: империя по природе своей существует только в динамическом равновесии центробежных и центростремительных сил. Преобладание центростремительных — завоевания, со временем же и с расширением объема начинают преобладать центробежные: развал. Один из законов империи — взаимное натравливание народов: ослабляя и отвлекая их, это одновременно создает сдерживающие силы сцепления, но готовит подрыв целостности и развал в будущем! Почему Наполеон, умен и образован, с восемьсот девятого года ощущавший обреченность затеи, не ограничился сильной Францией и выгодным миром?

— Преобладание центростремительных сил, — сказал я. — Завоеватель, мечтающий о спокойствии империи, неизбежно ввязывается в бесконечную цепь превентивных войн: любой неслабый сосед рассматривается как потенциальный враг. А с расширением границ увеличивается число соседей. В идеале любая империя испытывает два противоположных стремления: сделаться единой мировой державой и рассыпаться на куски. При чем тут счастье, Митька?

— При слезах ветеранов этих братоубийственных походов.

— Насыщенность жизни, сила ощущений... тоска по молодости... что пройдет, то будет мило... Вообще хорошо там, где нас нет...

— Вот так америки и открывали, где нас не было! — взъярился Митька, и снизу снова забарабанили. — Чего ржешь, обалдуй! Если люди, вспоминая, тоскуют, — есть тут рациональное зерно, стоит копнуть на предмет счастья!

— Вот спасибо, — удивился я. — Ни боев, ни смертей, ни походов нам, знаешь, нэ трэба. Не те времена. И не ори!

— А какие сейчас, по-твоему, времена?

— Время разобраться со счастьем. Потому что некуда откладывать.

— Всю историю, фактически, с ним ведь только и разбирались!

— Да не ори ты! Много с чем разбирались. И разобрались. Человек мечтал о ковре-самолете — и получил. Мечтал о звездах — и получил. Равенство. Радио. Мечтал о счастье — и время получить.

— В погоне за счастьем человек всегда совершает круг. Обычно это круг длиною в жизнь, — сказал Митька грустно.

Но тогда я его не понял.

X

Чем менее счастлив человек, тем больше он знает о счастье. Мы знали о счастье все. А система наша разваливалась, фактически не родившись, а только так, будучи объявленной.

Вечером я заперся в лаборатории и стал выкраивать из системы монопрограмму. Мне требовалось счастье в работе. Да; так. Перейдя в иное качество, мы откроем для себя то, чего не видим сейчас.

По склейкам и накладкам обнаружилось, что не я первый. Я не удивился; я выругал себя за медлительность и трусость...

...Уплыл по Неве ладожский лед; сдавали экзамены, загорали на Петропавловке, уезжали на целину; отцвели сиренью на Васильевском, отзвенели гитарами белые ночи. Растаяло изумление: ничто, абсолютно ничто во мне после накладки программы не изменилось. Лишь боязнь покраснеть под долгим взглядом: мы не могли сознаться друг другу в нашем контрабандном и несуществующем счастье, как в некоем тайном пороке.

Нас прогнали в отпуск (всех — в августе!) и выдали к нему по пять дополнительных дней; но это был не отпуск, а какая-то испытательская командировка. Я лично провел

его в библиотеках и поликлиниках: кончилось переутомлением и диагнозом «гастрит», гадость мелкая неприличная. И теперь, презирая свое отражение в зеркале шкафа, я вместо утренней сигареты пил кефир.

— Счастье труда, — остервенело сказал Лева Маркин, — это чувство, которое испытывает поэт, глядя, как рабочие строят плотину! — В бороде его, как предательский уголок белого флага, вспыхнула элегантная седая прядь.

Люся, вернувшаяся в сентябре похудевшая и незагорелая, с расширенными глазами, даже не улыбнулась. Зато Игорь, после спортивного лагеря какой-то тупой и нацепивший значок мастера спорта, гоготал до икоты.

Более прочих преуспел Митька Ельников: он не написал диплом, был с позором отчислен с пятого курса, оказался на военкоматовской комиссии слеп как кувалда, устроился к нам на полставки лаборантом (больше места не дали), вздел очки в тонкой «разночинской» оправе — сквозь кои нам же теперь и соболезновал, как интеллектуальным уродам, не читавшим Лао Цзы и Секста Эмпирика.

А вот Олаф — молодел: утянул брюшко в серый стильный костюм, запустил седые полубачки, завел перстень и ни гу-гу про пенсию.

В октябре сравнялся год наших мук, и мы не выдали программу. Нам отмерили еще год — на удивление легко. «Предостерегали вас умные люди — не зарывайтесь, — попенял директор Павлик-шефу. — Теперь планы корректировать... А на попятный нельзя — не впустую же все... Да и — не позволят уже нам... Ну, смотрите; снова весь сектор без премии оставите». Павлик-шеф произнес безумные клятвы и вернулся к нам от злости вовсе тонок и заострен как спица.

И поняли мы, что тема — гробовая. Пустышка. Подкидыш. И ждут от нас только, чтоб в процессе поиска выдали, как водится, нестандартные решения по смежным или вовсе неожиданным проблемам.

С настроением на нуле, мы валяли ваньку: кофе, журналы, шахматы... к первым числам лепя тусклые отчеты о якобы деятельности.

И когда вконец забуксовали и зацвели плесенью, Люся вдруг засветилась неземным сиянием и пригласила всех на свадьбу.

Но никакой свадьбы не состоялось. За два дня до назначенного сочетания Люся ушла на больничный, и появилась уже погасшая, чужая.

И понеслось. Развал.

— Ребята, — жалко улыбался Игорь на своей отвальной, — такое дело... сборная — это ведь сборная... зимой в Испанию... «Реал»... судьба ведь... — и нерешительно двигал поднятым стаканом.

— Спортсмен, — выплеснули ему презрение. — Лавры и мавры... изящная жизнь и громкая слава...

— Что слава, — потел и тосковал Игорь. — Сборы, лагеря, режим, две тренировки в день... себе не принадлежишь... А как тридцать — начинай жизнь сначала, рядовым инженером, переростком. Судьба!..

— Не хнычь, — сказал я. — Хоть людей за зарплату развлекать будешь. А что мы тут штаны за зарплату просиживаем без толку.

— Шли открытки и телеграммы, старик!

Вместо Игоря нам никого не дали. Место сократили. Лаборатория прослыла неперспективной. Навис слух о расформировании.

В конце зимы — пустой, со свечением фонарей на слякотных улицах, — от нас ушел Павлик-шеф. Его брали в докторантуру. И ладно.

Безмерное равнодушие овладело нами.

XI

В качестве начальника нас наградили «свежаком».

«Свежак» — специалист, данным вопросом не занимавшийся и, значит, считается, не впавший в гипноз выработанных трафаретов. В идеале тут требуется полный нонконформист. В просторечии такого именуют нахалом.

Он должен хотеть перевернуть мир, имея точкой опоры собственную голову. Поэтому голова, как правило, в шишках размерами от крупного до очень крупного.

Если у человека есть звезда — его звездой была комета с хвостом скандальной славы. Неудачник без степеней, пару институтов вывел к свету, но самому под этим светом места не хватило, как водится; а пару ликвидировал, что положения его также не упрочило. Нам его подкинули из Приморья: генеральную тему приютившего самоподрывника института он вывернул таким боком, что Министерство закрыло институт прежде, чем Академия наук раскрыла рты.

Решили, хихикнула Динка-секретарша, что нам он не навредит...

Забрезжило: свежак закроет тему, и заживем мы попрежнему...

Свежак был подтянут, собран и стремителен. Молча оглядев нас пустыми глазами, он вернулся с графином и тряпкой: чисто протер пустой стол, стул, телефон. Ветер развевался за ним. Ветер пах утюгом, одеколоном «Эллада» и органическим отсутствием сомнений в безграничности его возможностей. Затем он тронул русый пробор, подтянул тонко вывязанный галстук и погрузился в чтение машинного журнала. Звали свежака старинным и кратким именем Карп.

— Пр-риказываю сделать открытие, — передразнил Лева в курилке.

— Матрос-гастролер, — скрипнул Олаф. — Я уше стар для суеты...

То был последний перекур. На столах нас встретили стандартные стеклянные пепельницы. Угрозы коменданта здания Карпа явно не интересовали.

— Курить здесь. — Он отпустил нам взглядом порцию холодного омерзения, опорожняя вербно-окурочный кувшин в корзину.

— Ты взглядом сваи никогда не забивал? — восхитился Митька.

— «Вы», — бесстрастно сказал Карп. — Приступить к работе.

И тоном дежурного по кораблю бурбона-старшины предложил «разгрести свинюшник» и представить личные отчеты за полтора года.

Мы написали отчеты. И он их прочел. И сообщил свое мнение.

— Шайка идиотов, — охарактеризовал он нас всех кратко.

XII

— Сократ, если Платон не наврал от почтения, имел неосторожность выразиться: «Я решил посвятить оставшуюся жизнь выяснению одного вопроса: почему люди, зная, как должно поступать хорошо, поступают все же плохо...».

Карп сунул руки в карманы безукоризненных брюк и качнулся с носков на пятки. Подзаправившись информацией, наш чрезвычайный руководитель с лету заехал под колючую проволоку преград и опрокинул проблему с ног на уши:

— Почему люди, зная, что и как нужно им для счастья, сплошь и рядом поступают так, чтоб быть несчастливы? Решение здесь. И?

Вам виднее, товарищ начальник, выразили наши взгляды...

— Представление о счастье у каждого свое, — жал Карп, — ладно. Но отчего порой отказываются от своего именно счастья; и добро бы жертвуя во имя высших целей — нет же! неизвестно с чего! наущение лукавого? как с высоты вниз шагнуть манит, что ли?

Охмуренный стальным командиром Митька запел согласие, приводя рассказ Грина, где новобрачный скрывается со своей счастливой свадьбы, следуя неясному импульсу, и т. д. А Карп прицельно извлек из книжного завала в углу черный том и прочеканил:

— «Томас Хадсон лежал в темноте и думал, отчего это все счастливые люди так непереносимо скучны, а люди по-настоящему хорошие и интересные умудряются вконец испортить жизнь не только себе, но и всем близким».

И мы как под горку покатились считать и пересчитывать. Искаженные судьбы и разбитые мечты вырастали в курган, и прах надежд веял над ним погребальным туманом. Мы прикасались к щемящей остроте странных воспоминаний о том, чего не было, и манящий зов неизвестного терзал наш слух и отравлял сердце.

Барахтаясь в философско-психологическом мраке субъективизма и релятивизма, мы изнемогали: в чем проклятое преимущество несчастья перед счастьем, если в здравом рассудке и трезвой памяти люди меняли одно на другое?..

Ахинея!! — старательно ведя себя за шиворот по пути несчастий, люди не прекращали тосковать о счастье! не успевало же оно подкатиться — раздраженно отпинывали и, тотчас заскорбев об утраченном, двигались дальше!

— О, тупой род хомо кретинос! — рвал Лева взмокшую бороду.

А Митька, кое-как собрав в портрет искаженное непосильным умственным усилием лицо, выпаливал:

— В законодательном порядке! паршивцы! приказ! мы тут мучайся, а они нос воротят! выпендриваются! а потом жалуются еще!

— Да-да-да, — подтвердил Карп при общем веселье. — «Команде водку пить — и веселиться!» Дура лэкс, сэд лэкс: будь счастлив!

Он щелкнул пальцами, Митька виновато поежился, выхватил из кармана бумажку и торжествующе зачел:

«Так что же заставляет нас вновь и вновь возвращаться сердцем в те часы на грани смерти, когда раскаленный воздух пустыни иссушал наши глотки и песок жег ноги, а мечтой грезился след каравана, означавший воду и жизнь?..»

XIII

— Мерзавцы, Люсенька, — как, впрочем, и стервы, — самый полезный в любви народ... Вы рассыпаете пудру... Судите: они потому и пользуются большим успехом, чем

добропорядочные граждане, что являются объектами направленных на них максимальных ощущений. Они «душевно недоставаемы» — души-то там может и вовсе не быть, достаточна малая ее имитация. Но поведением то и дело играют доступность: мол вот-вот — и я всей душой, не говоря о теле, буду принадлежать только тебе. Обладать таким человеком — как достичь горизонта. Потребители! — они потребляют другого, и этот другой развивает предельную мощность душевных усилий, чтоб наконец удовлетворить любимого, счастливо успокоиться в долгожданном равновесии с ним. Они натягивают все душевные силы любящего до предела, недостижимого с иным партнером, добрым и честным.

Кроме того, они попирают мораль, что неосознанно воспринимается как признак силы: он противопоставляет себя обычаям общества!

Они — как бы зеркальный вариант: зеркало отразит вам именно то, что вы сами изобразите, но за холодной поверхностью нет ничего... Продувая мундштук папиросы, держите ее за другой конец, табак вылетит... Но именно в этом зеркале душа познает себя и делается такой, какой ей суждено сделаться, какой требуется некоей вашей глубинной, внутренней сущностью, чтоб силы жизни ее явили себя, а не продремали втуне...

Конечно, если человек теряет голову — то не все ли равно, сколько там было мозгов... Опыт полезен вот чем: да, интеллект составляется к пятнадцати годам — но ведь способность решать задачи — это прежде всего способность правильно их ставить.

Нет?

XIV

«Ж и з н ь может рассматриваться как сумма ощущений (ибо ощущение первично). Они могут вызываться раздражителями первого и второго порядков: внешнее, физическое действие, и внутреннее — через мышление, воспоминания, чтение и т. п.

С а м о р е а л и з а ц и я — культивированный инстинкт жизни, т. е. активности, действий, мыслей, событий; в известном плане — максимальное стремление ощущать. Стремление к полноте жизни.

С ч а с т ь е — категория состояния. Возникает при адекватном соответствии всех внешних условий, обстоятельств, факторов нашим истинным душевным запросам, потребностям.

П о л н о т а ж и з н и может быть уподоблена графику в прямоугольной системе координат, где горизонтальная ось (однонаправленная от нуля и конечная) — время, а вертикальная (продолжающаяся неопределенно-длительно) — напряжение человеческой энергии, или ощущения, или эмоции (вверх от нуля положительные, вниз — отрицательные). Чем больше длина ломаной линии, состоящей из точек напряжения во все моменты времени — тем более реализованы возможности центральной нервной системы, тем более полна жизнь. Максимальные размахи в обе стороны от оси времени соответствуют максимальной полноте жизни.

С т р е м л е н и е к с т р а д а н и ю объясняется потребностью в самореализации, необходимостью сильных ощущений. Статичность ситуации — даже еще в перспективе — неизбежно снижает уровень ощущения. Когда душа не может иметь сильных ощущений в верхней половине «+», она ищет их в нижней половине «—». Сильная душа неизбежно стремится к такой ситуации, где получит максимальные ощущения, и выходит из нее или вследствие ослабления ощущений, или уже под диктат инстинкта самосохранения, дабы сохранить себя для дальнейших ощущений, с тем чтобы сумма их в результате была максимальной в течение жизни.

С ч а с т ь е и с т р а д а н и е различны по знаку, но идентичны по абсолютной величине. Упомянутый график не плоскостной: ось ощущений искривлена по окружности перпендикулярно оси времени, и в неопределенном удалении половины «+» и «-» соединяются в единое целое. То есть имеется как бы цилиндр, где предельные отметки

счастья и страдания лежат в близкой, взаимопроникающей и даже одной области.

Человек подобен турбине, как бы пропускающей через себя некую рассеянную в пространстве энергию. Мощная турбина захиреет на малых оборотах, слабая — искрошится на больших. Сильная душа жадна до жизни — ей нужен весь цилиндр целиком. Для нее более смысла в сильном страдании, нежели в слабом счастье...»

Дальше шли расчеты.

— Тавтология, — ощетинился Лева. — Счастье — это счастье, а страдание — это тоже счастье... Эх, термины...

— Кого возлюбят боги, тому они даруют много счастья и много страдания, — проскрипел Олаф и кивнул.

— «Для счастья нужно столько же счастья, сколько несчастья», — провещал Митька Ельников, оракул наш самоходный, став в позу.

Рукопись Карп переправил из больницы. С разбирательства пред начальством он вернулся темен лицом, выпил графин воды, выкурил пачку «Беломора»; а на вид такой здоровый мужик.

XV

Монтажников нам не дали. И отсрочек не дали. А в случае срыва пообещали распустить.

Чуть пораньше бы — распустились с радостью. Но сейчас... Словно ветер удачи защекотал наши ноздри — неверный, дальний...

Грянули черные будни. Самосильно, под дирижирование Карпа, мы сооружали установку с голографической камерой, действующую модель его «цилиндра счастья».

В чаду паяльников, прожигая штаны и заляпываясь трансформаторным маслом, мы спотыкались среди хлама. Лева хвастал спертыми у юных техников ферритовыми пластинами. Люся прибыла с махновского налета на радиозавод, раздутая от добра, как суслик. Мы шатались по корпусу, подметая что плохо лежит; канючили намотку и транзисторы, эпоксидку и лампы. Сблизились с жуками из

приемки старых телевизоров. Люсин серебряный браслет пошел на припой. Карп экспроприировал у Олафа «до победы» золотые запонки, и знакомый ювелир протянул из них роскошную проволоку. Дома, обнаружив пропажу, подняли хай: дочь в панике выпытывала по телефону, не пьет ли Олаф и не завел ли молодую любовницу; а если нет, то почему он так хорошо выглядит и так поздно приходит. В ответ рассерженный Олаф вообще остался ночевать на работе.

Оргстекло, явно казенное, я купил у столяра Казанского собора.

Всех превзошел, опять же, Митька Ельников: он устроился по совместительству в ночную охрану, и прознай начальство об его партизанских рейдах по лабораториям экспериментаторов и внутреннему складу — не миновать Митьке счастья труда подале-посеверней.

XVI

Настал день.

Конструкция громоздилась, зияя незакрашенными швами, пестрея изолентой: рабочая модель... Зайчики текли по стеклу голографической камеры. Наш облезлый друг «МГ-34» в присоединении к ней выглядел насекомым, высосанным раскидистым паразитом.

Мы курили на столах, сдвинутых в один угол: все, что ли? или еще какие гадости предстоят?

— Поехали, — сказал Карп.

Вот так мы поехали.

Митька мекнул, высморкался, махнул рукой, нога об ногу снял кроссовки и полез через трансформаторы и емкости в рабочее кресло, стыдясь драного носка. Мы с Левой обсаживали его ветвистой порослью датчиков и подводили экраны. Олаф с Люсей на четвереньках ползали по расстеленной схеме, проверяя наши манипуляции.

— От винта. — Карп возложил руки на клавиши. В чреве монстра загудело; замигали панели. Передо мной стояла Люся и бессмысленно обламывала ногти.

— Сейчас дым пойдет, — бодро просипел Митька.

Карп, поджав губу, крутил верньеры.

Камера светилась. Зеленоватый прозрачный цилиндр, расчерченный координатной сеткой, проявился в ней.

Ждали — гласа господня из терновой кущины.

Ломаная малиновая линия легла на цилиндре густо, как гребенка. Митька выдохнул и глупейте распялил рот. Работающая приставкой «МГ-34» пискнула, на ее табло вермителью покрутились цифры и остановились: 0,927.

— Так, — сказал Карп. Этот человек не умел удивляться.

За него удивились мы. Прокол, начальничек. Чтоб лоботряс-Митька оказался, выходит, счастлив на девяносто три процента!..

— Надо же... А по виду и не скажешь...

— Следующий? — бесстрастно произнес Карп.

Люся отвердела лицом и ступила на подножку. Мы подступили с датчиками. Возникла заминка. Она взглянула вопросительно — и рассмеялась, — прежним ведьминским смехом, пробирающим до истомы...

0,96 условного оптимума было у Люси.

И она заревела — детски икая и хлюпая носом. Не умею передать, но какой-то это был светлый плач. И доплакав, стала прямо юной.

— Следующий.

Олаф: 0,941.

Лева: 0,930.

— Почему же у меня меньше? — убежденно сказал он. — Не. Не-не.

— Потому, — назидательно курлыкнул Олаф. — Когда дочек своих выдашь замуж, тогда узнаешь, почему.

А я сказал то, что подумал:

— Халтура.

В ответ Карп поволок меня жесткой лапой за плечо: мы извлекли с улицы преуспевающего джентльмена, по ходу объясняя на пальцах.

0,311 — равнодушно высветило табло.

Переглянувшись — мы высыпали на облаву за следующими жертвами.

Диапазон был охвачен: от 0,979 у закрученной матери четырех детей до 0,027 у чада высокопоставленного отца, коий полагал себя счастливым, как сыр в масле, и высокомерно пожал плечами...

Мне выдало 0,928. Хм. И ничего я такого не испытывал.

Карп вытер белейшим платком лицо и руки и сел последним.

Ломаная, нервная линия легла густо, как нить на катушку. Предостерегающе запищало, замигало, дрогнуло. «1,000».

— Э-э, ты ее по себе сварганил, — разочарованно протянул Лева.

— Ну, вот и все, — опустошенно сказал Карп, не отвечая.

Вылез. Прошелся. Глянул в окно. Сел. Закинул на стол ноги в сияющих туфлях. Выудил последнюю «беломорину» и смял пачку.

— А теперь останется только вводить поправки при наложении программы, — пустил колечко. — Индивидуальное определение режима и загрузки нервной системы мы получили. Нагрузки надо давать на незагруженные участки, напрягая их до оптимума. Качество нагрузок варьируемо, они сравнительно заменяемы; всех мелочей не учтешь, да и ни к чему... Ведь личность изменяется, в процессе деятельности приспосабливая себя к тому, что имеет. Нет? Ромео можно было подставить вместо Джульетты другую... Нет?.. Эх...

— А как же... мы? — не выдержал я, кивнув на табло.

— Не жирно ли нам? — поддержал Лева Маркин.

— «Мы», — усмехнулся Карп. — Мы работаем. Плохо живем, что ли?

Он грустнел. Тускнел. Отчетливей проступало, как он уже немолод, за сорок, наверное, и хоть и здоровый на вид мужик, а выглядит погано: тени у глаз... одутловатость...

— Ах, ребятки-ребятки, — он раздавил окурок и встал. — От каждого по способностям, каждому по потребностям, — великий принцип. Вот на него мы и работаем. Как можем.

XVII

— Шо вы хотите, — сказал завкардиологией добрым украинским голосом. — Нельзя ему было так работать; знал он это. Полгода не прошло, как от нас вышел. Гипертония, волнения, никакого режима. Взморье бы, сосновый воздух, физические нагрузки, нормальный образ жизни. Эмоций поменьше. Болезни лекарствами не лечатся, дорогие мои... жить надо правильно...

Вошла сестра с серпантином кардиограмм, и мы поднялись.

— Живи так, как учишь других, и будешь счастлив, — прошептал у дверей Митька стеклянному шкафчику с медицинской дребеденью, и я оглянулся на усталого доктора, вряд ли живущего так, как полезно для здоровья...

А первый инфаркт у Карпа случился в тридцать один год; тогда ему зарубили кандидатскую, зато позже на ней вырос грибной куст докторских в том институте, который он поставил на ноги.

Потом был морг. Потом кладбище. Потом мы вернулись в лабораторию.

XVIII

К нам возратился Павлик-шеф — уже защитивший докторскую и ждущий утверждания в ВАКе. Он посвежел, помолодел, поправился и снова говорил, что ему двадцать девять лет, и он самый молодой доктор наук в институте.

Мы спокойно раскручивали методику и оформляли диссертации. Все постепенно вставало на свои места — будто ничего и не было... Пошли премии. Пошел шум. Павлик-шефу утвердили докторскую, он выступал на симпозиумах и привозил сувениры со знаменитых перекрестков мира.

Над столом у него висит фотокопия графика Карпа: малиновая ломаная кривая, густо, как нитка катушку, оплетающая зеленоватый сетчатый цилиндр.

XIX

— Слушай, — спросил Митька, — ну, пойдет наша программа... а потом?

Митька после сдачи программы тоже стал кандидатом, сразу, — Павлик-шеф позаботился, все устроил, из ученого совета сами провернули насчет диплома; даже перепечатывала оформленные бумажки машинистка из нашего машбюро. Митька принялся буйно лысеть и до безобразия уподобился доценту из дурной кинокомедии.

Мы сидели у меня на кухне, и белые ночи буйствовали за открытым окном над ленинградскими крышами, и словно не было всех этих лет...

— Слушай, — повторил Митька, — что дальше будет?..

— Лауреатами станем, — мрачно сказал я. — Золотыми памятниками почтят. Чего тебе еще?..

— Нет, — сказал Митька, кладя в стакан восьмую ложку сахара, паршивец. — Ну, начнут все жить в полную силу. В с е. А что из этого выйдет? В мире, на Земле? А? Ты думал?

— Многие думали, — успокоил я. — В общем, должно выйти то, что все будет хорошо, как давно бы уже полагалось. Да; а что?

— А я думаю, — сказал Митька, — что выйдет то же самое, что и так вышло бы, только быстрее.

Снизу забарабанили по трубе. Глаза у меня слипались.

— Это уже следующая история, — примирительно сказал я.

А он сказал:

— История-то у нас, браток, одна на всех... Прав был Карп.

Но тогда я его не понял.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В комнате накурено. Стены в книжных стеллажах. За пишущей машинкой сидит 1-й соавтор. Настольная лампа освещает его мясистое лицо и короткопалые руки. 2-й соавтор расхаживает по ковру, жестикулируя чашкой кофе. Он постарше, лет пятидесяти, худ, выражение лица желчное.

1-й соавтор *(обреченно)*. Как всегда... Через неделю истекает последний срок договора, а у нас — конь не валялся...

2-й соавтор *(деловито)*. Нужна конкретная зацепка для начала...

1-й соавтор. Это пожалуйста. М-м... Человека раздражает постоянная толкотня перед его домом. Он живет на одной из центральных улиц, рядом с универмагом, и мимо подъезда всегда снует толпа народа.

2-й соавтор. А в самом подъезде занимаются спекуляцией... Ладно, не отвлекаемся... И вот — человек постепенно начинает замечать, что народу перед его подъездом становится все меньше...

1-й. Так. Как его зовут? Имя для условной страны...

2-й *(листает телефонную книгу, морщит лоб, швыряет на диван)*. Что-нибудь двусложное. Тарара-бух... В детстве я думал, что «Три мушкетера» — это «Тримушки Тёра». Какие-то тримушки некоего Тёра. Тримушки... Тримушки-Бух...

1-й. Тримушки-Бабах... Тримушки-Бабай... Тримушки-Бай... Тримушки-Дон...

2-й. Тримушки-Тон... Тримушки-Бит... Тримушки-Тринк...

1-й. Тримушки-Дринк. Джонни уыпьем уодки.

2-й. Тримушки-Трай...

1-й. Максим Трай. Путешествие на планету Транай. Драй трамвай.

2-й. И черт с ним.

1-й. И черт с ним. Нарекли. Пущай Тримушки-Трай.

2-й. Портрет.

1-й. Упитанный блондин, рост выше среднего, возможны очки.

2-й. Очки у нас недавно уже были. Ни к чему. Даешь снайперов. Нет, очков не надо. Полноценный человек. Довольно ущербности. Жена, двое детей, дома и на работе никаких неприятностей, и никаких авиационных и прочих катастроф. И никаких инопланетян и рецептов из старинных книг.

1-й. Прах и пепел! Помилосердствуй! Тут можно написать только характеристику для ЖЭКа и некролог!

2-й. Тихо! Тихо. Без штампов. Ему... мм... мм... тридцать три... нет, намек на Христа... тридцать пять, многовато... тридцать два года. О. Расцвет сил.

1-й. Уж вы мои силушки... Гуманитар. Психолог. Нет, к дьяволу психоанализы, нормальный так нормальный. Значит — не молодой профессор. Во: средний уровень. Учитель. Школьный учитель. Литературы.

2-й. Осточертели всем твои учителя литературы. Ну прямо сговор: или литературы, или математики, или физики. Ботаник он! Географ! Чертежник!

1-й. Ага. А также дворник, шорник и по совместительству завхоз, который не ворует. Не будь свиньей — я тебе уступил космос, катастрофы и чудеса — уступи мне литературу, это справедливо.

2-й *(делает останавливающий жест, ставит чашку на торшер, закуривает, сосредотачивается)*. Итак, Тримушки-Траю тридцать два года. Он работает учителем литературы в школе. Зарплаты хватает, жена и двое детей, семью любит. Квартира в приличном квартале. Единственный источник раздражения — толкотня перед домом. А коль раздражает лишь это — ясно, что жизнь у него тип-топ.

1-й. И о карьере сей сеятель разумного, доброго, а также вечного за умеренную зарплату не мечтает. Но — он не маленький человек, нет. У него даже были предложения, да и сейчас он имеет возможность перейти преподавать в университет... э-э... или в издательство... но — он любит свою работу, вот в чем дело... Именно в ней видит смысл.

Начальство его ценит, коллеги уважают, ученики любят и даже стараются подражать ему в некоторых привычках.

2 - й. И пусть хоть один м-мэрзавец посмеет заявить, что это не фантастика. Да. Причем он ловит себя на том, что с каждым годом ученики его становятся все толковее. Работать с такими — сущее удовольствие. Они много способней тех тупиц, в среднем, чем были в их возрасте большинство его сверстников.

1 - й. Детали!

2 - й. Выше среднего роста, румяный, очень густые русые волосы зачесывает назад. По вечерам все семейство сидит в гостиной, он тут же проверяет сочинения, двухлетний сын, его копия, возится у него на коленях. Дочке семь лет, любит убирать со стола, изображая хозяйку, часто бьет посуду, что никого не огорчает, кроме нее самой. Квартира стандартная, обстановка стандартная, стулья и диван слегка изодраны котом, непородистым и некастрированным. На лето уезжают к морю, кота оставляют соседям. Кот серый, с белым животом и кончиками лап и черным носом.

1 - й. Кот получился... Носит обычно синий костюм, то есть Тримушки-Трай, естественно, а не кот, сорочки голубые или желтые, галстук повязан узким тугим узлом. Всегда на месте за пять минут до назначенного срока. В школе просторные классы, окна во всю стену, учебные стереовизоры, широкие лестницы из искусственного мрамора, стены со звукопоглощающим покрытием, зелень во дворе и прочее подобающее.

2 - й. Ну и серый асфальт и мутное небо города, шелест шин, запах бензина, вой подземки и ее заплеванные перроны, огни реклам, рестораны и мусорщики, парки, уголовная хроника...

1 - й. Мусорщиков нет — машины. Мусорщики исчезли лет десять назад.

2 - й. Уголовной хроники тоже уже практически нет. Примерно в то же время она резко пошла на убыль.

1 - й. Десять лет назад произошли некоторые изменения в сенатской комиссии...

2 - й. Десять лет назад Тримушки-Трай был полон страха перед неизвестностью. Студентом он принимал участие в студенческих волнениях и демонстрациях. Студенты требовали снижения платы за обучение, отмены воинской повинности и права на труд. На плече Тримушки-Трая остался шрам от полицейской дубинки.

1 - й. Дубинка, однако, не сабля. Ладно. Короче, в стране было скверно. Безработица. Кризис. Нехватка топлива, сырья, жилья и чего угодно. Цены росли, зарплаты падали, законы ужесточались, гангстеризм процветал...

2 - й. И странно, что они вообще не вымерли...

1 - й. В общем, да. Отвали.

2 - й. Вперед. *(Выходит в туалет.)*

1 - й стучит на машинке. Суть абзаца сводится к тому, что по окончании университета по курсу английской (под вопросом) филологии Тримушки-Трай зарегистрировался на бирже безработных и перебивался полгода на пособие, мел улицы изношенными джинсами и простужался, ночуя на парковых скамейках.

2 - й *(входя и заглядывая через его плечо)*. Но через полгода ему повезло. Он получил место учителя в специализированной школе. Будучи способным и образованным специалистом, успешно выдержал тесты и прошел по конкурсу — тем более что конкурсы уменьшились, очередь на бирже начала рассасываться и вообще страна понемногу стала оправляться от кризиса.

1 - й. Править придет-ся-а... Переписывать заново.

2 - й. Ладно. Вперед. Все отлично. Сейчас Тримушки-Трай не только доволен своим положением. Он доволен правительством — это важнее. За прошедшие десять лет в стране наладилось процветание. В Декларацию прав внесены поправки. Президент переизбран на третий срок. Массы довольны — изобилие. Интеллектуалы довольны — есть применение их мозгам, средства для научных исследований. Демократы довольны — есть полная свобода всяческих волеизъявлений и предпринимательств.

1 - й. Хотя последнее — вранье, но об этом Тримушки-Трай может судить только по газетам, правда, зная цену их-ним газетам.

Но — все здорово. Вроде, Тримушки-Трая даже на тротуаре перед его домом толкать перестали. В один прекрасный день он обращает на это внимание. Его ни разу не толкнули, когда после работы в час пик он возвращался домой. Он даже удивился. Подумал, что универсальный магазин сегодня не работает. Посмотрел — нет, открыт, правда народу немного. Тримушки-Трай хмыкнул, свернул в свой подъезд и вошел в лифт.

На обед жена подала его любимый бефстроганов с жареным картофелем, спаржу и яблочный пудинг. Отдыхая в кресле с коктейлем, Тримушки-Трай поделился с женой своим наблюдением. Не отрываясь от вязания, жена ответила, что пару недель назад тоже обратила на это внимание, только, скорей всего, они просто привыкли к этому району. Не так уж, в сущности, много людей в пресловутом Большом городе.

Но в воскресенье Тримушки-Трай в своем открытии решительно утвердился. Они отправились гулять с детьми в Центральный Парк. Очереди на карусели не было. Редкие прохожие фланировали по аллеям или отдыхали в тени на скамейках. И почти никто не кормил ручных белок — а когда-то вокруг каждой, спустившейся на землю, собиралась толпа.

У Тримушки-Трая возникло нехорошее сосущее ощущение. Он посмотрел на жену; они поняли друг друга.

2 - й. Тем большим событием в спокойной доселе жизни Тримущки-Трая явилась беседа с контрразведчиком Департамента лояльности. В понедельник после уроков директор пригласил его в кабинет и оставил их вдвоем. Изящный молодой человек с интеллигентным лицом повернул в дверях ключ и предъявил Тримушки-Траю удостоверение. Тримушки-Трай удивился и слегка испугался, честно говоря. Он закурил, подумал, спохватился и предложил сигарету контрразведчику. Контрразведчик не курил. Контрразведчик предложил рассказать о себе.

— Так, наверно, в моем досье все указано, — простодушно сказал Тримушки-Трай и порозовел, ощутив свои слова бестактными.

Контрразведчик улыбнулся непринужденно и поощрительно.

— Вы не волнуйтесь, — успокоил он. — Вы лояльный гражданин, и вы, разумеется, понимаете, что в нашей работе, как и в любой другой, имеются свои особенности... если хотите, мы условимся считать этот разговор дружеской беседой без каких бы то ни было последствий. Устроит?

Растерянный, но и успокоенный, Тримушки-Трай изложил недолгую биографию. Контрразведчик в паузах одобрительно кивал. Он был определенно ненавязчив и обаятелен: Тримушки-Трай раскрепостился и поглядывал на него с симпатией.

Контрразведчик перевел разговор на преподавание литературы.

— Вы, мне известно, разработали собственную систему тестов для выяснения интересов ученика и уровня его гуманитарной пригодности, если так можно выразиться? Простите, я не специалист...

Польщенный Тримушки-Трай махнул рукой:

— Ну, уж и целая система... У каждого учителя свои приемы выяснения, кто чем дышит. В зависимости от этого и строишь работу.

Через сорок минут они расстались друзьями — по крайней мере, Тримушки-Трай так чувствовал.

— Во вторник, в десять утра, позвоните, пожалуйста, по этому телефону. В школе вас подменят. Рабочие часы будут оплачены. Мужской уговор: вся беседа должна остаться между нами. Согласны?

Тримушки-Трай пожал протянутую руку с искренним дружелюбием, какое возникло бы, вероятно, у кролика, снискавшего уважение травоядного удава.

1 - й. Поскольку все в природе устроено по принципу взаимодополняемости, то жены простодушных людей, как правило, проницательны; и жена Тримушки-Трая отнюдь

не составляла исключения. Из вида и поведения мужа нынешним вечером следовало, что нечто произошло и что это нечто он не намерен подвергать обсуждению. А посему была придумана печаль, претензии, ссора, примирение с коньяком и любовью, и будь Тримушки-Трай реалистом настолько, насколько он сам себя воображал, он понял бы, что в лице его жены Департамент лояльности прохлопал работника с большими данными. Ибо он выложил все, пребывая в уверенности, что делает это абсолютно добровольно, и легкая дрожь нарушителя государственной тайны щекотала его.

— Тебе хотят предложить работу, — заключила она.

— Мне? Они? Какую же? — чистосердечно удивился Тримушки-Трай.

— Как сказать... Но они поняли, что ты способен на большее.

Жены маленьких людей часто честолюбивы за двоих, если не за все семейство. Самое обидное, что они сплошь и рядом бывают правы в своих анализах обстановки, а вынужденность смиряться с тупостью и вялостью суженых ведет их к презрению — если только любовь не оказывается выше обоснованных амбиций. Но Тримушки-Траю везло и здесь — жена любила его. Так что сейчас она просто желала подпихнуть главу семейства в нужном, по ее мнению, направлении, как жука булавкой.

— И ты примешь предложение, — констатировала она.

Сам генерал Джексон Каменная Стена не сумел бы высказать эту формулу тоном более категорическим.

Под напором превосходящей воли Тримушки-Трай принял единственно разумное в подобных ситуациях решение: сделать по-своему, а после отовраться.

Но — он знал свою жену хорошо. И — любил ее. Из чего следует, что к десяти утра во вторник он не мог бы ответить, кого боится в сложившихся обстоятельствах больше — жены или Департамента лояльности.

2 - й. Он позвонил и назвался. Ответили, что пропуск приготовят к одиннадцати часам. На проходной у дежурного. Назвали адрес.

Дежурный был здоровенный мужик с борцовской шеей. Он изучил паспорт Тримушки-Трая и кивнул на окошечко — бюро пропусков. В окошечке пожилая женщина в военной форме выписала пропуск, оторвала от корешка и протянула. Дежурный еще раз изучил — теперь уже пропуск — и кивнул на лифт: «Четвертый этаж».

Тримушки-Трай помедлил, вдохнул-выдохнул перед дверью с нужным ему номером — 407. Часы в конце коридора сипло отзвонили четыре четверти и ударили раз за разом. Тримушки-Трай расправил плечи и постучал.

Дверь распахнулась сама. В просторном затененном кабинете за огромным полированным столом сидел человек в клетчатом пиджаке.

— Прошу вас, — сказал он будничным, чиновничьим голосом.

Тримушки-Трай вошел. Дверь закрылась.

— Садитесь, — чиновник кивнул на глубокое кресло.

Тримушки-Трай сел, утонув в кресле так, что голова его торчала на уровне стола, и это сразу создало ощущение неловкости и зависимости.

Чиновник извлек из ящика стола аккуратную папку и принялся листать. Тримушки-Трай, полагая в папке свое досье, немало готов был отдать за удовлетворение естественного интереса заглянуть туда.

1 - й. Да, надо добавить, что в воскресенье вечером Тримушки-Трай позвонил нескольким университетским приятелям. Кого застал — потрепался на житейские темы, пытаясь незаметно переводить разговор в то русло, что в городе стало, вроде, ха-ха, посвободнее. Разговоры сии развития не получили. Возникло неопределенное чувство неудобства, заминки, собеседники соглашались... а черт его знает, может, это просто кажется. То есть понятно, что просто кажется, но... нет, не клеились разговоры. А часть однокашников по старым телефонам не значилась, и телефонные станции разыскать их не сумели. Что ж, поразъехались, дело обычное...

2 - й. В жизни Тримушки-Трая наступил самый трудный момент.

1 - й. И в нашей повести тоже.

Курят в молчании. Чиновник продолжает листать досье.

2 - й. Нет, собственно... Если человек попадает в систему, раньше или позже он все равно узнает об общем положении тех дел, которыми его система занимается. А без людей не обойтись... А берут всегда людей проверенных... и всегда есть средства, которыми можно держать их в узде... В некий день и час Тримушки-Трай, работая на предназначенном ему месте, осознает истину... поэтому оптимальным вариантом представляется сразу выдать ему информацию и проследить реакции... тем паче что система ничем ведь не рискует и в случае его отказа. Суют его на должность не рядового исполнителя, а, как ни крути, своего рода творческого деятеля. Потом — предлагают же не первому попавшемуся, он подходит по всем данным.

Нет — это логично. Тримушки-Трай должен узнать все. Такова логика системы. Ею и будет сейчас руководствоваться чиновник.

1 - й. По-твоему, идет?..

2 - й. Смотри сам.

Тримушки-Трай скованно сидит в глубоком кресле, и румяным его сейчас назвать трудно.

1 - й. Веселенький разговор ему предстоит.

2 - й. Ладно. Вперед.

Чиновник поднимает глаза от папки. Глаза у него с желтоватыми в прожилках белками, карие зрачки покрыты голубоватой мутной пленкой.

Чиновник. Простите? Вы инспекция из нулевого отдела?

1 - й. Что-оо?

2 - й. Нам время исчезнуть.

Хватает 1-го за руку и тащит к двери. Чиновник нажимает ногой под столом кнопку звонка. Два охранника вырастают из дверей.

Чиновник. Почему вошли эти господа?

Охранники изображают позами верноподданность и непричастность.

Потрудитесь объяснить, как вы сюда проникли!

1 - й *(восхищенно)*. Паршивец, а! Ты, однако, не зарывайся, а то ведь я щас опохмелюсь — и тебя не будет!

2 - й *(свистящим шепотом)*. Заткнись, кретин, идиот!.. *(Ударяет его локтем в живот. Чиновнику.)* Это типичное недоразумение. Прискорбный казус!.. Видите ли, мы — писатели... *(Теряется, не зная, как вразумительно приступить к объяснению.)*

Чиновник *(с понимающим лицом)*. Писатели. Журналисты?

2 - й. Ну да, почти...

Чиновник. Удостоверения, пропуска?

1 - й. О скот!

Чиновник. Сдать надзору четвертого. Обыскать и изъять по описи. Идентифицировать. Оставить за мной. Подать объяснительные по команде.

Охранники, каждый правой рукой сворачивая левое запястье соавторов, выдворяют их, и дверь закрывается; слышны удаляющиеся по коридору шаги и вопль 1-го соавтора: «Да мать твою!..», переходящий в сдавленное мычание.

Чиновник *(вздыхая, Тримушки-Траю)*. И вот из-за такого ЧП порой летит насмарку вся служба. Как прикажете работать в таких условиях? *(Достает из стола пачку сигарет, предлагает Тримушки-Траю, закуривает сам. Доверительно.)* А у меня кардиограмма ухудшилась. Курение противопоказано. Поди брось тут... Держу вот на службе пачку...

Переходит в одно из двух кресел в углу, рядом с журнальным столиком, жестом предлагая Тримушки-Траю занять второе; в стене, отделанной панелью под дуб, открывает маленький бар, разливает по бокалам коньяк и разбавляет из сифона.

Ну-с, чувствуйте себя непринужденнее. Мы с вами почти коллеги, кончали один университет, правда, я на девять лет раньше. Социолог. Филолог, социолог, — родственные души. Так вот, не скрою от вас, что хотя видимся мы и впервые, но *(кивок на стол, где осталась папка)* кое-что, и даже немало, мне о вас известно, — вы понимаете, просто такая у нас работа, как у каждого своя работа, все это обычно, нормально, да — и как ваши взгляды, так и сами вы лично мне глубоко симпатичны. Глубоко! Не сочтите за грубую лесть. Льстить мне вам, как вы понимаете, незачем. Дело в другом. И не в вашем личном обаянии, хотя оно незаурядно. Поверьте.

Так вот. Вы человек с искренними убеждениями. И придерживаетесь своих убеждений даже вопреки материальной выгоде, карьере, известности. Именно так, не надо возражать! Вы получаете предложения от университетов — и отклоняете их. А это как-никак профессорский оклад и перспективы для научной работы. Издательство на должность, которую предоставляло вам, берет человека менее подходящего, а платит ему вдвое больше, чем получаете вы. Что же вас останавливает? Не стесняйтесь, голубчик, люди, как известно, вечно стыдятся вовсе не того, чего следовало бы.

Я сам отвечу вам. В нашем достаточно бессмысленном мире вы занимались, простите, занимаетесь одним из немногих дел, имеющих смысл: вы учите детей. Причем не абстрактной математике — литературе. Вы воспитывали из них, по мере своих сил, людей — в подлинном смысле этого слова. Вы учили их внутренней честности и порядочности, учили понимать и чувствовать прекрасное, быть терпимыми, мыслить самостоятельно и поступать благородно — пусть даже в ущерб материальной выгоде и карьере...

А сами, отклоняя предложения и приглашения, рассуждали примерно так: «Материально я выиграю немного. Того, что я имею, мне хватает. Как-то сложится все на новом месте? Я иду утром на работу без отвращения. Какого еще черта человеку надо?». Вы, голубчик, как всякий закоренелый идеалист, считали себя последовательным реалистом. Идеалист, заметьте, в хорошем, в высоком смысле слова.

Таких людей весьма, голубчик, и весьма мало. И мы таких ценим на вес золота. «Мы» — я подразумеваю государственный аппарат. Ибо именно такие люди, вкладывающие душу в свое дело, не просто добросовестные и способные, нет, талантливые и преданные своему делу, жизненно необходимому стране и народу, я говорю — не государству, заметьте, государство — аппарат, пшик, каркас для скульптуры, корабль для команды, — такие люди служат тем же целям, которым служит или, во всяком случае, обязано служить государство — оставим высокие слова нашим ораторам, — служить тому, чтоб люди были людьми и жили по-человечески. *(Допивает бокал, ставит, вздыхает, машет рукой и закуривает еще сигарету.)*

Дорогой мой, единственная задача государства — чтобы люди жили по-человечески. Но чего это стоит, боже мой, чего же это стоит!.. Вы помните, что творилось еще десять лет назад? Безработица, бандитизм, нищета!.. Наркоманы, экстремисты, забастовки, демонстрации — отчаявшиеся люди требуют того, на что имеют право по одному уже рождению! У кого? У так называемых «правителей»... А что могут эти «правители»? Ну что они могут, я вас спрашиваю? Рабочих мест не хватает, энергии не хватает, сырья не хватает, валюты не хватает, квартир и больниц не хватает, и все увязано одно с другим! не пошевелить... Ну, какой вы, вот вы можете предложить выход? А? Да не бойтесь вы, господи, говорите, это откровенный разговор, вам ничего не грозит. Ну что: социальные перемены, революция, национализация, обобществление?

Тримушки-Трай *(нерешительно)*. Допустим...

Чиновник. Допускаю! Хорошо! Первое: все собственники, владельцы средств производства автоматически

становятся в ряды безработных. Чудно! Анархия в производстве, это второе. Резкий экономический кризис — три. Четыре — недовольны не только экспроприированные, но и потребители их продукта — продукт на время исчезает, а потребляют все. Подходит? Нет. Оставить их на местах с правами наемных менеджеров? Но что это даст? Деньги все равно в банках, недвижимость все равно в государстве. А угроза гражданской войны? А забастовки всех, всех частных предпринимателей? Военное положение, газовые гранаты, национальная гвардия — в ход, что ли? Зачем? чтоб вернуться к разбитому корыту? Нет, голубчик, экономист вы слабый. Ну, следующий способ?

Тримушки-Трай. Гм... Меньше потреблять... отказаться от ненужного в быту. Высвободится энергия, сырье, средства.

Чиновник. Прежде всего высвободятся рабочие руки, и государству придется кормить еще мириады безработных и их семьи. Резко нарушится оборот средств — люди будут меньше покупать. Вы призываете фактически к удешевлению рабочей силы — это антиисторично и антинаучно, я не говорю уж о гуманистическом аспекте. За тот же труд люди будут иметь меньше благ — это забастовки. Мы не получим высвобожденных средств на подъем экономики — мы прежде всего потеряем мощности и средства, разрушим государственный бюджет, не сведем концов с концами. Нет?

Тримушки-Трай. А временно... равномерно уменьшить производительность труда?

Чиновник *(ласково и устало, словно ребенку)*. Ну, сможем занять всех. Что имеем — поделим на всех. А чего не имеем — откуда возьмем? А нехватку во всем — ее тоже на всех поделим? Экономика-то тю-тю у нас... И подъема ее так не достичь никогда — наоборот, угробим навеки. Стать луддитами ратуете, что ли?.. Полная наивность...

Тримушки-Трай *(отрекаясь от своих проектов)*. Да. Разумеется. Государство сделало колоссальное дело. Мне не надо это доказывать. Я голосую на выборах.

Чиновник. Доказывать, к прискорбию, приходится даже неоспоримые истины. Да — государство сделало. Мы

сделали. Я вот, скромный, как говорится, винтик машины, вылечу завтра с инфарктом — через час заменят, но я говорю — мы. И — мы с вами, лично с вами — вместе.

Кстати — вы не могли не отметить, что ученики ваших последних лет толковее предыдущих, а?

Тримушки-Трай. Д-да... У меня есть такое... не впечатление, нет, они действительно более развиты и интеллектуальны.

Чиновник. Бесспорно. И все, или почти все они должны бы получить высшее образование и работать мозгами, а?

Тримушки-Трай. Я думаю так же.

Чиновник. Будьте уверены, так и произойдет. Они достойные ребята, и государство о них позаботится. *(Понижая голос.)* И вы тоже, сами, лично вы тоже должны о них позаботиться.

Тримушки-Трай *(понимая, что встреча подходит к тому, ради чего затеяна)*. Я думаю так же.

Чиновник *(прикасаясь к его руке, сердечно)*. Вы не могли ответить иначе. Поэтому мы и пригласили именно вас. Вас!..

Тримушки-Трай. Я должен что-либо делать?

Чиновник. Только то, что велит вам ваша совесть. А ваша совесть не может не велеть вам приносить максимальную пользу людям.

Тримушки-Трай. Как бы... Разумеется...

Чиновник. Открою вам секрет. Первый из секретов, который я вам открою. Да не пугайтесь, голубчик, неужели вы думаете, что я вас в стукачи вербую!.. Полноте.

Так вот. Мы несколько расторопнее и, смею надеяться, разумнее вашего Департамента обучения. Потому что уже год применяем ваши тесты. И при полном уважении к вам как к филологу и преподавателю сочту долгом присовокупить, что ваши способности психолога много и ценнее, и качественнее... я не нахожу подходящих слов, грубо льстить не хочу... но мы, как естественно предположить, используем сливки мировых достижений.

Тримушки-Трай. Я должен буду уйти из школы?

Ч и н о в н и к. Повторяю, вы должны будете делать только то, что повелит вам ваша совесть. Но мы были бы счастливы, — открываю карты сразу, — мы очень заинтересованы заполучить вас к себе. Транспорт и коттедж государственный, все льготы сотрудника нашего департамента, пенсионный возраст на пять лет ниже общего. Оклад — двадцать пять двести в год; четверть президентского и вдвое выше среднего. Дело — психология. Разработка, проверка и внедрение тестовых систем для социальной и профессиональной дифференциации. Будучи сам по образованию социологом, искренне заверяю, на основании полного комплекса данных вашей собственной биографии, что вы именно тот человек, какие нам крайне, подчеркиваю — крайне, видите, я ничего не скрываю от вас, — требуются.

Т р и м у ш к и - Т р а й. Когда ответ?

Ч и н о в н и к. Не торопитесь. Обдумайте спокойно. *(Снова наполняет бокалы.)* Вы ведь согласны, что долг каждого — максимально использовать свои способности на благо своего народа и всего человечества?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Безусловно.

Ч и н о в н и к. Значит, в принципе вы уже согласны. О нет, я на вас не давлю, упаси бог! Еще один момент: а как быть с преступником, которого невозможно перевоспитать? садистом? Ваше мнение?

Т р и м у ш к и - Т р а й *(с непониманием)*. Изолировать?..

Ч и н о в н и к. И пусть порядочные люди его кормят, одевают, сторожат?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Он должен трудиться. Принудительно.

Ч и н о в н и к. Обречь на рабство?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Воспитание личности созидательным трудом...

Ч и н о в н и к. Ага. Закатать лет на сорок каторги — и покойник осознает ошибки. Нет, вы определенно большой гуманист.

Т р и м у ш к и - Т р а й. Я не совсем понимаю... Но смертная казнь у нас запрещена законом...

Ч и н о в н и к. Вы соображаете: куда я гну? Хорошо. Еще вопрос: вы согласны, что назначение человека — не есть, пить, гадить, спать, развлекаться, а в первую очередь — оставить свой созидательный след на земле?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Разумеется...

Ч и н о в н и к. Не осудите, что с вами, образованным и талантливым человеком, я разговариваю прописными истинами. Они, знаете, так привычны, что по привычке опускаются, исчезают при рассуждениях.

Продолжаю: следовательно, долг каждого человека и гражданина не только созидать самому, но и всячески способствовать, чтоб так же жили другие, все?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Так.

Ч и н о в н и к. Так. Именно так. И если наркоман, сексуальный маньяк, киллер мафии, подонок потенциально способен построить прекрасное здание, или насадить благоухающий сад, или проложить дорогу через пустыню, — то наш долг реализовать эти его возможности на благо ему и нам?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Ну. Так. Конечно.

Ч и н о в н и к. Конечно. Вы слышали о теории Кайми-Отта?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Нет.

Ч и н о в н и к. А о Ван-Гоге, Шелли, Галуа вы слышали? Не обижайтесь... А знаете пословицу: «Избранники богов умирают рано»? Задумывались, конечно, — филолог — о тридцати годах, и тридцати шести-семи, и сорока — сорока двух? Масса примеров, да?

Ах, голубчик, все в слова играем. Человек приходит, чтобы уйти, и чем больше оставляет, тем меньше остается его собственного материального существования.

Легенды не лгут, голубчик. Сущность теории Кайми-Отта к тому и сводится. Я имею в виду легенды и сказки о превращениях. Дракон в принца и наоборот, глина в человека и наоборот... и важно тут, заметьте, н е з а к о л д о в а т ь, а р а с к о л д о в а т ь. В этом отличие злых волшебников от добрых. Из уродливой оболочки извлечь прекрасную истинную сущность. Уродливо же то, что не со-

ответствует тысячелетиями сложившимся представлениям о добре, пользе, красоте, справедливости. Разве не гуманно превратить уродливого садиста в то, чем он был предназначен стать на земле: в цветущий сад?

Тримушки-Трай *(поддаваясь его тону).* Да, да... если бы это было возможно...

Чиновник. И важно не ошибиться. Как важно не ошибиться, вы понимаете! Не использовать государственную печать для колки орехов. Не пускать броневую сталь на кастрюли, красное дерево на туалетную бумагу!

Тримушки-Трай. Да, да...

Чиновник. Вот в этом и будет заключаться ваша задача. Гуманнейшая, я бы сказал, задача.

Тримушки-Трай *(с недоумением, еще исключающим догадку; как проснувшийся человек).* Что?

Чиновник. Мы говорили с вами о кризисе, который пережила страна. О практической невозможности преодолеть его обычными средствами. О назначении человека. И обнаружили единство взглядов, не так ли?

Тримушки-Трай. Т-так...

Чиновник. Даже в экстазе наслаждения мы сокращаем наш век и приближаемся к смерти. Нельзя одновременно получать удовольствие от вкуса пирожка и его вида. Это я к тому, что *(резко перегнувшись через стол, глядя в глаза, жестко)* население наше несколько уменьшилось, вы обратили внимание, не правда ли?

Тримушки-Трай *(как бы в гипнотическом внушении машинально кивает).* Д-да... *(С выражением появляющегося ужаса.)* И... что же?..

Чиновник. Полноте, голубчик. Я с вами совершенно откровенен. Не притворяйтесь же и вы таким непонятливым. В сущности, раз уж вы побаиваетесь и стесняетесь себя самого, открою вам: не так уж это вас и волнует.

Тримушки-Трай. Вы хотите...

Чиновник. Помилуйте. Избавьте меня от формулы: «Вы хотите сказать этим, что... Боже мой! Этого не может быть!..» Будьте честнее. Интеллигент не должен быть фарисеем.

Тримушки-Трай. Я слушаю вас...

Чиновник *(наполняет его бокал коньяком, на сей раз не разбавляя).* Выпейте! Да! Мы — мы! — взяли на себя тягчайший груз ответственности! На себя! *(Нервно, с болью.)* Чтоб спасти всех... Достойных... Чтоб вы не подохли на помойке, а ваши ученики не выросли скотами. А ваши дети появились на свет... *(Закуривает. Доверительно.)* Наш отдел самый вредный из всех. Нервов, нервов... А платят столько же.

И перестаньте, я вас умоляю, делать лицо Христа, которому предлагают за три десятки избавиться в профилактических целях от Иуды. Вам это не идет.

Тримушки-Трай. Вы поймете меня... и извините... я отказываюсь.

Чиновник. И прежде чем петух пропоет, трижды... Слушайте, я перестану вас уважать, честное слово. Ну давайте рассудим трезво:

Первое. Подавляющее большинство людей у нас счастливо. Работа по душе, достаток, покой.

Второе. Счастливы не баловни судьбы, не жизнедеятельные приспособленцы, а — лучшие головы, порядочные, терпимые к ближним.

Третье. Преступности нет. То есть порядочные люди не рискуют погибнуть ни за понюх табаку, а другие порядочные люди не тратят жизнь на борьбу с мерзавцами.

Четвертое. Перенаселенности нет — даже вас никто не толкает на вашем тротуаре, верно?

Пятое. Сырьевой кризис, энергетический, нехватка средств на медицину, обучение — все это ликвидировано; царит экономическое процветание.

Шестое. Никчемные люди, отбросы породы гомо сапиенс, недостойные вообще дышать — воплотились непосредственно в материальные ценности. Без пота, заметьте, без унижений, без жестокостей и страданий — гарантирую вам. Да это честь для них!

Чего же вы еще можете желать?

Тримушки-Трай. Фашизм!..

Ч и н о в н и к. Не низводите себя до обывателя. Эта мания — наклеить ярлык и успокоиться...

Т р и м у ш к и - Т р а й. Кто осмелится присвоить право!..

Ч и н о в н и к *(саркастически, быстро).* Право спасти вас, заблудших баранов? А кто дал вам право получать свою капусту?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Люди, их судьбы...

Ч и н о в н и к *(поспешно перебивает).* Типичная ошибка, порочное заблуждение. Кто поведал вам, что такое — люди? Правомерно ли упорствовать в ереси, что мерзкий, преступный, жалкий, отталкивающий, гадкий человек — это истинная сущность материи, а хрустальный купол здания — не истинная? Вы ошибаетесь, и ошибаетесь наивно, Тримушки-Трай. Человек, ставший паровым катком, всегда был паровым катком. В с е г д а. Мы лишь возвращаем ему его исконную сущность. Понимаете?

Ну, какой упрек еще вы мне предъявите? Справедливость?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Справедливость.

Ч и н о в н и к. А справедливо ли, что гений живет в дерьме и очень недолго, самым коротким и прямым из известных ему способов превращая себя в шедевры, коими насладятся сытые?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Это его — высшая! — форма существования.

Ч и н о в н и к. А мы даем такую — высшую! — форму существования — каждому! Почему вы хотите лишить их удела избранных? Вы не впадаете в элитарность, а, демократ?..

Т р и м у ш к и - Т р а й. Гений избирает сам!

Ч и н о в н и к. А мы помогаем слабому! Он служит людям — на века: вот высший смысл. А от нас с вами останется пшик. Так что его удел даже и выше.

Т р и м у ш к и - Т р а й. Я отказываюсь.

Ч и н о в н и к. По вашей вине человек, предназначенный природой стать белоснежной надстройкой лайнера, может превратиться в зеркало для бара. Ведь ваша задача, господин учитель, — определять, кто чего стоит.

Кроме того — подумайте о собственном назначении. О полной реализации всех заложенных в вас возможностей. Ведь чем полнее напрягает человек все свои способности — тем в большей степени он именно живет, а не прозябает. Стремление к самоутверждению, жажда самореализации, долг перед обществом велят нам жить в максимальном напряжении сил, делать самое большее, на что мы годимся.

Т р и м у ш к и - Т р а й. Мне неловко вас задерживать и утомлять, но я отказываюсь.

Ч и н о в н и к *(с презрительно-насмешливыми нотками).* А вы не знаете, отчего не задумывались раньше, куда деваются люди и откуда берется все? Может, у нас завелся гаммельнский крысолов, а вместо дудочки у него рог изобилия, мм?.. Да, у нас институты слухов, отвлекающая информация, контроль утечек, в ы б о р к а по кустам с учетом сфер связей и знакомств, но ведь имеющий глаза да разует их, коллега! В а м б ы л о п л е в а т ь н а в с е х! Вы общались с семьей и коллегами по школе — это один слой, нужный, мы здесь не трогали, — прочие вас не волновали. А вы не допускаете, что в глубине души подозревали нечто подобное, мм? Но ваше сознание не желало дискомфорта, и эта скверная мысль туда просто не допускалась: так швейцар отгоняет от дверей ресторана шокирующего вида бродягу.

Оставьте же хоть сейчас лицемерие. Отдайте себе отчет в том, что ваш услужливый и изощренный интеллигентский разум подает наверх именно то, что требуется психоморально-интеллектуальной структуре вашей личности для нормального функционирования. Станьте честны! И сумейте сохранить верность себе, увидев все вещи в их нагой сути, не зависящей от вашего эгоистичного стремления сохранить добродетель в собственных глазах. Вот тогда я, может быть, стану уважать вас по-настоящему.

Т р и м у ш к и - Т р а й. Всю жизнь я учил детей честности и добру...

Ч и н о в н и к *(перебивает).* Кстати, не забудьте о собственных детях. Где гарантия, что они станут интеллекту-

алами? А для своих всегда случаются послабления, все на свете, знаете, люди...

Тримушки-Трай. Кто знает, пока они вырастут... И потом, они у меня умные ребята... Нет.

Чиновник *(вытягивает из нагрудного кармана своего клетчатого пиджака свежий белый платочек и с некоторой аффектацией вытирает лоб. Лоб бледный, как и все лицо, в частых мелких морщинках).* Вы меня утомили.

Тримушки-Трай *(тоже вытирается. Ворот его голубой сорочки промок).* Боюсь, что мы не договоримся.

Чиновник. Не бойтесь. Ничего не бойтесь. Будьте мужчиной. Потому что, судя по вашему тупому упорству, через час вы выедете из ворот малоприметного здания в трех кварталах отсюда в виде чего-нибудь вроде дюжины унитазов. Сомневаюсь, чтобы вы, как истый яйцеголовый, годились на что-либо лучшее.

Пауза. Видно, что Тримушки-Трай взвешивает все в последний раз. Выглядит он явно измученным. Судя по выражению лица, он уже в значительной мере утратил способность соображать. Принимает вид совершенно отрешенный.

Тримушки-Трай. Нет.

Чиновник *(извиняющимся тоном).* Разумеется, вы понимаете, что лично я испытываю к вам, к вашей стойкости только симпатию — при всем моем сожалении о вашей непонятливости, — но и при вашей непонятливости вы понимаете, что мы не можем, не должны, не имеем морального права выпустить вас с той информацией, которую вы получили.

Тримушки-Трай. Пусть... Другие и так поймут, в конце концов.

Чиновник. Вы не иначе как считаете, что здесь дураки собрались, коллега. Нет — не поймут. Тем, кто поймет, мы предложим работать с нами. Одни начнут работать с нами, другие — на нас, с позволения выразиться. Помимо этого, мы уже ввели психологический отбор —

убеждаетесь на себе; тесты ваши небезынтересны, но без вас лично мы благополучно управимся; к тому же завершается программа исследований по введению отбора генетического. Далее — мы уже почти привели уровень населения к оптимуму, а при дальнейшем наращивании экономики и вовсе, вполне вероятно, отойдем от современного метода. Временные, так сказать, и экстренные меры.

Ладно. *(Дружески подмигивая.)* Помогу вам завершить эту маленькую сделку с вашей маленькой нездоровой совестью. Знаете, что делает разумный человек, если совесть у него захромала? Покупает ей костыль, голубчик. Хотя вы и так уже, в сущности, согласны, но — стесняетесь. Будь по-вашему. Ультима рацио.

Кряхтя, открывает в панели рядом с баром экран телевизора. Включает. Появляется изображение жены Тримушки-Трая, кормящей детей: двухлетний сын увертывается от ложки с кашей, дочка смотрит осуждающе.

Еще Цезарь поучал — води дело с людьми семейными, они покладисты. Обязан ли я пояснять, что унитазов получится не одна дюжина, а четыре? или три с мелочью — это вне моей компетенции. Тихо! Тихо! Ну?! Работаете? Да — нет, времени не даю. Все! Нет?

Тримушки-Трай. Да.

Чиновник. Без десяти двенадцать. Мы с вами хорошо управились. На десять минут прежде срока. Выпейте еще, коллега, не переживайте — коньяк казенный. А работа вам понравится, я уверен. Возможности у нас неограниченные. База, аппаратура — это ж сказка. Мечта любого ученого.

Что же до ваших переживаний — голубчик, с непривычки новое дело часто слегка пугает. Пустое. Привыкнете, увлечетесь. Везде своя специфика. Люди переходят в вещи, дела — это же закон природы. Учитывая законы, помогать им, направлять, использовать, — естественное дело и право человека.

Кстати, а кто были те двое, вы знаете? Не догадались? Нет? М-да... А я знаю. И они, я думаю, тоже все знают... Такая работа.

Возвращается за свой огромный полированный стол, садится спиной к окну, так что против света виден только его силуэт на фоне ярко голубеющего неба — утро было хмурое, а сейчас распогодилось. Щелкает тумблером селектора.

Дежурный? Четыреста седьмая. Двое за мной. Результаты?

Селектор. Документов нет. По редакциям не значатся. По центральному справочному не значатся. По дактилоскопии не значатся. Допрос неадекватен. Дан запрос на психиатрическую экспертизу.

Чиновник *(тихо и даже с некоторой грустью)*. Запрос отменить. Акт по форме два-девятнадцать. Текущим транспортом в утилизацию. Накладную к отчетности. Рапорт в общем порядке.

Селектор. Есть. *(Щелкнув, отключается.)*

Чиновник. Вот такие пирожки, голубчик. Ну, давайте ваш пропуск, поставлю печать. Топайте себе домой, успокойте жену. Трейлер придет в среду, в девять утра. Переберетесь в наш городок — это пятнадцать миль от города, побережье, закрытая зона — рай. Четыре дня на устройство, в понедельник в восемь пятьдесят звоните по тому же телефону.

Порадую напоследок: вероятно, в будущем вам предстоит работать над интереснейшей и благороднейшей задачей, которая должна прийтись вашей филологической душе вполне по вкусу. Поскольку ряд авторитетов считает в принципе малогуманным сокращать срок существования материи в форме гомо сапиенс, наделенной сознанием гомо сапиенс, то в перспективе перед нами вырисовывается задача обеспечить этому сознанию полнометражную, так сказать, жизнь, независимо от реального времени. Пусть себе субъективно проживут за пять минут транспортировки хоть Мафусаилов век и семь сундуков при-

ключений. А время — хм... ученые так и не выяснили, что это такое... кто знает... Для самих-то себя они явятся полноценными долгожителями, так что им грех жаловаться. Поскольку реальность дана нам в наших ощущениях, верно? мм? — или вы не придерживаетесь этого тезиса? — то для них реальность будет поистине восхитительна. Ну, разве не благородная задача?

Тримушки-Трай *(забирает отмеченный пропуск, направляется к дверям, уже у порога задумывается на секунду и, обернувшись, спрашивает с мстительным интересом)*. Послушайте, коллега, а вы не думаете, что эта задача уже решена?

Чиновник *(с искренним профессиональным интересом, но недоверчиво и слегка не понимая)*. То есть?

Тримушки-Трай. Что реально-то мы с вами находимся сейчас уже в транспортировке, превращаемся в унитазы и хрустальные здания? А это — так... гипноз... наше субъективное представление.

Чиновник *(раздраженно)*. В свободное время я с удовольствием побеседую с вами о Шопенгауэре и прочем. В садике, вечером. За коктейлем.

Тримушки-Трай. А все же?

Чиновник. К сожалению, мы не располагаем более временем. Работа есть работа. Честь имею кланяться.

КНОПКА

Кнопкой его прозвали еще с первого класса. Пришел такой маленький, аккуратненький, в очках и нос кнопкой. Посадили его за первую парту, перед учительским столом, да так мы все десять лет и видели впереди на уроках его аккуратно постриженный затылок и уши с дужками очков. Левое ухо у него было чуть выше правого, очки держались косовато, он их поправлял.

К нему в классе в общем ничего относились. Учился он неплохо, списывать давал всегда. Он покладистый был, Кнопка, безвредный. И не ябедничал, — даже когда в третьем классе Юрка Малинин его портфель в проезжающий грузовик закинул.

На физкультуре он стоял самый последний. Недолюбливал ее Кнопка и побаивался, ко всеобщему веселью. Пятиклассником он через козла никак не мог перепрыгнуть; и позже не удавалось. А играли мы в футбол или баскет, он шел в качестве нагрузки, друг другу спихивали. Но обычно мы его судить ставили, это и его и нас вполне устраивало. Судить Кнопке нравилось, добросовестный был судья, невзирая на риск иногда схлопотать. Правда, тут его в обиду не давали. А после игры он всем с ответственным видом раздавал полученные на хранение часы и авторучки. Или купаться пойдем, побросаем барахло, а Кнопка лежит рядом и переворачивается на солнце через научно обоснованные промежутки времени, сигареты нам достает сухими руками и время говорит.

Если в классе начинали деньги собирать, — девчонкам на подарки к 8 Марта, на складчину там, на учебники, — сдавай Кнопке. Ему определили постоянную общественную нагрузку — казначей, и относился он к ней со всей серьезностью, специальный кошелек завел с тремя отделениями: одно для мелочи, другое для бумажек, а в третьем держал список — кто, когда и сколько сдал. Как в сберкассе.

Однажды Толька Кравцов подобрал на улице щенка и принес домой. Ну, ему мамаша, конечно, показала щенка. И Толька со щенком отправился к Кнопке.

— Выручай, — говорит, — Кнопка, друг, пока я ее уломаю.

Он ее месяц уламывал. А щенок этот месяц жил у Кнопки; что немало способствовало репутации последнего. Не так-то, знаете ли, просто. В конце концов Кравцов выиграл свою гражданскую войну рядом сильных ударов: он исправил двойку по алгебре, записался в кружок друзей природы, натравил классную прийти к нему домой и провести беседу о воспитательном значении животных в семье и пригрозил матери поставить на педсовете вопрос о лишении ее родительских прав. Щенок в целости вернулся к хозяину и через год вымахал в псину величиной с мотоцикл. И уезжая летом в пионерский лагерь или с родителями в отпуск, Кравцов по-прежнему со спокойной душой оставлял его Кнопке.

Еще Кнопка умел хранить тайны. Могила! Их доверяли ему, не рассчитывая на собственную выдержку; знали: Кнопка не выдаст. Интересно представить себе кое-чьи судьбы, просочись скрываемые сведения. Кнопка надежно упрятывал излишки информации, которые, выйдя наружу, как раз могли дополнить уже известное до критической массы.

Да и не только излишки — на наш взгляд. Но — хозяин барин. Мы ему стали иногда и выученные параграфы сдавать. Осознаешь — и сдаешь, а то вылетит из головы до следующего урока; или в случае контрольной, например. А отличник Леня Маркин, такой ушлый парнишка, так тот приспособился вообще все Кнопке сдавать: на перемене позубрит, побормочет под нос, прикрыв учебник — и Кнопке. И не подскажет никогда ничего, паразит. «Ты же знаешь, — занудит, — у меня же нет при себе ничего...» А идет отвечать, — хвать — и блещет. Русаня его все в пример ставила. «Вот, — говорит, — как может любой развить свою память, если регулярно заниматься и с первого класса учить стихи». А при чем тут память, когда все-таки совесть иметь надо.

Когда Юрку Малинина повлекли на педсовет за электрический стул (под сиденье учительского стула он привернул батарею БАС-80 и вывел полюса на шляпки гвоздей), он, посображав, оставил-ка у Кнопки на всякий случай задиристость, и грубость тоже.

— Вернее будет, — решил. — Ведь ляпну им неласково — точно в специнтернат переведут. И карты пока у себя подержи.

Кое-кто замер. Заговор созрел.

— Кнопка, — уговаривают вполголоса и на дверь оглядываются, — ты б выкинул это куда-нибудь, а? Ну сам посуди — какой прок-то? Доброе дело сделаешь!..

Кнопка подумал, очки поправил и отвечает рассудительно:

— Во-первых, сами понимаете, что Юрка может тогда устроить. Во-вторых, вдруг все равно отыщет. В-третьих, ну как он взамен раздобудет такое, что только хуже станет? В-четвертых, — и он вздохнул не без горделивости, — не могу: взял — значит, отдам. Иначе нельзя. Иначе представляете, до чего может зайти?..

От него отступились разочарованные, и со смутным уважением.

Насели на Юрку. Много благ сулили и объясняли выгоду. Юрка удивлялся, фордыбачил, набивал цену. Его соблазнили авторучкой с голыми картинками.

— Ладно, — снизошел. — Но ненадолго, посмотрим пока.

Смотрели два дня. Ощутимый результат. «Стрессовый уровень обстановки резко упал», — выразилась по этому поводу староста Долматова. На третий день Юрка пришел с фингалом и прихрамывая и потребовал все обратно.

— Пацаны на микрорайоне уважать перестали, — процедил нехотя на тактичные расспросы. — Ничего, сегодня у них будет вторая серия. Курская дуга, — и сплюнул.

...И был май, и листва за открытыми окнами, когда в понедельник перед химией (в девятом классе уже) Нинка Санеева подошла в коридоре и посмотрела Кнопке в глаза. Была у нее эта глупая привычка уставиться на тебя ни с того ни с сего, а потом отвести взгляд с высокомерным выражением.

— Кнопка, — говорит, — мне надо с тобой серьезно поговорить. Очень серьезно, — а сама все смотрит.

Кнопка кивнул, стараясь держаться уверенней. Нинка — Нинка идет по улице и несет на себе взгляды, как... как сорванные финишные ленточки. И соответственно манеры у нее свободные и характер неуправляемый.

Он пришел к углу возле универмага раньше времени, в выходных брюках, с ненужными свежим носовым платком и сигаретами в кармане. Нинке полагалось опоздать, и она опоздала; но он нервничал.

Отойдя, они сели на скамейку в скверике, и Нинка взяла его за руку, и его сердце пропустило удар.

— Кнопка, — спросила она, — ты мне друг?

— Друг, — сказал Кнопка, неловко сидя, стараясь не смотреть на руку.

— Ты мне должен очень помочь, — сказала она, и Кнопка заскользил убыстряя в реальность, как на салазках с горы.

Нинка понизила голос:

— Тебе можно доверить самое главное?..

— Что? — спросил Кнопка, хотя он уже знал.

— Нет, ты сначала скажи!

— Можно, — дал он согласие с тяжелым сердцем.

— Вот... — сказала она с грустью...

— А зачем? — спросил он.

— Понимаешь... есть один человек... Я его люблю. На всю жизнь. А он не стоит этого. Он... он не любит меня и никогда, наверное, не полюбит. Вот и все. А я... иначе я боюсь наделать глупостей... И вообще...

— А может, — сказал Кнопка, сосредоточенно считая и сбиваясь, белые астры на клумбе, — ты уж лучше совсем... ее...

— А вдруг он меня когда-нибудь все-таки полюбит? Или меня полюбит другой, хороший человек? Выйду замуж и тоже буду его любить, понимаешь? А сейчас... не желаю я мучаться и унижаться... И... я не хочу потратить свою любовь так бездарно.

— Эх, — сказал Кнопка. Подумал, что надо вынуть руку из ее, но не стал: все равно сейчас расходиться.

— А ты сумеешь сохранить?

— Я сумею, — сказал он. — У нас как в сберкассе.

Нинка после этого всем видом демонстрировала некую умудренность и значительность; можно подумать, прибавилось у нее чего.

На выпускных экзаменах, конечно, Кнопка использовался на полную нагрузку. Помог здорово. К его услугам не прибег один Никита Осоцкий. Не то чтобы из гордости или желания выделиться — просто Никита такой удачный экземпляр человека, у которого и так все ладится, без всякого видимого напряжения, будто само собой. Ничем его природа не обделила, ни по форме, ни по содержанию. Его любили и ребята, и учителя — случай редкий. Мне б его данные. Я бы на его месте тоже своими силами обошелся. А может, и нет. Чего зря рисковать, если можно подстраховаться.

Уже поступив в институты, мы забрали у Кнопки свои волнения. Жаль, но ничего не поделаешь, — тридцать-то человек! тут, знаете, и дом мог рухнуть, не выдержав.

Кстати, о доме: Кнопка переехал в новый район, на окраину без телефона, и по пустякам его просить перестали — добираться черт-те куда, и еще неизвестно, застанешь ли. Зато каждый год в первую субботу октября собирались у него отмечать годовщину окончания: трехкомнатная квартира, а родители уезжали к знакомым за город.

В позапрошлом году мы на этой встрече здорово надрались и чуть не устроили путаницу из Кнопкиной камеры хранения. Слава богу, разобрались. А то могли бы те еще накладочки получиться. Хотя не исключено, что кое-кто в этом был заинтересован.

Между письменным столом и батареей у Кнопки стоит мой вкус к жизни. Я свез его туда через месяц после поступления в аспирантуру. Иначе серьезно работать невозможно. На отпуск только беру. Ничего, еще будет время пожить в свое удовольствие.

Там же лежит мое желание выпить. Жена в свое время заставила: «Оно или я». И все равно через полгода мы развелись.

Всю эту неделю я сидел в лаборатории до десяти вечера, нажил бессонницу, в субботу шел дождь, простудился вдобавок, взял бутылку водки, — а пить никакого желания. Поколебался я и поехал к Кнопке.

Сошел я с 59-го автобуса на Загребском бульваре, нашел, как принято путаясь, его дом 5, корпус 3, звоню. Открывает он дверь, в байковой курточке, лицо усталое. Он вообще быстро стареет, Кнопка.

— Заходи, — радуется.

— Простыл я, — извиняюсь. — Давай, Кнопка, выпьем, что ли.

— А, — понимает. — Пошли в мою комнату, сейчас.

Накрыл он на стол по-быстрому. Мать его нам винегрет принесла, помидорки соленые.

— Что ж, — сетует, — редко заглядываете? Все по делу да на минутку...

Неловко даже как-то стало. Тем более, что я и сейчас, собственно, по делу — если это можно делом, правда, назвать.

Себе Кнопка томатный сок налил в рюмку. Не хочет пить.

— Он же у нас вегетарианец, — вздыхает мать. — Не пьет, не ест. Для здоровья, говорит, мол, полезно. А чего полезного, вон на кого похож.

Кнопка сделал умоляющий жест.

— Иду, иду... Сидите себе.

— Слушай, — предлагаю, — может, давай, а?.. моего желания, знаешь, и на двоих хватит.

— Не в том дело.

Ни в какую. Ладно. Посидели мы с ним. Уютно у него в комнате, чистенько так. Поговорили о том о сем, — он инженером в ЦНТИ Облтранса работает.

— Сколько, — спрашиваю, — сейчас получаешь?

— Сто тридцать с прогрессом.

— Слушай, — не выдерживаю, — Кнопка, ну, выпить ладно, но у тебя столько здесь без дела лежит, неужели самому не хотелось когда воспользоваться? Что сделать-то можно!

Он улыбается мне снисходительно и головой качает.

— Как ты не понимаешь, — объясняет. — Это как ключи от французских замков — каждому только свое подходит. Уж кроме того, что непорядочно.

— Да попробовать?

— Помнишь, — вздыхает, — Светку Горячеву? Вот она ко мне в прошлом году мужа привела. Он, говорит, такой способный молодой ученый (биолог он), но уж очень робкий, застенчивый, все затирают его. Нельзя ли, мол, напористости ему, нахальства даже, хоть ненадолго? Просила так, ревела — жизнь ломается, для пользы надо... Дал ему нахальство одно — на неделю...

— Ну?

— За эту неделю его выгнали с работы. Чего-нибудь в этом роде следовало ожидать. Человек-то прежний, и вдруг появляется в нем нечто ранее не присущее. Людям это, знаешь, не нравится.

Развезло меня немного. Сижу, смотрю на него, бедолагу, кассира при чужих деньгах. Он взгляд перехватил:

— Зря так смотришь, — говорит тихо... — Жизнь моя хорошая.

Смешался я.

— Жениться не думаешь? — брякнул.

— Да нет пока.

— А Нинка как живет? — Сам тут же пожалел, что у меня выскочило.

— Да так, — говорит. — Недавно опять любовь свою взяла. У нее ненадолго, — добавил.

Я представил себе стерву-Нинку с ее неснашиваемой любовью, и зло взяло.

— Кстати, ты учти, — говорит Кнопка, — кое-что ведь от хранения портится. Уж я слежу, как могу... Мне вот Леня Маркин одну идею сдал; шеф сейчас другое гнать заставляет, некогда, и вообще, говорит, не время; а отдать кому-нибудь он не хочет, жалко. А она довольно-таки скоропортящаяся, мать уже жалуется на запах, хотя я ее на балконе держу.

Подозреваю, что его мать прислушивалась к нашему разговору, потому что при этих словах она вошла с чайником и принялась мне жаловаться на бессовестных друзей своего сына.

— Ведь что ж такое, — сетует, убирая грязные тарелки и ставя чашки, — вся квартира завалена, ступить прямо некуда. Ну, не надо чего — распорядись как-то... Не склад...

Мы стали молча пить чай. После водки горячий чай обжигал горло.

— Знаешь, — сказал Кнопка, — я недавно был в гостях у Никиты Осоцкого. У него сын родился. Думали, как назвать.

Это явилось для меня новостью — что Кнопка ходит к Осоцкому в гости да еще думает, как назвать его сына. Осоцкий, вопреки ожиданиям, карьеры не сделал, жил тихо и встреч уклонялся.

— Я у него себя как дома чувствую, — продолжал тихо Кнопка. — Знаешь, есть в нем что-то особенное, славное такое.

Мне сделалось окончательно неловко и скверно. Невысказанное им было справедливо. Ясно, как к нему все относились. Пренебрежение — оно всегда чувствуется. И вдобавок — была ведь какая-то даже неприязнь: то ли от того, что он какой-то не такой, как мы, то ли от того, что, по совести, он многих в жизни крепко выручал, а отблагодарить вечно руки не доходили, знали — он и так не откажет, и оставалось какое-то смутное раздражение, по закону психологии переключенное на объект, с этим раздражением связанный.

— Мы, знаешь, о чем с ним еще думали? — поднял глаза Кнопка. — Тем летом Володя Алтунин утонул, помнишь... А у меня полкладовки осталось: там горячность его, наивность, принципиальность там, прочее... Он же до двадцати семи нигде не уживался, — после этого в гору пошел. Замначальника КБ был уже...

— Хотел бы я знать, — задумчиво проговорил он, — что мне придется с этим всем когда-нибудь делать?..

— Дьявол, — сказал я, — неужели нельзя как-то приспособить все для пользования? все же передавать, а?

— Откровенно говоря, я думал... не выходит. Да и здесь — ненужное.

— Кому и нужное.

Мы просидели с ним до двух ночи, строя планы один фантастичнее другого.

ПЛАНОВОЕ СЧАСТЬЕ

(из протокола)

Директор. ...успешно освоили. Валовой выпуск счастья на ноль один процента выше планового. Улучшен и ряд качественных показателей. Снизилось количество случаев возврата и рекламаций. Счастьем нашего комбината обеспечено на четыре процента населения больше, чем в соответствующем квартале прошлого года.

Но наряду с достижениями имеются еще и недостатки. Все еще мало нашего счастья идет высшим и первым сортом. Медленнее, чем хотелось бы, внедряются новые образцы. По-прежнему отстает и портит общую картину шестой цех.

Начальник шестого цеха. А как можно вообще давать счастье на этом оборудовании? Нам нужна новая поточная линия! Наши станки вообще не рассчитаны на то счастье, которое сейчас выпускается! Пусть нам дадут облегченные образцы! Или прежние!..

Директор. Почему другие справляются? Четвертый цех? Мы должны выпускать то счастье, которое от нас требуется, на том оборудовании, которое мы имеем.

Начальник ОТК. Должен довести, что упомянутый четвертый цех в последний месяц, вопреки инструкциям, опять занимался штурмовщиной, результатом чего явилось сорок процентов забракованного счастья.

Представитель главка. Мы же пересмотрели вам стандарты!

Главный инженер. Да, и благодаря этому мы смогли половину брака пустить счастьем третьего сорта. Остальной же брак передали цеху ширпотреба для изготовления несчастья.

Начальник цеха ширпотреба. Благодаря бесперебойному снабжению и организации производства мы дали в этом квартале восемьдесят процентов несчастья сверх плана, при сохранении хорошего и отличного качества, и сейчас работаем в счет будущего года.

Представитель торга. Чтобы сбыть ваше несчастье, мы комплектуем подарочные наборы с кофе, коньяком, тресковой печенью и вашим несчастьем, перевязанным ленточкой! На него нет спроса!

Представитель главка. Странно... Плохо поставлена реклама! Разбаловались... Наша задача — делать счастье, ваша — сбыть его.

Активный из зала. А нельзя давать его бесплатно? В приложение? Или как премии постоянным покупателям?

Начальник коммерческой службы. Идя навстречу потребителю, мы и так снизили цены на наше несчастье — ниже некуда. Сейчас оно — одно из самых дешевых.

Начальник КТБ. Для изучения спроса населения на счастье, а также несчастье уже создается специальная лаборатория, которая поможет нам на научных основах максимально подойти к удовлетворению запросов. Также мы сейчас разрабатываем около двадцати новых современных образцов счастья, которые будут скоро запущены в серийное производство.

Главный технолог. Конструкторы опять мудрят со счастьем. А проектируя серийное счастье, его надо предельно упрощать. Мы должны снижать его себестоимость. Нам требуется счастье, технологически несложное в исполнении. С учетом трудоемкости, занятых рук и реального сырья. С сырьем трудности, перебои, от снабженцев такое порой получаем, что даже счастье третьего сорта еле выкраиваем.

Начальник снабжения. Вы хотите мне инфаркт? Я из себя вам делать счастье не могу! И из ничего тоже не могу! Вы и так имеете от меня то, чего нигде нет. Скажите, где лежит сырье для счастья высшего сорта, я поеду и завтра привезу! Не нравится то, что получаете — доставайте себе материал для счастья сами!

Представитель торга. И достают у спекулянтов! Пока ваше счастье до нас дойдет, оно морально устаревает! Пока выставочный образец станет серийным, его

так упростят и из такого сделают, что потребитель от вашего счастья шарахается — за несчастье принимает. И все второй и третий сорт. И то приходит — лежалое, битое, порченое — как из-под трактора! И все стараются обзаводиться импортным!..

Активный из зала. А как его достают?..

Начальник складских помещений. У нас не хватает складов для счастья! Те, что есть — в аварийном состоянии! На готовое счастье капает, льет сквозь крыши, оно портится и гибнет, его негде хранить, оно валяется тюками в лужах! Чтобы счастье сохранялось в нормальном состоянии, надо выделять средства на хранение!

Начальник транспортной службы. И на транспортировку! Тары нет или она слабая, грузчики кантуют счастье при доставке, и оно доходит до потребителя в непотребном виде!

Начальник охраны. У меня претензии к транспортной службе. Охрана снова обнаружила в грузовиках незаприходованное по накладным счастье, которое водители пытались вывезти под сиденьями, а также в запасных скатах, бензобаках и под капотом. Также вахтеры на проходной извлекают счастье у расхитителей государственной собственности из сумок и портфелей, а некоторые несут на спине или под неудобными принадлежностями туалета. Чтоб не расхищали, надо пресечь, и увеличить охрану и вахтеров, а также ремонт проходных.

Представитель главка. А вы говорите — нет спроса.

Активный из зала. Так дефицит же!..

НЕДОРОГИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

ВСЕ УЛАДИТСЯ

Понедельник — день тяжелый, уж это точно. Но вторник выдался и того почище: Чижикова выперли с работы. Дело так было.

В понедельник с утра Чижиков успел поскандалить с женой, изнервничался, и когда пришел к себе в музей, все у него из рук валилось.

Значился Чижиков в шефском отделе по работе с селом, занимался координацией этой самой работы. В обязанности его входило договариваться с начальством других музеев об организации выездных экспозиций, с директорами совхозов — о размещении работников и экспонатов, с секретарями райкомов — о подстраховке директоров и с автобазой — о предоставлении транспорта. Собственно, весь отдел и состоял-то из него одного.

Поездки эти устраивались где-то раз в месяц, так что работы было немного, но и оклад у Чижикова был маленький, и он подрабатывал на полставочки экскурсоводом, водил группы по Петропавловской крепости. Жить-то надо.

Кстати, экскурсоводом он был хорошим. Вдохновлялся, трагические ноты в голосе появлялись, даже осанка

становилась какая-то элегантная и значительная. Нравилось такое занятие Чижикову; слушали его с интересом и жадно, что нечасто случается, и писали регулярно благодарности в книгу отзывов.

Так вот, значит, в тот злополучный понедельник все у Чижикова не ладилось. У него, правда, всегда все не ладилось. У директора совхоза вымерзли озимые, и было ему не до Чижикова, в райкоме все уехали на какое-то выездное бюро, прижимистые музеи экспонатов не давали, в трубке все время идиотски переспрашивали: «Что за Чижиков?» — трубка эта чертова телефонная аж плавилась у него в руке, и голос осип.

Но в конце концов удалось Чижикову все организовать, и так он этому обрадовался, совершенно измученный и потный весь, — что забыл позвонить на автобазу. Просто напрочь забыл. Ну и, естественно, все приготовились — а ехать и не на чем. Кошмар! Ну и, естественно, вызвал Чижикова директор на ковер. И наладил ему маленькое Ватерлоо.

— Я вас выгоню в шею! В три шеи!! — утеряв остатки терпения, орал директор. — Сколько же можно срывать к чертям собачьим работу и мотать людям нервы! Когда прекратятся ваши диверсии? — Негодование его стало непереносимым, он взвизгнул и топнул ногами по паркету.

Смешливый Чижиков не удержался и хрюкнул.

— Вот-вот, — устало сказал директор и опустился в кресло. — Посмейся надо мной, старым дураком. Другой бы тебя давно выгнал.

— Петр Алексеевич... — умоляюще пробормотал Чижиков.

— Работникам выписаны командировочные, директор совхоза собирает людей в клубе, секретарь райкома обеспечивает нормальное проведение мероприятия — а Кеша Чижиков забыл договориться с автобазой об автобусе. В который раз?

— Во второй, — прошептал Чижиков, переминаясь на широкой ковровой дорожке.

— А кто перехватил внизу и выгнал делегацию, которую мы ждали?

Чижиков взмок.

— Я думал, это посторонние, — скорбно сказал он.

— Кеша, — непреклонно сказал директор, — знаешь, с меня хватит. Давай по собственному желанию, а?

Чижиков упорно рассматривал свои остроносые немодные туфли.

— А кто обругал Пальцева? — упал тяжкий довод. — Это ж надо допереть — пенсионер республиканского значения, комсомолец восемнадцатого года, с Юденичем воевал!

— Ох!..

— Не мед характер у старика, — согласился директор. — Но он же помочь тебе хотел. А ты с ним — матом. Он — жалобу, мне — замечание сверху!..

— Я ведь извинялся, — взмолился Чижиков.

— А кто выкинул картотеку отдела истории пионерского движения? Алик ее четыре года собирал!

— Ремонт был, беспорядок, вы же знаете, — безнадежно сник Чижиков. — Глафира Семеновна распорядилась убрать лишнее, показала на угол — а я не разобрался.

— Вот тебе две недели, — приняв решение и успокаиваясь окончательно, резюмировал директор. — Оглядись, подыщи себе место, а к концу дня принесешь мне заявление об уходе.

— Петр Алексеевич, — Чижиков прижал руки к галстуку, — Петр Алексеевич, я больше не буду.

— Кеша, — ласково поинтересовался директор, — у кого на экскурсии в Петропавловке школьник свалился со стены, чудом не свернув себе шеи?

...За окном была Нева, здание Академии художеств на том берегу, почти неразличимый отсюда памятник Крузенштерну.

— Голубчик, — сказал директор. — Мне, конечно, будет без тебя не так интересно. Но я потерплю. Оставь ты, Христа-бога ради, меня и мой музей в покое.

Чижиков махнул рукой и пошел к дверям.

Исполнилось ему недавно тридцать шесть лет, был он худ, мал ростом и сутуловат. Давно привык к тому, что все называют его на «ты», к своему несерьезному имени и фамилии, которые когда-то так раздражали его, привык к вечному своему невезению, к выговорам, безденежью, к тому, что друзья забыли о нем.

Он не стал дожидаться конца дня, написал заявление, молча оставил его в отделе кадров, натянул пальтишко и вышел на улицу.

Ревели в едучем дыму «МАЗы» и «Татры» на площади Труда. Чижиков медленно брел по талому снегу бульвара Профсоюзов, курил «Аврору», вздыхал, пожимал на ходу плечами.

В «Баррикаде» он взял за двадцать пять копеек билет на новый польский фильм «Анатомия любви». Подруги жены фильм усиленно хвалили, но возвращалась жена с работы поздно, и все было никак не выбраться в кино.

Фильм Чижикову не понравился. Актрисы все были милые и долгоногие, главный герой крепколицый и совестливый, они увлеченно работали, модно одевались, жили в просторных квартирах, и какого лешего они при этом дергались и закатывали сцены, оставалось совершенно неясным.

Потом он отправился в Русский музей. На выставке современных художников увидел он замечательную картину: в тайге, на опушке, стоит маленький бревенчатый дом, струится дымок над крышей, рядом бежит прозрачный ручей, и треугольник каких-то птиц — гусей, наверное, — или лебедей? — тянется на закат. Картина Чижикову понравилась чрезвычайно. Он долго стоял перед ней, все вздыхал; ему представлялось, как хорошо было бы жить далеко в лесу, в такой избушке, топить печку, подкладывая поленья в дружелюбный огонь. Он купил бы себе двустволку и ходил на охоту, стрелял бы тетеревов на полянах, а может быть, и оленей. Зимой можно кататься на лыжах, а летом купаться в ручье, ловить рыбу, собирать ягоды и лежать в щекочущей траве, смотреть, как плывут в небе косяки птиц из знойной далекой Африки в северную тундру.

— Сколько можно говорить, что музей закрыт!

— Что?!

— Закрыт музей! — закричала смотрительница и замахала руками. — Идите, пожалуйста, на выход, русским языком вам сколько уже долдоню!

Чижиков подумал, что надо идти домой, и на душе у него стало плохо.

Стемнело уже, на тротуарах стояли грязные талые лужи, туфли у Чижикова промокли. Завернул в гастроном — продукты обычно он покупал — но какая-то усатая толстая старуха нахально влезла перед ним в очередь, продавщица наорала на него, что чек не в тот отдел, он совсем расстроился, сдал чек в кассу и ушел.

А зашел он в винный магазин на углу Герцена, выпил залпом два стакана вермута, подавляя гадкое чувство, и пешком, не торопясь, зашагал к себе на Петроградскую.

Медленно поднялся он по истертой лестнице на пятый этаж. Тихонько открыл тугую дверь. На кухне соседка Нина Александровна жарила какую-то чадящую рыбу. Она тут же зашевелила чутким носом, уставила на Чижикова круглые злые глаза болонки.

— Пьяный явился, — нехорошим голосом констатировала Нина Александровна.

— Ну что вы. — Чижиков заискивающе улыбнулся, старательно вытирая ноги.

— Нарезался, милок! — наращивала Нина Александровна. — Вот так и живешь в одной квартире с алкоголиками! Ночами, понимаешь, курит, топает в коридоре, кашляет под дверью, а днем пьет!

— Молчать!! — белогвардейски гаркнул Чижиков, меняя цвета лица, как светофор.

Глюкнула Нина Александровна, забилась в угол, тряся крашеными кудельками. Победно топая, прошествовал Чижиков к своей комнате по узкому коридору.

— Ах ты паразит! — взбеленилась Нина Александровна вслед. — Я к участковому пойду, я квартуполномоченная, я тебя выселю отсюдова, пьяная морда!

— Расстреляю! — Чижиков запустил в нее резиновым сапогом и вошел в комнату.

Фамилия Нины Александровны была — Чижова, и Чижикова этот факт приводил в бешенство.

В комнате Илюшка, сынок, готовил уроки. Блестели очки в свете настольной лампы, топорщились красные уши. Остался, бедолага, во втором классе на второй год. Эх, ушастенький-очкастенький ты мой. Чижиков подошел к сыну, погладил по голове.

— Учись, сынок, учись. Перейдешь в третий класс — велосипед куплю, как обещал.

— «Орленок»?

— «Орленок».

Сын поковырял в носу. Доверчиво прижался к Чижикову.

— Пап, а когда мы переедем на новую квартиру?

— Скоро, Илюшка. Совсем уже скоро очередь подойдет — и переедем.

— Через год?

— Примерно.

— Это же так долго — год!

— Ты и не заметишь, как пройдет. — Чижиков похлопал сына по плечику. — Весна, лето, осень — и все.

— Па-ап, а мы поедем летом на юг? Толька Шпаков ездил, говорит — так здорово.

— Поедем, — решил Чижиков. — Обязательно поедем.

Да, подумал он, возьмем и поедем.

— Есть хочешь? — спросил он.

— Ага.

— Сейчас я чего-нибудь нам сварганю.

Эх, а замечательно было бы пожить в той лесной избушке! И с сыном вдвоем можно...

Жена пришла только в девять часов, когда они на пару смотрели телевизор. Хлопотная работа там, на киностудии. Но она ведь бухгалтер, что ее так задерживают?

— Так, — сказала жена. — Телевизор смотрят, а посуда грязная на столе стоит.

— Ну, Эля, — примирительно забурчал Чижиков. — Сейчас я помою, ну... не волнуйся.

— Еле ноги домой приносишь, а тут грязь, опять впрягайся. Да что я вам, лошадь, что ли?

Илюшка сжался и опустил глаза в пол.

— Через месяц кооперативный дом сдают, — мстительно сообщила Элеонора. — Хомяковы переезжают.

— Что ж поделать, если у нас нет денег на кооператив? — рассудительно сказал Чижиков. — Скоро получим по городской очереди.

— Твое скоро... — тяжело сказала она. — Другие зарабатывают. На Север вербуются, на целину. Вон Танькин муж полторы тысячи привез за лето — строили что-то под Тюменью. А ты разве мужчина? Одно название...

— Ну, Элечка, — пытался Чижиков свести все вмировую. — Вот все-таки сапоги итальянские купили тебе осенью. Шуба, опять же...

Элеонора осеклась, отвела взгляд. Лицо ее пошло пятнами.

— Дурак, — с ненавистью процедила она.

— Наверное, — вздохнул Чижиков и пошел на кухню мыть посуду.

Перед сном жена вздрогнула и отстранилась, когда он приблизился; груди ее просвечивали под голубым нейлоновым пеньюаром. Чижиков безропотно поставил себе раскладушку между столом и телевизором.

Ночью долго курил в коридоре, стряхивал пепел в щербатое блюдечко. Все чудилась избушка, запах тайги, студеный быстрый ручей, клики гусей в вышине... Наваждение — аж горло перехватило, голова закружилась даже. Оперся рукой о стену, что-то округлое почувствовал, сжал машинально. Отнял руку, взглянул. Непонятный фрукт лежал в руке.

Чижиков понюхал его. Фрукт пах затхлью и клеем. На ощупь был шершавый, как картон, и легкий. Сжал сильнее в пальцах. Фрукт слегка продавился, но соку не было. Чижиков попробовал куснуть его. Противно, опять же вроде картона.

Хм. Он всунул фрукт обратно в стену. Тот повис отдельно от грозди, черенок торчал в сторону. Чижиков присто-

ил его поаккуратней... Потом с интересом стал менять грозди местами. Одобрительно обозрел беспорядок в обоях — и просиял от удачной мысли.

Откинув голову и скрестив руки на груди, эдакий художник у мольберта, он прицелился взглядом в дверь Нины Александровны — и принялся за дело. Из фруктов выложил холмик с могильным крестом, грозди разломал и составил короткую малоприличную эпитафию. Оценил творческим оком свое произведение, подмигнул, покурил, пособображал кое-что. И довольный отправился спать.

Улегся он шумно, не заботясь, что визжала и дренькала хлипкая раскладушка.

На работу Чижиков с утра не пошел — все равно ведь. А припоминая, листал старые записные книжки, отыскал телефон одноклассника, ставшего сравнительно известным в городе художником, и напросился в гости.

Художник трудился на верхнем этаже старого дома по улице Черняховского. Свет проходил в стеклянный косой потолок, олифой пахло и пылью, инвентарь художнический разнообразный повсюду валялся.

— А-а!.. — встретил он Чижикова, подавая белую длиннопалую руку с блестящими ногтями. Рука настоящего художника, с уважением отметил Чижиков, пожимая ее.

— Добрый день, — дипломатично поздоровался он, не зная, на вы быть или на ты.

— Здорово, Кешка, старик, — душевно сказал художник и заулыбался. — Рад тебе, рад. Так, знаешь, приятно, когда через двадцать лет школьные друзья о себе напоминают.

— Я тоже, — сказал Чижиков, — я здорово рад, Володя, — и еще с чувством потряс руку.

— Значит, за встречу, — художник достал из скрипучего шкафчика початую бутылку коньяка, сгреб тюбики и краски с края стола, обтер стаканы длинным пальцем. Со своей седой прядкой, в черном халате, из-под которого виднелись отутюженные брюки и замшевые туфли, очень он был импозантен.

— Со свиданьицем, — пропустили; художник пододвинул ему сигареты в пачке с верблюдом, щелкнул диковинной зажигалкой:

— Как живешь-то, рассказывай.

— Нормально, — сказал Чижиков. — Квартиру скоро должен получить.

— Это хорошо, — одобрил художник. — А мне вот, понимаешь, все приличную мастерскую не пробить. Бездари разные лезут вперед, а ты сиди тут в трущобе... — Он закрутил головой, завздыхал.

— Женат? — осведомился.

— Женат... Уж десять лет.

— Ну-у? — восхитился художник. — Молодец! И дети есть?

— Сын, — сказал Чижиков. — Во второй класс ходит.

— Молодчага! А у меня вот нет пока вроде, — хохотнул.

Чижиков заерзал.

— Так что у тебя за дело-то, выкладывай, — разрешил художник.

Не зная, как приступить, Чижиков огляделся. Подошел к мольберту. Солнце добросовестно освещало праздничными лучами уходящий вдаль сад. На переднем плане нарядная колхозница, стоя на лесенке, собирала с дерева персики.

— Гляди, — прошептал он...

И вытащил лесенку.

Дородная поселянка висела в воздухе. Лесенка постояла рядом с мольбертом и сама собой с треском упала.

— А? — торжествующе спросил Чижиков. Сорвал персик и положил на стол.

— Нет, — сказал художник, — так плохо. Мне не нравится. Тоже мне сюрреализм, ни то ни се.

Он машинально откусил персик.

— Экая дрянь! — сплюнул, поморщившись. — Синий какой-то внутри, — швырнул пакостный плод в угол. — Так и отравиться можно.

— Тебя ничего не удивляет? — опешил Чижиков.

— О чем ты? А-а... — Художник снисходительно усмехнулся. — У нас, брат, в изобразительном искусстве, — покровительственно объяснил он, — такие есть сейчас мастаки! Такие шарлатаны!.. Ты не подумай, я не о тебе, — спохватился он, — я вообще... Давай-ка еще по коньячку.

Озадаченный Чижиков выпил.

— Ты наведывайся почаще, — пригласил художник, — я тебе такого порасскажу!..

Вот так — так, размышлял Чижиков, спускаясь по лестнице. Вот ты незадача... С кем бы мне потолковать обстоятельней...

И на следующий день тем же манером отправился к Гришке Раскину, с которым они в пятом классе за одной партой сидели. Позже Гришка стал копаться в вузовских учебниках, выступать на всяких олимпиадах, очками обзавелся, времени не хватало ему всегда, и их дружба помалу иссякла.

Гришка работал в университетском НИИ физики, занимался проблемами флюоресценции и дописывал докторскую диссертацию.

Помяв Чижикова жесткими руками альпиниста — каждое лето Гришка уезжал на Памир, был даже, говорят, мастером спорта по скалолазанию, — он потащил его куда-то наверх по узким крутым лесенкам с железными перилами и вволок в маленькую комнатушку.

Чижиков уселся в закутке на обычный канцелярский стул и разочарованно огляделся.

— Что, — хмыкнул Гришка, — не похоже на лабораторию физика в кино?

— Да вообще-то я иначе себе все представлял, — сознался Чижиков.

Стены каморки были выкрашены зеленой масляной краской, точь-в-точь как у них в туалете. Черный громоздкий агрегат топорщился кустами замысловатых деталей, не оставляя почти жизненного пространства. На откидном столике в углу лежала конторская книга под настольной лампой, да два стула стояли.

— Ничего, — мечтательно потянулся Гришка, — осенью в новый комплекс переберемся, там просторно будет.

Был он тощий, лохматый, в роговых очках; по внешности — классический физик, точно из кино.

— Давай свое дело. Будем разбираться. — Он кинул взгляд на часы.

К этому визиту Чижиков подготовился основательней. И внутренне, и экипировался, так сказать.

— Я тут, похоже, одну штуку случайно открыл, — произнес он, смущаясь, отрепетированную фразу. Из бумажника вынул открытку. Брильянтовая капля росы красиво лучилась на тугом хрупком лепестке лилии.

— Смотри внимательно, — попросил он. Гришка уселся поудобнее и стал внимательно смотреть.

Чижиков осторожно сунул в открытку два пальца. Хрустнул переломленный стебель. Желтая лилия мелко подрагивала в его руке. Росинка стекла в чашечку. На открытке остался размытый фон.

— За-ба-вно, — изрек Гришка. Повертел открытку, посмотрел на свет, пощупал. — За-ба-вно. Слушай, а как ты это делаешь?

— Просто, — сказал Чижиков. — Беру и делаю. Сам не знаю как. Вот так.

Он взял открытку и приладил лилию на место. Теперь не было на лепестке капли росы.

— И давно? — спросил Гришка с интересом.

— Два дня. Ночью, понимаешь, я курил в коридоре...

— Квазиполигравитационный три-эль-фита-переход в минус-эн-квадрат-плоскость, — забубнил Гришка, сведя глаза к переносице. Может, он другое что сказал, Чижиков все равно ни хрена не понял.

— Слушай, Кеш, — Гришка, косясь на часы, потеребил Чижикова за рукав. — Я, ты извини, срочно должен в подвал бежать, там сейчас опыт пойдет. А тебе с этим надо в пятую лабораторию, к Аристиду Прокопьевичу, скажи — от меня. Как пройти, я объясню.

Он выдрал из конторской книги лист и начеркал китайскую головоломку, закончив ее крестиком.

— Сначала здесь, а после сюда и сюда, ясно, да? Вечером позвони мне, ты связи со мной не теряй.

Около часа Чижиков провел в движении по невообразимо заковыристой, но с неумолимостью физического закона повторяющейся траектории, пока не выпал из нее у дверей пятой лаборатории, которая временно расположилась в помещении третьей. И выяснил, что Аристид Прокопьевич вчера вылетел на месяц в Новосибирск читать лекции, но это не точно, а где точно, никто не знает. Возможно, во второй лаборатории, но это вряд ли.

Еще двадцать минут Чижиков пробирался на волю.

Устало шлепая по Менделеевской линии, поднял воротник от мелкого дождика и загрустил.

Всю пятницу он провел в раздумьях. Гришку по телефону застать не удавалось ни дома, ни на работе. И дождь все моросил.

В иероглифах записных книжек наткнулся на старый домашний адрес Сережки Бурсикова, тихого мальчонки, насморк еще у него не проходил вечно. В свое время ходил слушок, что он после школы в духовную семинарию подался.

А черт его знает, подумал Чижиков... Подумал и решился.

Остаток дня он потратил на наведение справок.

Сел в субботу вечером на поезд, отправлявшийся с Витебского вокзала, и поехал в один белорусский городок, где Бурсиков был настоятелем церкви. Жене сказал — в командировку; она, похоже, и не огорчилась ничуть.

Церковь стояла в заснеженном саду на холме, недалеко от базара. У ворот курили на лавочке двое.

Чижиков с некоторой опаской поздоровался, поклонившись слегка, даже шапку снял на всякий случай — благо тепло было — и осведомился, где может видеть настоятеля, Сергея Анатольевича Бурсикова?

— Вы по какому делу? — спросил тот, что постарше.

— По личному, — быстро ответил Чижиков. Уж Ильфа и Петрова он читал.

— Туда, — пожилой махнул на желтый флигель у ограды.

Во флигеле оказалась часовня, а в коридорчике позади — всякая канцелярия-бухгалтерия; Чижиков оробел несколько. Он никогда не был в церкви.

Отрешенные лики святых темнели с икон. Согбенная старушка протирала тряпочкой возвышение, украшенное серебряными узорами. Крупной поступью, глядя перед собой, в черной до полу рясе, проследовал высокий прямой мужчина. Старушка бесшумно засеменила к нему, поцеловала красную крепкую руку с перстнем на указательном пальце.

Воскресная служба кончилась с час, настоятеля Чижиков нашел уже переодетого.

— Я вас слушаю, — бегло сказал настоятель, не предлагая Чижикову сесть.

Выглядел он, вопреки ожиданию, заурядно и, по мнению Чижикова, неподобающе. Без бороды, выбрит был настоятель, коротко подстрижен, в стандартном дешевом костюмчике. И лицо помидором.

— Здравствуйте, Сергей Анатольевич. — Чижиков не знал, как себя вести.

— Здравствуйте. — Он явно не тянулся к разговору.

— Я Чижиков, — сказал Чижиков.

— М-да?

— Мы учились вместе...

— Э?..

— В одном классе, в школе, Кеша Чижиков, Чижик, помните?

— Оч-чень приятно. Разумеется. Слушаю вас.

Рядом люди ходили, — не располагала обстановка. Визит грозил рухнуть. Чижиков разволновался и обнаглел.

— У меня очень важное до вас дело. — Он значительно сощурился. — Необходим конфиденциальный разговор. Желательно в нерабочей... м-м... Лучше дома. Я приехал специально.

— Вы настаиваете, — недовольно отметил настоятель. — Подходите к пяти.

Он сказал адрес и взялся за пальто.

Чижиков побродил по городу. На базаре купил три кило отличной антоновки — пусть Илюшка витаминится.

Настоятель принимал его в тесной проходной зальце — гостиной, видимо.

— К вашим услугам...

Чижиков повторил номер с открыткой. Настоятель следил зорко.

— И что же? — спросил он наконец.

— Как? — растерялся Чижиков.

— Вы фокусник?

— Это не фокус, — выразительно сказал Чижиков. Ожидая вопроса, крутил бахрому скатерти. Настоятель неодобрительно посапывал.

— Хотите чаю? — предложил он.

— По-моему, это чудо, — застенчиво объяснил Чижиков.

— Э?.. — удивился настоятель.

— Ну ведь... Бог творит чудеса!.. — выдал Чижиков напролом и покраснел.

— Не надо, — осадил настоятель. — Не надо.

— И не в чудесах, — с неожиданной тоской добавил он, — совсем не в чудесах заключается вера. Хотите чаю?

— Да не хочу я чаю! — обозленный Чижиков отчаялся на крайние меры.

В лепной золоченой раме святой Мартин резал пополам свой плащ. Картина напротив: старик с изукрашенным распятием.

— «А теперь делить буду я!» — процитировал Чижиков и отобрал у доброго святого недоразрезанный плащ. Княжеским жестом пустил его на стол. Пристукнул увесистым золотым распятием.

Пыльный грубый плащ пребывал на столе и пах потом. Придавливал толстые складки тусклый крест с искрящимися камнями.

Лицо настоятеля замкнулось...

— Нельзя ли восстановить порядок? — отчужденно попросил он.

Чижиков плюнул с досады.

— Жертвую на храм, — отвечал в раздражении из прихожей.

Вечером он пил чай в поезде, грыз ванильные сухарики. Долго ворочался на верхней боковой полке, мысль одна все мучила. Ночью он проснулся, лежал.

А мысль эта была такая:

Теперь он может уйти в свою избушку.

С утра заскочив домой положить в холодильник яблоки для Илюшки, он отправился в Русский музей.

Стоял, стоял перед картиной. Будоражащие запахи хвойной чащи, дымка́ над крышей, казалось, втягивал, приопуская веки.

Сорвал незаметно травинку. Травинка как травинка, зеленая.

Смотрительница уставилась из угла. Эге, засомневался Чижиков, увидит еще кто, скандала не оберешься. Начнут за ноги вытаскивать, с картиной сделают что-нибудь, а потом выкручивайся как хочешь. Надо ночью, решил он. Спрятаться в музее, а когда все уйдут — вот тогда и лезть.

Легко сказать — спрятаться... Придумал. Присмотрел через два зала натюрмортик с ширмочкой: можно отсидеться. Натюрморт скульптурой заслонен, смотрительница вяжет, носом клюет, народу нет — подходяще... Для страховки вымерил шагами два раза расстояние до своей картины, теперь с закрытыми глазами нашел бы.

Но сегодняшний вечер захотелось побыть дома. Напоследок, елки зеленые...

Печален и загадочен был он этот вечер. Даже жена в удивлении перестала его пилить. Чижиков целовал часто сына в макушку, переделал все по дому и жене отвечал голосом необычно ласковым и всепрощающим, что ее както смущало. Перед сном, тем не менее, поскользнувшись на ее взгляде, улыбнулся с тихой грустью и поставил свою раскладушку.

Он явился в музей около пяти и, улучив момент, без приключений забрался в свой натюрморт. За ширмочкой валялся всякий хлам, он уселся поудобнее и стал ждать.

Переход он задумал осуществить в двадцать ноль-ноль. Пока все разойдутся, пока то да се...

Время, разумеется, еле ползло. Хотелось курить, но боязно было: мало ли что...

А там... Первым делом он сядет в траву у ручья и будет курить, любуясь на закат. Потом... Потом напьется воды из ручья, ополоснется, пожалуй, смывая с себя въедливую нечистоту города.

Кусты колышутся под ветром. Прохладно. Вот он встал и пошел к избушке. Оп! — полосатый бурундучок мелькнул в траве. Чижиков постоял, улыбаясь, и поднялся на рассыхающееся крыльцо. Вздохнул с легким счастливым волнением — и толкнул дверь.

Ширма упала. Чижиков вскочил, проснувшись. Без двенадцати минут восемь. Он подрагивал от нетерпения.

Первый шаг его в темном зале был оглушителен. Он заскользил на цыпочках. Шорох раскатывался по анфиладе.

Так... Еще... Здесь!..

Темнел прямоугольник его картины. Скорей взялся потными руками за раму.

Задержав дыхание, закрыв глаза и нагнув, как ныряют, голову — влез.

Что-то как-то...

Осознал: крик. И — предчувствие резануло.

«Не то! — ошибка! — сменили!» — ослепительно захорадило.

Оскользаясь в грязи на пологом склоне, раздираясь нутряным «Ыр-ра!!», зажав винтовки с примкнутыми штыками, перегоняли друг друга, и красный флаг махался в выстрелах внизу у фольварка.

— Чего лег?! — рвясь на хрип.

Ощущение. Понял: пинок.

— Оружие где, сука?!.. — давясь, проклекотал кадыкастый, в рваной фуражке.

Обмирая в спазмах, Чижиков хватанул воздух.

— Из пополнения, што ль?

— Да, — не сам сказал Чижиков.

— Винтовку возьми! — ткнул штыком к скорченной фигуре у лужи. — Вишь — убило! И подсумок!

Чижиков на четвереньках ухватил винтовку, рукой стер грязь.

— Встань! В мать! Телихенция... Впер-ред!

Чижиков неловко и старательно, довольно быстро побежал по склону, подставляя ноги под падающее туловище. Кадыкастый плюхал рядом, щерясь, косил на него.

Передние подсыпали к зелени и черепицам окраины, там правее дробно-ритмично зататакало, фигурки втерлись в пашню.

— Ах твою в бога!.. — рядом, упав, проскреб щетину. — Конница в балке у них...

Чижиков увидел: слева в километре выскакивают по несколько, текут из земли всадники, растягивая в ширину, стремятся к ним.

— Фланг, фланг загинай!.. — отчаянно пропел сосед, пихнул, вскочив, Чижикова, они побежали и еще за ними. Слева перебегали, ложились, выгибая цепь подковой.

Упали, дыша.

Выставили стволы.

Раздерганная пальба.

Прочеркивая и колотя глинозем, оцепеняя сознание всепроникающим визгом, завораживая режущим посверком клинков на отлете, рвала короткое пространство конница.

— Стреляй, твою! — оскалясь, сосед вбил затвор.

Как он, Чижиков внимательно передернул со стальным щелком затвор. Локти податливо ползли из упора.

«...Выход — где — запомнить — не найду — как же...» — прострочило в мозгу и не стало, потому что он принял целящийся взгляд поверх конской морды, пеганый в галопе чуть вбок заносил задние ноги, казак привставал на стременах, неверная мушка поддела нарастающий крест ремней на холщовой рубахе...

Всхлипывая горлом, напряженно тараща заслезившийся глаз, потянул спуск и невольно зажмурился при ударе выстрела.

НЕДОРОГИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

Каюров копил деньги на машину. Занятие это требует определенной выдержки и силы характера. У Каюрова была выдержка и сила характера. Три года назад он составил график, и теперь через год наступал срок покупки «Лады». Цвет Каюрову наилучшим представлялся сиреневый с перламутровым отливом. Перламутровые оттенки предпочтительны в моде автомобильного мира. Некоторые связи Каюров уже наладил.

Автомобилист, известно, не должен иметь пристрастия к спиртному. Человек, положивший себе приобрести машину, тем более не должен пить; а посему некоторые на работе недолюбливали Каюрова как парня прижимистого и себе на уме. Его это, конечно, не трогало, но досадно делалось иногда: что он, обязан с ними водку распивать за проходной, лучше он от этого станет, что ли?

А начальство к нему хорошо относилось. Работу он получал обычно выгодную, но и сложную, требующую внимания, он аккуратен был, не порол брак, инструмент в порядке, не одалживался и давать избегал: кому надо — у того свое есть.

Единственное что — конечно, скучновато бывало в свободное время, по выходным особенно. Жениться Каюров попозже решил, годам к тридцати, тридцати двум даже: во-первых, прежде чем создать семью, необходимо обеспечить верную материальную базу, во-вторых — куда торопиться обузу на себя взваливать? Вообще-то он не слишком умел ладить с женщинами.

Сегодня он проснулся в девять часов — самое подходящее время для воскресенья. Солнце грело в открытый балкон, листвой пахло. Каюров полежал немного, почитал «Советский спорт», послушал передачу «С добрым утром». Потом сходил в туалет, почистил зубы, принял душ, побрился электробритвой «Бердск-3м» и немного задумался, колеблясь в решении. С одной стороны, хотелось попить пивка. С другой, утром следовало бы выпить чашечку

кофе. Тем более при наличии кофе и кофеварки, — а у ларька можно встретить различные предложения с продолжениями, к которым он относился неодобрительно.

Поэтому, сложив постель в ящик дивана, он надел «олимпийский» спортивный костюм и занялся в кухне. Растворил окно, повязался передником от брызг и, пока издавала шепчущие звуки кофеварка, распустил на сковороде бельгийского топленого масла и изготовил яичницу из четырех яиц.

После завтрака переоделся: кримпленовый песочный костюм, розовая сорочка с планкой и черные лакированные туфли. Воскресный день был хорош, и Каюров отпустил на его проведение три рубля (вернее, четыре — восемьдесят шесть копеек в кошельке оставались).

При такой погоде разумнее представлялось провести время на свежем воздухе. И он с удовольствием прогулялся пару остановок пешком, посмотрел газеты на щите, выкурив сигарету. Универмаг работал — конец месяца, он прикинул чехлы для сидений в автоотделе; барахло чехлы, надо заказывать в ателье. Сел на двойку троллейбус и поехал в ЦПКиО.

У входа купил мороженое. В аллеях происходило фланирование, он последовал. Оценивал девушек в летних полуусловных платьях, прикидывая про себя, которая могла бы стать его женой, и вообще.

Над деревьями издалека тонкий силуэт колеса обозрения не ощущался подвижным. Вблизи гигантский велосипедный обод являлся сваренным из труб, голубая краска шелушилась пластами; люльки с поскрипыванием уплывали ввысь. У турникета ждала очередь, задрав головы. Каюров купил в будочке за двадцать копеек билет у старушки в очках с треснутым стеклом, стал в конец.

Сверху все было видно здорово. Парк напоминал свое изображение на плане. Зеленый массив четко делился аллеями, озерцо блестело, лодки ползли по нему, у павильона на желтом фоне песка и сером — асфальта пестрели толпы, а потом (движение вниз) поле обзора съежилось, представляясь меньше первоначального, — Каюров даже

подосадовал, что слишком быстро, — но день был еще в начале.

Несколько минут он поглазел на качели. На качелях катались в основном дети. Особенно двое пацанов старались в раже, взлетали выше полуокружности; Каюров подумал, что так они и мертвую петлю открутят, но, отметил: качели с ограничителем. На качели он, конечно, не пошел — не мальчик.

Температура воздуха заметно поднялась. Неплохо бы, рассудил, погрести на лодке. Самое подходящее занятие — мышцы размять, и вообще сравнительно солидное занятие.

Пруд угадывался задолго по особому запаху водоема в жаркий день. Берега бархатились ряской. На дощатом причале распоряжался малый в джинсах и без рубашки. Свободные лодки имелись. Час — рубль. Но требовалось оставлять в залог паспорт, а паспорт Каюров с собой не захватил. Не набиваться же в чужую компанию... Покурил, взирая на более предусмотрительных гребцов. Высказал малому, что паспорт по положению о паспортном режиме сдавать и брать в залог запрещается.

На американских горах в протяжном лязге размазанные скоростью тележки проносились по рельсовым виражам; сдавленные взвизги девчонок; очередь следила и тыкала пальцами. Каюров продвигался со всеми, не торопясь, некуда было торопиться, однако слегка раздражаясь, что и при воскресном отдыхе приходится выстаивать очереди.

Многочисленные марши крутой лестницы вывели на верхнюю площадку. Двое пареньков принимали подающиеся снизу транспортером тележки, рассаживали в них очередных и подталкивали к спуску. Тут же под тентом несколько девчонок, — их знакомые, понятно, — раскинувшись в шезлонгах, пили пиво из бутылок.

Каюрова усадили с какой-то девицей, впереди. Тележка оказалась мелковата и вполне давала ощущение ненадежности. Сверху сделалась очевидной крутизна спуска. Их подпихнули, и они сорвались в почти свободное падение вдоль рельсов, с разгона наверх, на вершине зависли

в воздухе, и хотя Каюров понимал, что вылететь нельзя, в этот-то момент как раз вылететь оказалось — раз плюнуть. Но ухнули на рельсы и устремились к черной дыре тоннеля, высота его меньше высоты тележки. Девица пискнула и прижалась к его спине. А у него нервы были хорошие.

После этих гор он посидел и покурил немного.

Потоптался за ограждением вокруг парашютной вышки. Закрепленный парашют скользил вдоль вертикального троса, дядька страховал, ловил приземляющихся, — неинтересно. Ноги у «парашютистов» болтались и подламывались, площадка выбита в пыль... Какие-то семнадцатилетние ухари — из завсегдатаев, не иначе, — прыгали спиной вперед с перил, крутя сальто между лямок, но выглядело это скорее хулиганисто, чем лихо, — все повадки у них были такие, приблатненные.

Рядом в круглой вольере за железной сеткой авиамоделисты гоняли кордовые модели. Яркие самолетики проворно кружили на привязи, жужжа звонким металлом. Их привязанность вызывала некий протест, — хотелось свободного полета для них, высоты, пусть и закувыркаются оттуда.

Время текло в общем приятно. Каюров еще побродил по аллеям, посидел на скамейке, навешивая взгляды на проходящих девчонок, но тут рядом расположились мамаша со старушкой и младенцем в коляске, а его принялись стыдить, что курит рядом с ребенком; он выдвинул резонные возражения, что сел первый, да и здесь не детская площадка, они стронулись, поняли, что на него где сядешь, там и слезешь, но все равно настроение стало уже не то, он тоже поднялся.

Завернул к закусочной — пообедать не мешало бы. Очередь занимали, наверно, уже на ужин. Тухлый номер. Но ему повезло: рядом начали давать пиво и бутерброды. Он взял две бутылки «Адмиралтейского» и четыре бутерброда с колбасой, скушал, под вторую бутылку закурил, и настроение привелось к норме. Нет, полноценный отдых получался.

Перекусив, Каюров решил посетить комнату смеха. В комнате смеха он заскучал. Ну, кривые зеркала. Толстый —

тонкий, вот веселье... Подойди и смотрись на улице в хромированный колпак автомобильного колеса — тот же эффект.

Часы показывали без двадцати четыре. Еще немного стоит поболтаться. На шесть он сходит в кино — у них рядом идет, «Свет в конце тоннеля», остросюжетный детектив, специально его на воскресенье оставил. Потом — посмотреть дома телевизор, баскет из Югославии. Нет, хороший день; можно завтра и свежим на работу, и глаза с похмелья не будут поперек, вроде некоторых.

Денег оставалось рубль шестьдесят три копейки. Полтинник на кино, гривенник на транспорт, рубль свободный. Прикинув, Каюров назначил его на игральные автоматы.

Двадцать копеек содрали за вход. Итого он располагал пятью монетами по пятнадцать.

В павильоне стереофоническим эхом отзывались электронные выстрелы и взрывы. Каюров понаблюдал из-за спин, немного стесняясь, в окошечки, где прыгали в джунглях звери, поворачивались мишени, набирали скорость и сталкивались гоночные автомобили на внезапных стремительных поворотах. Его привлекли два автомата: «Подводная лодка» и «Воздушный бой».

Сперва взялся за лодку. Перископ с двумя ручками, визир прицела, запас десять торпед. Силуэты кораблей движутся слева направо и обратно, уходя за скалы. Первые две торпеды ушли по серой воде пульсирующими пятнышками мимо. Третьей он попал: засветилось мрачное зарево, пророкотал взрыв. Приспособился, и сзади подсказывали: навести прицел заранее в угол и поджидать корабль, ловя момент совмещения. Из оставшихся семи торпед Каюров еще пять раз попал. Довольно просто. Забавно: детская, в сущности, игрушка, — а вот поди ты, дает удовлетворение.

Ознакомился с воздушным боем. Там, пронизывая с неизмеримой скоростью стратосферу, пуская отстающий ракетный гул, уходила тройка истребителей-бомбардировщиков, качаясь звеном с крыла на крыло в прямоугольном обзоре.

Каюров опустил в прорезь монету. Экран включился. Пространство понеслось назад. Самолеты уходили, сохраняя дистанцию. Он взялся за ручку управления, ловя ведущего в прицел. Панорама начала смещаться, ведущий в движении подставился в перекрестие прицела, Каюров нажал средним пальцем гашетку, трасса прочертила левее, он опоздал, не учел упреждение, прицел уже неверен. Осторожненько подобрал ручку на себя и вправо... силуэты чуть поплыли наискось в обзоре... ведущий захватился в прицел, он снова нажал, уже чуть раньше, насадил его на огненную спицу, прямо в сопло, самолет размазался горящим стремительным клубком, разбрасывая порхающие обломки, вспухшее свечение заслонило видимость, промелькнуло внизу, когда Каюров принял ручку, линия горизонта впереди опустилась, он взял слишком высоко, двух других самолетов не было видно, он завертел головой, пытаясь обнаружить их в пространстве, заработал ручкой, ни черта, и тут что-то молниеносным пунктиром чиркнуло левее и выше, секундой позже следующая трасса прошла впритирку под правой плоскостью, он инстинктивно взял ручку на себя, и третья очередь прошла под самым брюхом, оглянулся, два перехватчика держались сзади на дистанции стрельбы, зайдя в хвост, слизнул пот с верхней губы, его машина шла в контуре их трасс, скорость вся, он резко сбросил газ и крутнул бочку с потерей высоты, они проскочили над ним, он вогнал машину в крутое пике, сменив спиралью направление, но они снова очутились сзади, доставая огнем, раскаленный металл изодрал и разнес его фюзеляж, баки взорвались, он распылился светящейся полосой в черной безвоздушной высоте, и все кончилось, пока трасса не прошла рядом, двигатель ревел на форсаже, ручка теряла податливость, пот слепил, не оторваться, они кончали его, он попытался боевым разворотом выйти в лоб и разойтись на встречных, пульс дробил виски, они подсекли его на вертикалях, очередь обрубила правую плоскость, горизонт закувыркался хаотично быстрее отовсюду, земля ударила сверху и его принял конец света, но звезды светились ярко и поплыли вбок разом,

когда он пытался подвернуть от сближавшихся трасс, он хотел катапультировать в отчаянии, но катапульта не срабатывала, скафандр душил его, они вцепились ему в хвост мертвой хваткой, он заштопорил, притворяясь сбитым, но они расстреляли его, заходя по очереди, как на полигоне, фонарь разлетелся, осколки рассекли скафандр, сосуды его лопнули, как у глубоководной рыбы, земля поднялась снизу и подхватила его мягким всепрощающим поцелуем.

И все погасло. Зажглось табло: «Игра окончена».

Каюров с трудом стоял, ухватившись за ручку. Он разжал слипшиеся пальцы и отступил, храня равновесие. Повернулся и стал не сразу делать шаги. Когда попал в выход, увидел снаружи скамейку и сел на нее.

Сидел и курил. Ветерок тянул, освежал.

Из павильона появилась девушка, оглядевшись живо, с кошельком в руке.

— Простите, у вас не нашлось бы пятнадцатикопеечных монет? — обратилась и пояснила: — А то кассирша вышла куда-то...

Она, моргнув, ждала, второпях обозначая вежливую полуулыбку.

— Поди ты знаешь куда... — сказал Каюров.

ДОЛГИ

1

Чем крепче нервы, тем ближе цель. С этим изречением я познакомился в девятнадцать лет: прочитал татуировку на плече. Плечо смотрелось: мускулистое под жестким загаром, оно как бы подкрепляло смысл надписи. И соответствующее лицо мужчины. Что слова эти из песенки американских матросов времен второй мировой войны, я узнал гораздо позднее.

У меня нервы скверные. Как у многих. Я долго запрягаю и медленно езжу, виляя по сторонам. Близость цели возбуждает меня сверх меры, перехлестывающий энтузиазм мешается со страхом упустить, и как следствие — паническая суета, затрудняющая дело. Мысленно я всего уже десять раз достиг и столько же раз потерял. И добившись наконец давно желаемого, я испытываю обычно только усталость и легкое разочарование, что ну вот и все.

Так было и сейчас — но и не совсем так. У меня вышла вторая книга. Не шедевр, греза начинающего, однако и не такая плохая книга, честное слово. На уровне. Телевидение поставило мой сценарий и заключило договор на другой. Тоже — не Штирлиц, но многим вполне понравилось. Я стал профессионалом.

Занятое мной положение не давало исчезнуть отраде, знакомой на моем месте любому. Удовлетворение лишь подстегивалось некоторыми отзывами вроде «талантливо начинал», «на халтуру разменивается», — подобные высказывания, как правило, исходят от людей, добившихся меньшего, чем ты, и продиктованы, вероятнее всего, завистью. А зависть, по формулировке Скрябина, есть признание себя побежденным... Я — оцениваю свои возможности реально; а профессионализм есть профессионализм: неумно тщиться гением в тридцать семь лет.

И вот в свои тридцать семь я получил возможность «остановиться, оглянуться», — право на передышку. Годы подряд я, без преувеличения, работал много и напряженно. Я писал и переписывал бесконечно, я предлагал десятки вариантов и вносил тысячи поправок. Кто сомневается, как трудно составить себе какое-то литературное имя, пусть попробует сам.

Теперь я обладал солидной суммой. Деньги гарантировали свободу во времени. Я погасил задолженность за свой однокомнатный кооператив. Раздал долги. И полтора месяца предавался сладостному ничегонеделанью.

Я просыпался в полдень, наливал из термоса кофе и читал в постели детективы. Бродил днем по музеям и просто по зимнему городу, едва ли не впервые воспринимая

его красоту и красоту вообще всего кругом. Высшее, самое тонкое и полное наслаждение всем сущим доступно, наверное, одним бездельникам.

Характер мой выровнялся, исчезла раздражительность: я посвежел. Я наслаждался жизнью; с повторяемостью наслаждение требует дополнительной остроты: я мог позволить себе роскошь никчемных дел.

2

Большинство неактуальных вещей, которые мы откладываем, мы откладываем навсегда. Это можно считать слабостью характера; или давлением обстоятельств. Можно считать иначе: что не сделано, то не очень-то и нужно. И все же невыполненные намерения, неудовлетворенные желания, по мере времени теряя свою конкретность, превращаются в некий неопределенный груз, тяготеющий на душе. Ощущаешь какую-то незавершенность, неполноценность собственной личности и судьбы. А когда возраст переходит период надежд и откладывать уже некуда, эпизодическое отчаяние по поводу проходящих дней сменяется спокойным сознанием несостоятельности.

Ну, сознанием своей несостоятельности я, положим, не страдал. Главное-то я выполнил. А махнуть рукой на многое вынужден в жизненном движении каждый. Но тихо-тихо подтачивающий червячок, скрытый повседневностью, в моем комфортном состоянии сделался различимым.

У меня хорошая память на добро. Правда, не хвастаюсь. Вот ответить на него — это, по совести, несколько другое... Нужны деньги, или время, или то и другое, — а усилия направляешь на главное; все грешны...

Всегда перед появлением денег я решал рассчитаться по застаревшим должкам. Появившись, деньги с абсолютной неотвратимостью тратились на что угодно, должки же продолжали существовать; обычное дело.

В утешение я вспоминал байку, когда один меценат вещал о гордости человека слова, отдающего в срок, и как Маяковский отрубил, что присутствующим литераторам

есть чем гордиться кроме отдачи долгов. Я не Маяковский, утешение действовало весьма частично.

Мне даже представляется, я знаю, с чего у меня возникла эта внутренняя потребность не быть должным.

3

Во втором классе я проспорил Леньке Чашкину рубль. Споря, я поступал здраво и практично, прямо неловко становилось — запросто, задаром получить Ленькин рубль. Затрудняюсь изложить сомнительной приличности предмет спора. Ленька поплевывая попрал мораль, проявив известную мальчишескую доблесть. За попрание морали платить оказался обязан я. Рубль представлялся мне платой чрезмерной. У меня не было рубля.

Как все герои, Ленька был великодушен и забывчив. Через несколько дней вопрос о рубле, к моему облегчению, заглох. Радостью я поделился с отцом.

К моему разочарованию, поддержки в нем я не обнаружил. Отец преподнес мне те истины, что, во-первых, спорить вообще нехорошо, во-вторых, спорить на деньги особенно нехорошо, в-третьих, спорить на то, что не тобой заработано — вовсе плохо, но не отдавать проспоренное — не годится уже совершенно никуда. И выдал рубль.

Я вручил Леньке рубль. Он принял его, быстро скрыв уважительное удивление, с превосходством насмешки над неудачником и вдобавок дураком. Я ожидал иной реакции. Я слегка обиделся.

Но жить стало легче: исчезла опасность напоминаний, осталось сознание правильности поступка.

4

Первый перекос мое представление о необходимости отдавать долги получило на собрании абитуриентов, где Надька Литвинова одолжила у меня рубль до завтра, и это светлое завтра еще не наступило. У нее ни в коем случае руки не были устроены к себе, раздавая пять лет как ста-

роста группы стипендии она вечно себя обсчитывала, кому-то давая больше — и ей не всегда возвращали: легкая натура, не придавала она значения рублю. Рублю я тоже не придавал, а факт — ну засел, что ты поделаешь. Первый раз памятный.

Позднее я помню всего четыре случая, когда мне не возвращали. Черт его знает, не верится, чтобы всего четыре. Я задолжал куда больше, ого. Хороший я такой, что не помню, или скотина, что мне отдавали, а я нет — затрудняюсь определенно сказать.

Как я впервые не отдал — тоже помню отлично. В сентябре, в начале второго курса, собирались мы на какую-то пьянку. (Написал «пьянка» и споткнулся — предложат ведь заменить «вечеринкой», «днем рождения». И пусть слово цензурное, общелитературное, всеми употребимое... А, — я сам раньше заменю...) Да, и мне срочно требовались два рубля, причем не на вино, а на цветы. Кому цветы, зачем — позабылось, но точно на цветы. И занял я у Машки Юнгмейстер, и у Машки дочка кончает школу, и Машка наверняка ни сном ни духом про эти два рубля не ведает — а у меня память. Сколько раз я хотел отдать. Или цветов ей принести. Или конфет. Фиг. Не до того.

5

Мы все собираемся когда-нибудь раздать все долги.

И наступает время. Или так и не наступает.

Господи, деньги у меня есть — больше нужного, машина, дача и лайковое пальто мне ни к чему, родные обеспечены, алименты платить не на кого, ресторанов я не переношу, пить избегаю, нынешние мои знакомые сами в достатке, а я столько в жизни добра от людей видел, клянусь, иногда злобишься: «Стану сволочью — насколько легче заживется», — да оттаиваешь при касании участия человеческого...

Привлекает и благородная праведность — разбогатев, воздать за добро сторицей. Ну, сторицей — не шибко-то и получится, — но воздать. Желательно с лихвой.

«Понял?» — сказал я червячку, шевелящемуся в безмятежном довольстве моей души. И червячок явственно пообещал превратиться в благоухающую розу, лучшее украшение этой самой моей души.

6

По порядку — первый долг следовал Машке. Я запасся бутылкой сухого, тортом, купил букет белых цветов, названия которых и поныне не знаю — они одни зимой и продаются у нас, кажется хризантемы, — и отправился. Адрес еще уточнил в госправке.

Перед дверью постоял. Покурил.

Машка сама открыла. Толстая, нездоровая на вид. Секунду смотрела, узнавая.

— Ой, Тишка! — и повисла у меня на шее. — Тыщу лет!

Я видел ее как бы раздвоенно, не в фокусе, — глазами и памятью, и было чуть больно и печально, пока изображения не совместились и она не стала прежней Машкой, какую я всегда знал.

— С цветами! С бутылкой! Ну же ты лапуня!..

— Машка, — сказал я, — за мной должок.

Она отодвинулась взглядом.

Я вынул два рубля и подал:

— Восемнадцать с половиной лет. Вот — взбрело в голову...

— Ты что, спятил? — осведомилась Машка с собранным лицом. Она, похоже, заподозрила, что я решил расплеваться и демонстрирую жест.

— Спокойно, — успокоил я. — Просто я, понимаешь, немножко разбогател, и вдобавок мне нечего делать; и вдруг как-то припомнилось...

Она с исчезающей опаской послушалась, взяла:

— И черт с тобой, — удивилась она. — Раньше я за тобой ненормальностей не замечала. Да раздевайся, чего встал. Или только за этим приехал?

— Обижаешь, мать, — облегченно поспешил я. — Накормишь?

— Другой разговор. Цветы. Ну обалдеть! Спасибо, — чмокнула меня и впервые удалилась из захламленной прихожей: — Вова! Кто к нам пришел!

Вовку Колесника, ее мужа, я знал со студенческих времен. Изменился он мало; приветствуя, мы друг друга похлопали.

Продолжалось обыденно: ну, пришел в гости... быстрое хлопотание, стол, рюмки, цветы в вазе. Представили свою шестнадцатилетнюю дочку, довольно милую, попутно упрекнув ее в слабовыраженности интересов. Сели вчетвером. Машка сияла.

— Где работаешь-то?

— Пишу, — сказал я; не то чтобы я надеялся, что они меня читали...

— Да? Где тебя печатали?

— Ерунда, — небрежно махнул я рукой. — Так, печатаюсь. Телефильм тут недавно, «Зимний отпуск», не смотрели?

— Нет. А что, ты ставил?

— Не совсем, — сценарий мой.

— Так молодец!.. — стали радоваться они. — Его по второй программе еще будут показывать? знали бы... чего ты не предупредил-то.

Вовка преподавал в институте, Машка по-прежнему торчала в библиотеке; разговор пошел о делах... Когда-то Машка здорово играла на гитаре. И пела. И могла в стройотряде матом поднять на работу бригаду ребят.

— ...Гитара-то в доме есть, Машка? — спросил я.

— С ума сошел, — отреклась она, — десять лет в руках не держу.

— Возьми-и, — в голос заканючили Вовка и дочь Света.

После сухого Вовка твердо выдержал супругин взгляд и достал водку. Постепенно все стало хорошо, по-свойски, без нарочитости и напряжения, Машка без повторных просьб сама принесла гитару и пела те, старые песни, и было приятно еще от того, как смотрела на меня — писателя — юная дочка. Отпустили меня только в половине

первого, — поспеть на метро. Мне неловко было говорить, что поеду я все равно на такси. Да и — им-то завтра на работу.

Засыпал я с удовлетворением. Первый пункт намеченной программы был выполнен толково.

7

Со вторым долгом обстояло сложнее.

На третьем курсе я одолжил у дяди Валентина червонец.

Зимним вечером мы с ребятами в общежитии тосковали: изыскание ресурсов окончилось безнадежно. Я плюнул, оделся и пошел к дяде, благо жил он через два дома. Надо заметить, время перевалило за десять, а стопы в его дом я направлял второй раз в жизни.

Долго звонил, вознамерившись не отступать (они рано ложились). Дверь открылась неожиданно — дядя в ночной старомодной рубашке до пят холодно смотрел.

Я шагнул, набрал воздуха и принялся сбивчиво врать про замечательный свитер, продающийся срочно и безумно дешево, так необходимый мне в эту холодную зиму, — и не хватает всего восьми рублей. Не дослушав, дядя вышел, вернулся с десяткой, улыбнулся, потрепал меня по плечу, пресек приличествующие расспросы о жизни и здоровье и дружелюбно подтолкнул к выходу.

Червонец был пропит через полчаса.

Глубокую симпатию к дядиному стилю общения я храню.

Дядя умер через несколько лет.

Я купил шоколадный набор за шестнадцать рублей (дороже не нашел) и поехал к тете, его вдове, которую не видел десять лет.

Тетя стала суровой и даже величественной старухой.

— Никак Тихон, — сощурилась она. — Заходи. Никак в гости сподобился. Порадовал. А я думала, уж только на моих похоронах встретимся. В тебе крепки родственные связи.

Я был препровожден в комнату, картиночно чистую, словно вещи век хранили раз навсегда определенное положение. Последовали наливка и типично родственный разговор, который легко представит каждый... Я не мог решиться. Конфеты лежали в портфеле.

Но незаметно переключились на дядю: его доброта, таланты... и я в самых благодарственных тонах прочувственно изложил ту давнюю историю. Тетка выслушала спокойно, тихо усмехнулась. И коробку конфет приняла как безусловно должное и приличествующее.

— Тетя Рая, — приступил я тогда. — Все собираемся, собираемся... Поймите правильно. Свербит у меня... Ерунда, — но... Поймите, мне просто очень хочется, возьмите у меня, пожалуйста, этот червонец.

— Что ж, — она кивнула согласно. — Давай.

Мы распрощались друзьями. Я чувствовал, что следующее свидание теперь произойдет раньше ее похорон. Хотя уже в подъезде понял, что вряд ли...

Чуть-чуть — чуть-чуть продолжало свербить...

С десятирублевым букетом я поехал на кладбище.

Там березы гасли в пепельном небе, тени затягивали слабо расчищенные в снегу дорожки. Я долго искал дядину могилу. Найдя, снял шапку, опустил цветы на сумеречный снег.

— Такие дела, дядя, — сказал я. Закурил и надел шапку — холодно было. Постоял, подумал... — Может, не такое уж я животное, хоть и не общаюсь с родственниками. Дела, знаешь. Да и о чем разговаривать-то при встречах. А по обязанности — кому это нужно, верно?.. Но я помню все. Хороший ты был мужик. Ей-богу, хороший. Пускай тебе воздастся на том свете и за червонец тот, если таковой свет имеется. А я — вот он я...

То ли вечерний воздух кладбищенский, стоячий и чистый, так действовал, пахнущий зимним простором, то ли само пребывание в месте подобном, то ли просто собой я доволен был, — но уходил я с умиротворением.

На ночь я перечитал «Мост короля Людовика Святого». Когда-то я тоже хотел написать такую книгу.

8

«8 р. — Тамаре Ковязиной. (Нечем было срочно заплатить за телефон.)

«12.50 — Ваське Синюкову. (Моя доля за диван, подаренный на свадьбу Витьке Гулину.)

«4 р. — Виталику Мознаиму. (За что?..)

«7 р. — Егору Карманову. (Не хватило на билет из Сыктывкара. И обещал прислать блесны и леску.)

«3 р. — Володе Зиме. (Пивбар.)

«11 р. — Б. Кожевникову. (Покер.)

«10 р. — Томке Смирновой. (Новый год.)

«40 р. — Витьке Андрееву. (Снятая комната, два месяца.)

«8 р. — Дмитриевым. (Шарф.)

«11 р. — Бате (Горшкову). (Пари.)

«5.30 — Боре Тихонову. (Пари.)

«5 р. — Игорю Гомозову. (Оставался без копейки.)

«Володе Подвигину — списаться — Барнаул — обещал прислать парик.

«Кабак — Королеву; Флеровой; бутылка — Цыпину; Блэк».

9

Человек с возрастом определяется, твердеет, исчезает внутренняя коммуникабельность, новых друзей нет, старые удерживаются памятью юности — а при встрече вдруг вместо симпатяги и умницы натыкаешься на полную заурядность: «где были мои глаза?..»

Старая истина открылась мне не сейчас; я не сентиментален. Я платил по счетам. Червячок постепенно рассасывался, как бы превращаясь в невесомую взвесь, сообщавшую дополнительную прочность веществу души. Но проявилось маленькое черное пятнышко, как ядро в протоплазме, оно выделялось все отчетливее.

Долг долгу рознь, рублем не покроешь. Кто не тешил себя обещаниями когда-нибудь кое-кому припомнить мерой за меру.

Пятнышко разрослось в слипшийся ком. Я отодрал одно от другого, рассортировал, — и с некоторой даже неожиданностью убедился в исполнимости.

10

Он унизил меня сильно. Служебная субординация... я проглотил: на карте стояло слишком много.

Я нашел его. Он был уже на пенсии. День был теплый и талый, с капелью, во дворе за столиком укутанные пенсионеры стучали домино.

— Круглов? — спросил я.

Они подняли лица в старческом румянце.

— Вы мне? — спросил он.

Я назвался. Он не помнил. Я очень подробно напомнил ему тот год, то лето, месяц, пересказал ситуацию.

Он заулыбался.

— Как же, как же... Да, отчебучили вы (он чуть замедлился перед этим «вы», по памяти обратившись было на ты), — отчебучили вы тогда штуку. Выговорил я вам тогда, да, рассердился даже, помню!..

Я сказал ему в лицо все. Румянец его схлынул, обнажив склеротическую сетку на жеваной желтизне щек...

Пенсионеры испуганно притихли. Но я был готов к жалости, и она мне не мешала.

— Я много лет жил с этим, — сказал я. — Теперь мой черед... Квиты! Помни меня.

Я отдавал себе отчет в собственной жестокости. Но к нему вернулся его же камень.

11

Первый такого рода долг за мной ржавел со второго класса.

Мы просто столкнулись в дверях, не уступая дороги.

— Пошли выйдем? — напористо предложил я.

— Выйдем?.. Пожалуйста! — он принял готовно.

Дорожка у заднего крыльца школы, огражденная низеньким штакетником, обледенела. Болельщики случились все из моего класса (он был из параллельного, причем меньше меня). Ободряемый, я ждал с превосходством.

Скомандовали:

— Раз! Два!.. Три! — и он ударил первый, и очень удачно попал мне по носу, а я стоял задом прямо к низкому, под колени, штакетнику и поскользнувшись перевалился через него вверх ногами.

Засмеялись мои сторонники.

Ободренный противник, не успел я вылезти, бросился и изловчился отправить меня обратно.

Зрители помирали. Я растерялся.

И в этой растерянности он очень расторопно набил мне морду. Не больно, — не те веса у нас были, но довольно противно и обидно. Я был деморализован.

— Эх ты, — презрительно бросил назавтра знакомый из его класса, — Василю не смог дать...

Я так и не дал Василю. Черт его знает: меня били, я бил, и репутацией он не пользовался, бояться нечего было, — а остался его верх.

Это обошлось мне в пятьсот рублей и неделю времени. Я полетел в Карымскую, где тогда учился, поднял школьный архив, взял его данные и разыскал в Оловянной, в трех часах езды.

— Ну, здравствуй, Василь, — сказал я сурово, встав в дверях.

Он испугался, — хилый недомерок, полысевший, рябой такой.

— Одевайся, — велел я. — Разговор есть. Минут на пару.

Затравленно озирающегося, я свел его с крыльца в снег, к заборчику, треснул и подняв под бедра (легонького, не больше шестидесяти) свалил на ту сторону.

Он поднялся не отряхиваясь. И было не смешно. Но и жалко мне не было. Происходящее воспринималось как бы понарошке. Я знал, что все объясню, и мы вместе посмеемся.

— Не трусь, — ободрил я. — Лезь обратно.

И повторил номер.

Войдя в нечаянный азарт, я довесил ему, пассивно сопротивляющемуся, напоследок, и принялся очищать от снега. Он подавленно поворачивался, слушаясь.

— А теперь выпивать будем, — объявил я. — Зови в гости.

Он отдыхал один дома (работал машинистом тепловоза) — жена на работе, дети в школе.

— А помнишь, Василь, — со вкусом начал я, когда мы разделись и сели в кухне, за застеленный клеенкой стол напротив плиты, где грелась большая кастрюля, — помнишь, как во втором классе одному дал?

Под нагромождением подробностей, с ошеломленным и ясным лицом, он вскочил и уставился:

— Дак што?.. Ты-ы?!

Я выставил водку. Мы выпили за встречу. Я, уже привычно, объяснился — зачем пожаловал. Он смотрел с огромным уважением и не верил:

— Для этого за столько приехал?

Разговор пошел — о чем еще?.. — о судьбах школьных знакомых...

— А ты где работаешь?

— Пишу.

— В газете?

— Да не совсем. Книги.

— Писатель? — осмысливающе переспросил Василь.

— Так.

— Писатель, — он даже на стуле подобрался. — А... что написал? Я читал?

— Э... Вряд ли. — Я назвал свои книги.

Он подтвердил с сожалением.

— Обязательно в библиотеке спрошу, — пообещал он, и было ясно, что да, действительно спросит, и даже возможно найдет и прочтет, и будет рассказывать всем знакомым, что этот писатель — Рыжий, Тишка из второго Б, которому он когда-то набил морду, а теперь Тишка приехал и ему набил, вот дела, и поставил выпить.

Суетясь на месте, Василь уговаривал дождаться семью, обедать, погостить; приятно и ненужно...

Я оставил ему адрес. Он кручинился: семья, работа... я понимал прекрасно, что он ко мне не заглянет, да и говорить нам будет не о чем, а принимать на постой его семейство мне не с руки, — но, отмякший сейчас и легкий, приглашал я его в общем искренне.

12

Подобных должков еще пара числилась. И первый из кредиторов, надо сказать, обработал меня самым лучшим образом. Крепкий оказался мужик. Потом мне за примочками в аптеку бегал и сокрушался. Последующее время мы провели не без удовольствия, он ахал, восхищался моей памятью, очень одобрял точку зрения на долги и все предлагал мне дать ему по морде, а он не будет защищаться; профессия моя ему почтения не внушала, это слегка задевало, но и увеличивало симпатию к нему.

Я честно сделал все возможное и ощущал долг отданным; он уверял меня в том же, посмеиваясь.

Мы расстались дружески, по-мужски, — без пустых обещаний встреч.

С другим обстояло сложнее. Круче.

Он увел у меня девушку. Такой больше не было. Он увел ее и бросил, но ко мне она не вернулась. Рослый и уверенный, баловень удачи, — чихать он на меня хотел.

Ночами я клялся заставить его ползать на коленях: типическое юное бессилие.

Расчет распадался, — разве только он теперь обдряб и опустился. Но вопрос стоял неогибаемо: сейчас или никогда.

Он пребывал в Куйбышеве. Он был главным инженером химкомбината. Он процветал. Я оценил его издали, и костяшки моих шансов с треском слетели со счетов.

Восемь гостиничных ночей я лежал в бессоннице, а днями обрывал автоматы, уясняя его распорядок. Из го-

стиницы я не звонил, опасаясь встречной справки. Утром и вечером я припоминал перед зеркалом все, что пятнадцать лет назад на тренировках вбивал в нас до костного хруста знакомый майор, инструктор рукопашного боя морской пехоты.

Я пошел на девятый день. Я знал, что он один. Я пережидал на лестничной площадке, ставя на внезапность, скрепляя на фундаменте своей боязни недолговечную постройку наглости. Я не звонил — я постучал в дверь, угрожающе и властно.

Он отворил не спрашивая — в фирменных джинсах, заматеревший, громоздкий.

— Ну вот и все, Гена, — сказала ему судьба моим голосом, и я шагнул, бледнея, в нереальность расплаты.

И знаете — он тут струхнул. Он отступил с застрявшим вздохом, от неожиданности каждая часть его лица и тела обезволилась по отдельности, это был мой момент, и я обрел действительность в сознании, что не упущу этот момент и выиграю.

Я ударил его по уху и в челюсть, без всякой правильности, рефлекс мальчишеских драк — ошеломить, и знал уже, что он не ответит, и он не ответил, он закрылся, согнувшись, и инструкторский голос рявкнул из меня, окрыленного: «На колени!!», и я дал ему леща по затылку,

...и он опустился как миленький. И сказал: «Не надо...»

И во мне прокрутилась гамма: счастье, облегчение, разочарование, усталость, покой, растерянность. Я пихнул его носком ботинка в мощный зад, и все вдруг мне стало безразлично.

— Иди ум-мойся, — сказал я и стал закуривать, забыв, в каком кармане сигареты.

Он нерешительно поднялся и долгую секунду смотрел (он узнал меня) с робостью, переходящей в убедительнейшую любовь. Любовью всего существа он жаждал безопасности.

— Иди, — повторил я, кивнул, вздохнул и снял пальто. — Быстро.

Не стоило давать ему опомниться, но у меня у самого нервы обвисли.

Расположились средь модерного интерьера: лак, чеканка, низкие горизонтали мебели. Любезнейший хозяин метнул коньяк. Я припер жестом: заставил принять шестнадцать рублей — стоимость.

— За то, чтоб ты сдох.

Он улыбнулся с легкой укоризной, и мы чокнулись.

— Знаешь за что?

— Да.

За это «да» он мне понравился.

Я имел приготовленный разговор. «Почему ты на ней тогда не женился?» — «Ну... можно понять...» — «Я могу заставить тебя сделать это сейчас. Или — крышка, и концов не найдут». (Ужаснейшая ахинея. Я давно потерял ее из вида.) — «Пусть так, допустим даже... Но — зачем?..» — «Да или нет? Быстро! Все!» — Летучее лицемерие памяти: «Я думал иногда... Может, так было бы и лучше...» Вообще — дешевый фарс. Но взгляните его глазами: после прошедшей увертюры первые минуты ожидаешь чего угодно.

Мы проиграли нечто подобное взглядами. Превратившись в слова, оно обратилось бы фальшью.

— Я мог бы уничтожить тебя, — вбил я. — Веришь?

— Да. — Правдивое «да» звучало лестно.

Ах, реализовалась фантазия, спал долг, да печаль покачивала... Я помнил, какой он был когда-то, и она, и я сам, и как я мучался, и как страдала она — из-за него, и ее страдание я переживал иногда острее собственного, честное слово.

Я не испытывал к нему сейчас ненависти. Нет. Скорее симпатию.

— Прощай.

Он тоже поднялся, неуверенно наметив протягивание правой руки. Я пожал эту руку, готовно протянувшуюся навстречу.

Когда-то при мысли, чего эта рука касалась, я погибал.

А почему бы, в конце концов, мне было теперь и не пожать ее?

13

Зима сматывалась с каждым солнечным оборотом, все более размашистым и ярким; таяло, сияло, позванивало; почки памяти набухли и стрельнули свежими побегами воспоминаний о женщинах и любви.

И я полетел в Вильнюс, где жила сейчас моя первая женщина, жена своего мужа и мать двух их детей, которая в семнадцать лет любила меня так, что легенды тускнели, и которой я в ответ, конечно, крепко попортил жизнь.

Я позвонил ей; она удивилась умеренно; я пригласил, и она пришла ко мне в номер — казенное гостиничное убранство в суетном свете дня.

Статуэтки с кукольными глазами, «конского хвостика», ямочек от улыбки — не было больше; она сильно сдала; во мне даже не толкнулась тоска, — она вошла ч у ж а я.

— Здравствуй, Тихон, — сказала она (а голоса не меняются) с ясной усмешкой, как всегда, уверенно и спокойно. А на самом-то деле редко она когда бывала уверенной и спокойной.

И инициатива неуловимым образом опять очутилась у нее, несмотря на предполагаемое мое превосходство. Из неожиданного стеснения я даже не поцеловал ее, как собирался.

Шампанское хлопнуло, стаканы стукнули с тупым деревянным звуком.

— Говори, Тихон.

— Я давно... давно-давно хотел тебе сказать... Я очень любил тебя, знаешь?..

— Неправда, Тихон. — Она всегда называла меня полным именем. — Ты не любил меня. Просто — я любила тебя, а ты был еще мальчик.

— Нет. Знаешь, когда меня спрашивали: «Ты ее любишь?» — я пожимал плечами: «Не знаю...» Я добросовестно копался в себе... Что имеешь не ценишь, а сравнить мне было не с чем... обычное дело. Я же до тебя ни одной девчонки даже за руку не держал.

— Ты мне говорил это...

Я собрался с духом. Я вел роль. Ситуация воспринималась как книжная. Ни хрена я не чувствовал, как она вошла — так у меня все чувства пропали. Но я понимал, что делаю то, что нужно.

— Двадцать лет. Я только два раза любил. Первый — тебя. К черту логику некрологов. Хочу, чтоб знала. Я ни с кем никогда больше не был так счастлив.

— Просто — нам было по семнадцать.

— По семь или по сто! Мне невероятно повезло, что у меня все было так с тобой. Ты самая лучшая, знай. И прости мне все, если можешь.

— Детство... Нечего прощать, о чем ты... Ты с этим приехал? Зачем? Ты вдруг пожалел о том, чего у нас не было? Или ты несчастлив и захотел причинить мне тоже боль?

— Зачем ты... Я только по-хорошему...

— Что ж. Спасибо. — Она закурила. — Сто лет не курила. Да. Моя Катька уже влюбляется. — Она ушла в себя, тихонько засмеялась...

— Я хотел, чтоб ты знала.

— Я всегда это знала. Это ты не знал.

— А ты — ты ничего мне не скажешь?

— Спрошу. Ты счастлив?

— Да. Я жил как хотел, и получил чего добивался.

— Не верится. Ну... я рада, если так; правда.

Я попытался поцеловать ее. Она отвела:

— Не стоит. — И вся ее гордость была при ней. — Ты всегда любил красивые жесты.

— Пускай. Но так надо было, — ответил я убежденно, мгновение жалея ее до слез и изрядно любуясь собой.

14

Душа моя очищалась от наростов, как днище корабля при кренговании. Зеленые водоросли, прижившиеся полипы не тормозили уже свободного хода, я чувствовал себя новым, ржавчина была отодрана, ссадины закрашены, — целен, прочен, хорош.

Или — я был хозяйкой, наводящей порядок в заброшенном и захламленном доме. Или — лесником, производящим санитарную порубку и чистку запущенного леса: солнце сияет в чистых просеках, сучья собраны в кучи и сожжены, и долгожданный порядок услаждает зрение.

Мне нравилось играть в сравнения. (А вообще пригодятся — употреблю в какой-нибудь повести.)

15

К концу стало приедаться. Но наступил март, а мартовское настроение наступило еще раньше. Весьма необременительно зачеркивать пустующие по собственной вине клеточки в своей судьбе, когда нужное является приятным.

Я позвонил Зине Крупениной. Знакомство семнадцатилетней давности, подобие взаимной симпатии: я ей нравился не настолько, чтоб кидаться в мои объятия сразу, она мне — недостаточно для предпринятия предварительных действий. Лет пару назад, при уличной встрече, она улыбалась и дала телефон.

Все произошло до одури трафаретно, скука берет описывать: ну, вечер, двое, интимный антураж, предписанная каноном последовательность сближения... Лицемерием было бы назвать ночь восхитительной, — но не был, это, конечно, и чисто рассудочный акт.

Проснулись до рассвета, с мутной головой — перепили. Я долго глотал воду на кухне, принес ей, сварил кофе, влез обратно в постель, мы закурили. Окно светлело.

Я ткнул из кучи кассету в магнитофон. Оказался Кукин. Песенки, которые мы все пели в начале шестидесятых, несостоявшаяся грусть горожан.

Я люблю случающийся рассветный час после такой ночи: опустошенная чистота, и горечь и надежда утверждения истины.

— Час истины, — произнес я вслух.

Кажется, она поняла.

— Кукин... — сказала она. — Ах... Где он сейчас?..

— Работает в «Ленконцерте», — сказал я.

16

По тому же сценарию прошли еще три свидания. Связи, по инертности моей застрявшие на платоническом уровне, были приведены к уровню надлежащему.

У четвертой выявился полный порядок с семьей и отсутствие желания, но я уже впрягся как карабахский ишак и, преодолевая встречный ветер, три недели волок свой груз через филармонию, ресторан с варьете, выставку и вечер у знакомых актеров, пока не свалил в своем стойле с обещаниями, услышав которые, волшебный дух Аладина сам запечатался бы в бутылку и утопился в море. И я поставил галочку против этого пункта тоже.

На субботу я снял банкетный зал в «Метрополе». Я разослал пятьдесят четыре приглашения. Я ходил ужинать к этим людям в дни, когда сидел без гроша. Они проталкивали мои опусы, когда я был никем, а они тоже не были тузами. Я был обязан им так или иначе. И я не был уверен, что случай отблагодарить представится. Кроме того, я давно так хотел.

На этом сборище я поначалу чувствовал себя нуворишем. Не все клеилось, многие не были знакомы между собой. Но по мере опустошения столов — вполне познакомились. Ну, кто-то льстил в глаза, ну, кто-то говорил гадости за глаза, — ай, привыкать ли к банкетам. Я их всех в общем любил. И все в общем прошло хорошо.

17

Наутро я проснулся — будто первого января в детстве. Четверть окончена, табель выдан, каникулы впереди, подарки на стуле у изголовья, и праздничное солнце — в замерзшем окне. Играет музыка, а веселые мама с папой разрешают поваляться в кровати. Жизнь чудесна!

Я побродил в халате по квартире, «Бони М» пели, сигарета была мягкой и крепкой, коньяк ароматным и крепким, апрельский свежий день светился, прошедшие дни в наполненной памяти лежали один к одному, как отборные боровички в корзине.

План мой, перечень на четырех листах, я перечитал в тысячный и последний раз, и против каждого пункта стояла галочка.

Я со вкусом принял душ, со вкусом позавтракал, со вкусом оделся и пошел со вкусом гулять, — путешественник, вернувшийся из незабываемой экспедиции.

Дошел до своего метро «Московская», и еще одно осенило: не раз под закрытие приходилось мне просить контролера пустить в метро без пятака — то рубль не разменять, то просто не было и врал про забытый кошелек, — и всегда пускали.

Я сосчитал по пальцам число станций нашего метро и купил в булочной тридцать одну шоколадку.

— Девушка, — сказал я девушке лет сорока, хмурящейся в своем загончике у эскалатора, — я задолжал вашей сменщице пятачок, — и протянул шоколадку.

Она улыбнулась, взяла и сказала:

— Спасибо!..

Я тоже ей улыбнулся и поехал вниз.

Ту же процедуру я произвел на остальных станциях, и к исходу четвертого часа, слегка одуревший от эскалаторов и поездов, подъезжая к последней остающейся станции — к «Академической», — обнаружил, что шоколадки кончились. Я каким-то образом ошибся в счете. Станций было не тридцать одна, а тридцать две.

Я устал. Выходить и снова покупать не хотелось. Пятак отдать? Ну, несолидно. И безделушек никаких — я похлопал по карманам. Единственное — шариковая ручка: простенькая, но фирменная, «Хавера». Привык, жаль немного. А, что жалеть, для себя же делаю.

И я подарил ручку с подобающими объяснениями светленькой симпатяжке с «Академической».

— И вам не жалко? — покрутила она носиком. — Спасибо. Хм, смешной человек!..

Я поехал домой.

18

Выйдя наверх, в отменно весеннюю погоду (уж и забыл о ней), я позвонил Тольке Хилину. Трубку никто не снял, — на дачу небось выбрался, работает. Позвонил Наташе — тоже никого. Усенко — не отвечает. Чекмыреву — никого нет.

Ну как назло. Хотелось поболтаться с кем-нибудь по городу, посидеть где-нибудь. День еще такой славный, настроение соответствующее.

Ладно у меня всегда запас двухкопеечных монет, на сдачу привык просить. Звоню Инке Соколовой.

— Вы ошиблись. Здесь таких нет, — отвечает мужской голос.

Странно. Я полез за записной книжкой. Книжки не было. Забыл дома, видно, хотя со мной это редко случается.

Я истратил все семь остававшихся монет. Телефонов пятнадцать не ответили. Семь раз сказали:

— Вы ошиблись. Таких здесь нет.

Во мне разрасталось странноватое ощущение. Не настолько дырявая память у меня. С этим странноватым ощущением я пошел домой.

В винном кладу мелочь:

— Пачку «Космоса».

А продавщица — рожа замкнута, смотрит сквозь меня — ни гу-гу.

— Мадам! Вы живы?

Тут мимо меня один протиснулся:

— За два сорок две.

Она отпустила ему бутылку. А на меня — ноль внимания. И хрен с ней. Не стоит настроение портить. Я вышел из того возраста, когда реагируют на хамство продавцов. В конце концов дом рядом, заначка имеется.

Дошел я до своего дома...

Дважды в жизни я такое испытывал. Первый раз — когда школу закрыли на карантин — грипп — а я после болезни не знал и приперся: по дороге ни единого ученика, окна

темные и дверь заперта. Чуть не рехнулся. Второй — в студенческом общежитии пили, я спустился к знакомым на этаж ниже, а вернуться — нет лестницы наверх. Полчаса в сумасшествии искал. Нет! Ладно догадался спуститься — оказывается, я на верхний этаж, не заметив, пьяный, поднялся.

Моего дома не было.

Все остальные были, а моего не было.

Ровное место, и кустики голые торчат. Травка первая редкая.

Я походил, деревянный, с внимательностью идиота посмотрел номера соседних домов: прежние, что и были.

Старушечка ковыляет, пенсионерка из тридцатого дома, визуально знал я ее.

— Простите, — глупо говорю, — вы не подскажете ли...

Она идет и головы не повернула.

Я окончательно потерялся. Потоптался еще и пошел обратно к Московскому проспекту. Может, сначала попробовать маршрут начать?

Очередь на такси стоит. Покатаюсь, думаю, поговорю с шофером, оклемаюсь, а то что-то не того...

— Граждане, кто последний?

Ноль внимания.

Кошмарный сон. На улице без штанов. Руку до крови укусил. Фиг.

Пьяный идет кренделями, лапы в татуировке.

— Ты, алкаш, — говорю чужим голосом, — в морду хошь? — и пихнул его.

Он и не шелохнулся, будто не трогал его никто, и дальше последовал.

Чувствую — сознание потеряю, дыхание будто исчезает.

Иду куда глаза глядят по Московскому проспекту.

Мимо универмага иду. Зеркальные витрины во всю стену, улица отражается, прохожие, небо.

Иду... и боюсь повернуть голову.

Не выдержал. Повернул.

Остановился. Гляжу.

Все отражалось в витрине.

Только меня не было.

Я изо всей силы, покачнувшись слабо, ударил в зеркальное стекло каблуком. И еще.

И оно не разбилось.

СВИСТУЛЬКИ

Он очнулся нагой на берегу. Рана на голове кровоточила.

Сначала он пытался унять кровь. Прижимал рукой. Промыл рану соленой жгучей водой. Отгонял мух. Потом нарвал листьев и осторожно залепил. В дальнейшем рана зажила. Шрам остался от лба до темени. И иногда мучали головные боли.

Возможно от удара по голове, ему начисто отшибло память. Если он видел какой-то предмет, то вспоминал, что к чему в этой связи. А с чем не сталкивался — о том ничего не помнил.

Изнемогая от жажды, он четыре дня скитался по лесу и набрел на ручей. Ел он ягоды и корешки (с опаской, несколько раз отравившись). Первый дождь он переждал под деревом. При втором построил шалаш. Впоследствии он построил несколько хижин: одну из камней у береговой скалы, другую в лесу у раздвоенной пальмы, из сучьев и коры. Хижины выглядели неказисто, но от непогоды укрывали. А когда он наткнулся на глину и приспособил для обмазки, жилища стали хоть куда.

Наблюдая, как чайки охотятся на рыбу, он пытался добывать ее руками, палкой, камнем, отказался от безуспешных способов и сложил в лагуне ловушку-запруду из камней, в отлив удавалось поймать. Собирал моллюсков. Из больших, с твердым глянцем листьев соорудил подобие одежды, защиту от жгучего солнца. Насушил травы для постели. Вылепил посуду из глины.

Жизнь наладилась, лишь немного омрачала настроение язва на ноге. Она саднила и мешала при ходьбе. Однако не настолько, чтоб он не смог предпринять путешествие на гору с целью осмотреться. Он взбирался сквозь заросли наверх с восхода до заката и остановился на вершине, задыхаясь: кругом до горизонта темнел океан, и солнце угасало за его краем. Это был остров.

На вершине горы он приготовил сигнальный костер. Рядом сделал хижину и стал глядеть вдаль, где покажется корабль. Он спускался только за водой и пищей и очень торопился обратно.

Через два года он, потеряв сначала надежду на корабль, вслед за ней потерял уверенность, что вообще существуют корабли, да и сами другие люди тоже. Нет — значит нет. А что было раньше — строго говоря, неизвестно. Голова иногда очень сильно болела. Даже из происшедшего на острове он уже не все помнил.

Он вернулся к хозяйству. Четыре добротные хижины, запас вяленой рыбы и сушеных корней, кувшины с водой, протоптанные тропинки, инструменты из камешков, палок, раковин и рыбьих костей. Конечно, обеспеченный быт требовал немало труда.

Выковыривая как-то моллюска из глубин витой раковины тростинкой, он дунул в тростинку, чтоб очистить ее от слизи, — и получился свист. Ему понравилось. Он подул еще, с удовольствием и интересом прислушиваясь к звуку. Потом дунул в другую тростинку — та тоже свистела, но чуть иначе, по-своему.

Он развлекался, увлеченный. Тростинки, толстые и тонкие, надломленные и длинные — каждая имела свой звук. Он улавливал закономерности.

Первая мысль, которая пришла ему наутро — подуть в полую раковину. Раковина зазвучала басовито и мощно. Другие раковины тоже звучали. Он стал сортировать их по силе и высоте звука.

Вскоре он уже обладал сотней разнообразнейших свистулек. Были там из пяти, восьми и более неравных тростинок, скрепленных глиной, были глиняные и из раковин, с дырочками и без, прямые и гнутые. Он придумывал комбинированные, позволяющие извлекать сложный звук.

У него обнаружился музыкальный слух. Он научился наигрывать простенькие мелодии, переходя к более сложным. На лице его появлялось при этом задумчивое и болезненное выражение, — возможно, он пытался вспомнить многое... и не мог, но как бы прикасался к забытой истине, хранящейся, видимо, где-то в глубинах его существа, куда не дотягивался свет сознания.

Он познал в этом наслаждение и пристрастился к нему. Совершенствовал мелодии и сочинял новые. Иногда у него даже вырывался смешок, появлялась слеза — а раньше он смеялся только при удачной рыбалке, а плакал от боли.

Хозяйство терпело некоторый ущерб. Усладиться мелодией было иногда желанней, чем добывать свежую пищу, коли какая-то оставалась.

Он, вполне допустимо, полагал себя гением. Не исключено, что так оно и было.

Гора на острове оказалась вулканом. Вулкан начал извержение утром. Плотный грохот растолкнул воздух, пепел завесил небо. Белое пламя лавы излилось на склоны, лес сметался камнепадом и горел. А самое скверное, что остров стал опускаться в океан. Это произошло тем более некстати, что с некоторого времени человека гнело несовершенство последних мелодий, а накануне вырисовалось рождение мелодии замечательнейшей и прекраснейшей.

Он оценил обстановку, вздохнул, взял вяленой рыбы и кувшин с водой, взял любимую свистульку из восьми тростинок, четырех раздвоенных глиняных трубочек и двух раковин по краям, и стал пробираться через хаос и дымящиеся трещины к холму в дальней части острова. Там он отдохнул, закусил, и принялся с бережностью нащупывать и строить мелодию. Устав, он пил воду, разглаживал пальцами губы и играл дальше.

Не то чтоб он не боялся или ему было все равно. Но он понимал, что — а вдруг уцелеет; и от его сожалений ниче-

го не зависит; надо же чем-то занять время и отвлечься от грустной перспективы; хоть насладиться любимым занятием; да и — просто хотелось, вот и все.

Извержение продолжалось, и остров опускался. Через сутки волны плескались вокруг холма, где он спасался. У него еще оставалось полрыбы. Когда сверху летели камни, он прикрывал собой инструмент. Если ему не удавался очередной сложный пассаж, он ругался и топал ногами. А когда мелодия звучала особенно чисто и завораживающе, он прикрывал глаза, и лицо у него было совершенно счастливое.

ВЕЧЕР В ВАЛГАЛЛЕ

ВЕЧЕР В ВАЛГАЛЛЕ

1.

Чернышевский. Что делать?.. *(Зажигает свечу.)* Что делать... *(Садится, пишет.)* Что делать. *(Рвет написанное, хватается за голову, раскачивается.)* Что делать!

Герцен *(бьет в колокол)*. Бумм!

Чернышевский. Что ты звонишь? Что ты звонишь?

Герцен. Зову живых.

Чернышевский. Куда?

Герцен *(растерянно)*. Ну... Вперед.

Чернышевский. А где — перед?

Герцен. Ну... там. Вверху.

Чернышевский. Что — вверху? Что — вверху? Ты что думаешь — там все лучшее; такие воплощения гуманитарной мечты, типа солнца прогресса, да? Там, вверху — о-о-о-о!..

Герцен. Нигилист. Пессимист. Социалист. А ты что — туда уже лазил? *(Принюхивается.)* О господи боже мой, там что, вот так пахнет?..

Чернышевский. Ты вот что: унес ноги, свалил в Англию, захапал денег, так сиди уж тихо.

Герцен *(жалуется)*. Декабристы разбудили.

Чернышевский. Снотворное пить надо, а не шампанское!

Герцен. Ну... все же — молодые штурманы будущей бури.

Чернышевский. Штурманы. Иваны Сусанины. А по сусалам! Страшно? Страшно далеки они от народа!

Герцен. Кто виноват? Бумм! *(Бьет в колокол, колокол падает.)* Кто виноват? Бедная Россия, и повесить-то в ней толком не умеют.

2.

Мать *(пьет чай. Разворачивает письмо).* Володя. Брата Сашу повесили.

Ленин. Вот так люди просто сидят и пьют чай — а в это время рушится их счастье и складываются их судьбы. *(Отодвигает стакан. Встает. Обнимает мать.)* Хочется всех гладить по головке. А гладить нельзя. *(Расхаживает, сопровождая слова шагами)*: Шаг вперед — два назад... Шаг вперед — два назад... И побольше расстреливать! Есть такая партия. *(Устанавливает дорожный указатель.)* Мы пойдем другим путем! *(Уходит.)*

Александр *(входя и глядя ему вслед, качает головой).* Хм... Откуда во мне эта странная симпатия к царю Ироду?..

Мать. Саша, зачем ты пошел по этой дорожке...

Александр. По этой? Ты на ту посмотри. Даже в сказках — все настоящие-то хлопоты от младшеньких братьев.

Мать. Мужайся, Саша...

Александр. Мужаюсь, мама. *(Хохочет, утирая слезы.)* Выродженцы... не того повесили!

Мать. Мужайся, Саша.

Александр. Мужаюсь, мама.

3.

Комиссар. А между прочим, если переодеться, хрен нас кто различит.

Поручик. «Принц и нищий», что ли?

Комиссар. Но-но, «принц»! Мир хижинам, война дворцам!

Поручик. Да. Мечта питекантропа — каждому по отдельной хижине, а дворцы пожечь, чтобы — не хрен. И все-таки зря...

Комиссар. Почему же зря?

Поручик *(закуривая папироску).* Зря мы вас не всех перевешали. Веришь ли — уже веревок не хватало.

Комиссар *(скручивая самокрутку).* Да не то зря. А то зря, что мы вас расстреливали-расстреливали, и вот, ты понимаешь, все равно не всех расстреляли.

Поручик. Нет в жизни счастья. Выпей за светлую жизнь, товарищ.

Комиссар. В смысле — за свет в конце тоннеля? Только бы не встречный паровоз. Выпей и ты за Россию, ваше благородие *(чокаются фляжками).*

Поручик. Боже мой, боже мой...

Комиссар. Твою мать, вспомнишь — вздрогнешь...

Поручик. А, уже можно расслабиться. Время идет — и все равно в этой стране всегда что-то не так...

Комиссар. Что-то? Что-то... Все, все тут всегда не так!.. Народ забитый, хозяйство отсталое, климат холодный, пространства огромные... и взгляды ведь — или кулацкие, или дурацкие! Аж маузер опускается и водка не берет.

Поручик. Хм. Водка. Тут кокаин не помогает. Нюхнешь — все фигня, и не нюхнешь — все фигня.

Комиссар. Всё бы хрен с ним, одно обидно. В основе была мечта хорошая и мысль правильная.

Поручик. Ага. А помойка получалась сама собой. Гадская жизнь хорошим намерениям не хотела соответствовать, точно?

4.

Александр. Вовка, сука, ты что натворил?!

Ленин. Не понял, Саша.

Александр. Чего ты не понял, лысое ублюдище? Ты чего вообще наделал?! Ты чего наворотил? Боже, за что же мне видеть такие страшные сны. Ужас, бред, кошмар, кто тебя просил, скотина.

Ленин. Саша, успокойся. Во-первых, ты можешь теперь спокойно спать...

Александр. Я? Спать? Спокойно?! Да я верчусь в гробу пропеллером от твоих подвигов!

Ленин. Во-вторых, хватит меня воспитывать. Всегда ты был чем-то недоволен. Ну вот с чего, с чего ты завертелся?

Александр. На кой черт ты разогнал Учредительное собрание и расстрелял демонстрацию?

Ленин. Не помню. Погоди. Мешали, это факт! Сашка, они все болтуны, эти либералы, они заболтают любое дело! А нам власть спасать надо было. Нельзя их жалеть — если б они чего-нибудь стоили, фигушки дали бы разогнать себя. Сами бы всех расстреляли.

Александр. Вова. Вот ты политиком стал. Прославился. А ведь у тебя психология пулеметчика.

Ленин. А у тебя, Сашенька, психология овцы. Ты дал себя повесить! Думаешь, я не плакал?.. А я царя казнил, и создал в стране другое государство!

Александр. За государство ты еще ответишь. А с мизераблем этим — черт с ним, он уже все равно ничего не значил. Детишек-то зачем перестреляли.

Ленин. Ах! Ах! Какая чувствительность! А вот освободил бы их Колчак, собрал бы вокруг них всех монархистов! Не изображай из себя девственницу-курсистку. А когда Халтурин целый зал во дворце грохнул — много он о детишках заботился? Кстати, ты не знаешь, какие идиоты могли доверить акцию человеку с фамилией Халтурин?

Александр. Ну... это такая национальная традиция.

Ленин. Страна Халтуриных! Как же — он столяр, пролетарий, понимаешь. Папа Карло решил взорвать Буратино с его театром. А когда Девятого Января расстреляли рабочую демонстрацию на Дворцовой — там детишки не погибли? Нет, ты мне скажи — зачем эта сволочь расстреливала детишек на Дворцовой? Думал, что все ему с рук сойдет? Революция — дело жестокое ну необходимо было династию уничтожить, и все тут.

А войну на черта он начал? Чего ему не хватало, чего не сиделось? Проливы захотел, Болгарию захотел, Балканы захотел? Что у тебя за странная логика: он убил миллионы мужиков — и добрый, а мы убили его поганую семейку — и злые. А счастье человечества для тебя ничего больше не значит?

Александр. Где обещанное счастье?! Ладно царь — ты что со страной сделал?

Ленин. Саша, а чего я сделал?

Александр. Ах, чего он сделал?! А ты сам не видишь, ты посмотри!

Ленин. Я умер. Мы бы знаешь как все хорошо сделали. Это же не народ, это же какие-то сиволапые головотяпы. Я с партией-то собственной, и то замучился воевать. У меня правильно все было намечено. И цель правильная, и средства эффективные, и власть удержали, и кадры воспитали — и это все, Сашенька, заметь, одной половиной мозга. Я что, виноват, что у меня была одна половина мозга? Если бы у меня были две половины — мы бы вообще коммунизм построили на всей Земле. А Николашку я должен был убить на твоей могиле — но ты уж прости, отомстил как умел.

Царь. Скотина вы после этого, господин Ульянов.

Ленин. Я — скотина?!

Царь. А кто же, я, что ли? Я, по крайней мере, мученик. И морально безупречный человек. Честный, добрый и благородный. А вы предатель и германский шпион!

Ленин. Я — германский шпион?! Ах ты... самодержец... тебе знаешь что только самодержать? Сказал бы я... Да ты вообше сам немец!

Царь. Я-а немец?!

Ленин. А кто же, я, что ли?

Царь. Да вы не то еврей, не то калмык, не то швед... мусор империи, вот вы кто, а не человечишко!

Ленин. Да в тебе русской крови одна шестьдесят четвертая! Ты немец на шестьдесят три шестьдесят четвер-

тых, почти на девяносто девять процентов! Так что расстреляли мы немца во время войны с немцами, вот и радуйся!

Царь. Я ведь вашей семье после смерти отца пенсию назначил... в университете тебя на казенный счет обучал!

Ленин. Вот и дурак. Врагов уничтожать надо.

Царь. Это вы глупец, господин Ульянов. Вы же даже курса толком не окончили. И в должности помощника присяжного поверенного ни одного процесса не выиграли.

Ленин. Были задачи поважнее!

Царь. Какие задачи? По парижским борделям дурные болезни цеплять? В Англиях и Швейцариях награбленные деньги проматывать? У германского генштаба золото вымогать?

Ленин. Вот и вышло, что из тебя политик, как из дерьма пуля. Я на их же золото в Германии же революцию и устроил, балда!

Царь. Двойное предательство в вашем стиле.

Ленин. А ты, значит, ни в чем не виноват? А Сашку кто повесил?

Царь. А в чем я виноват? В том, что вас не вешал? И никакого Сашку, кстати, я тоже не вешал, это было при батюшке, вы, недоучка.

Ленин. Счастье твоего батюшки, что сам сдох, алкоголик проклятый. Только и сделал для страны, что придумал коньяк лимоном закусывать.

Царь. Вы беспринципный негодяй, господин Ульянов. И за это Господь покарал вас. И детей у вас не было, и умерли вы в немоте и безумии, как пес одинокий, и дружки ваши бандиты еще живого от власти вас отодвинули. И дело ваше кровавое в конце концов рухнуло.

Ленин. Твое дело раньше рухнуло. Сатрап и болван!

Царь. Я отрекся, чтоб русскую кровь не проливать. Я собой пожертвовал!

Ленин. Раньше надо было жертвовать! То-то ты мало кровушки на войне пролил!

Керенский *(сдирает платье сестры милосердия и*

швыряет Ленину, оставшись во френче и бриджах). И запомни — никогда я ни в каком женском платье не бежал! Что за страна, что за страна — вечно лавировать между идиотами и подлецами!.. И вам не стыдно — мы же в одной гимназии учились, папа вам золотую медаль вручал, чтоб вам, сироте, легче было в университет поступить!

Ленин. А ты — краснобай либеральный и наймит буржуазии!

Керенский. Зато вас всех пережил в спокойной Америке.

Ленин. И хорошо жил, буржуин?

Керенский. Плохо, Володя. Тупые они, зажрались.

Ленин. То-то!

Керенский. Грех на мне великий перед Россией.

Ленин. А-а, понял, наконец!

Керенский. Ну что мне стоило еще в апреле семнадцатого вас всех перевешать? Большевиков-меньшевиков, эсеров левых-правых, анархистов — ну буквально десять—двадцать тысяч человек. Кого не повесили — перестрелять прямо в подворотнях. И как все было бы хорошо-то, а! Тихо, законно. И никаких морей крови, никакой гражданской войны.

Ленин. Архиправильная мысль, батенька! Вот поэтому я — великий политический деятель, а ты — дерьмо на палочке. Стонать любой может — а ты ручонки-то запачкай, по подвалам-то врагов постреляй, глядишь своего и добьешься.

Керенский. Так мы же были за свободу и демократию! Вот вы бы на моем месте — как бы поступили?

Ленин. Ха-ха-ха! Вот именно — арестовал бы всех и расстрелял мгновенно без суда и следствия. Если революция не умеет себя защитить — она ничего не стоит.

Царь. Боже мой. А в Сибири — такой здоровый климат. И я ссылал вас туда, как на курорт.

Ленин. Вырожденец ты и дегенерат. Ни ума, ни воли. Ну сам скажи — нужен ли России царь без ума и воли? Мы ж тебя для блага твоей же страны шлепнули.

Царь. При мне хоть жить можно было!

Ленин. А смысл? А смысл? «Пожить». Тебя бы газком travануть в окопах, кишки вспороть снарядом, а после побеседовать: как, можно жить?

Царь. Ты же в сто раз больше убил!

Ленин. Так я боролся с контрреволюцией!

Александр. Да ты посмотри по сторонам, Вовка, идиот, что ты напорол! Полмозга у него. Меньше надо было башкой об лед биться, когда на коньках катался!

Ленин. Кто катался, а кому и саночки везти, братка!

Керенский. Царизм действительно прогнил, и нечего ему было ловить. Явно же не того брата повесили.

5.

Брежнев. Дорогие товарищи и друзья! Империалисты всех мастей развалили наш великий и могучий Советский Союз. Но Коммунистическая Партия не свернет с избранного пути, пока не развалит на хрен вообще все. Свободо... буда... бодубудалюбивая общественность всех стран по светлому пути сисисського соревнования... поручила мне! Аплодисменты, переходящие в овацию.

Ленин. Товарищ! вы кто?

Брежнев. Я верный ленинец.

Ленин *(нашаривая рукой стул, садится)*. Кто?!.

Брежнев. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической Партии.

Ленин. Как вы очутились на этом месте?!

Брежнев. Товарищи по партии долго не разрешали мне умереть. Но потом я покушал булочки с молоком и ушел на заслуженный отдых.

Ленин. А... что у вас с дикцией?

Брежнев. Вы сами картавите.

Ленин. Сколько вам лет?!

Брежнев. А вы кто?

Ленин. Ленин, просто отвечает.

Брежнев. Ленин?! Тут и сел старик. *(Садится.)* Простите, не узнал. *(Сравнивает его с профилем на своем ордене.)* Вы действительно похожи на орден Ленина, но у меня их больше.

Ленин. Товарищ, но вы же в маразме.

Брежнев. А вы тоже подписывали последние письма к съезду «Кукушка».

Ленин. Я был болен.

Брежнев. А я, по-вашему, здоров.

Ленин. Так уйти надо было!

Брежнев. Нельзя, Владимир Ильич. Как я ушел — так все и развалилось.

Ленин. Старые маразматики! Старые маразматики! Что, в Политбюро никого моложе не нашлось? Чем вы можете править, кадавр.

Брежнев *(читает по бумажке)*. Союзом Советских Социалистических Республик.

Ленин *(вырывает у него бумажки, листает, бросает)*. Так. Зря я умер. Ничего! Политбюро расстрелять. Дачи и квартиры конфисковать. Партийную чистку провести. Хлеб у крестьян изъять. И все на субботник — бревно носить! Я вам покажу, буржуйская порода! Я вам восстановлю ленинские партийные нормы!

Брежнев *(утирает слезы)*. Я добрый. Меня все любили. При мне был порядок. И колбаса. И двадцать лет ничего не менялось. А теперь...

Ленин *(читает ленту, вылезающую из тарахтящего телеграфного аппарата)*. Архиподлецы... Архикретины... Что-о?! А куда смотрела ЧК?! Куда смотрела армия?! *(Постепенно обматывается лентой, как серпантином.)* Ну что, товарищи — прогадили страну?..

Брежнев. Ужас охватил большевиков.

Ленин. Все разворовать. Все развалить. Всех распустить. Все вывезти. И плясать под дудку мировой буржуазии. Это же мамаево нашествие!

Керенский. Именно об этом так долго и упорно говорили большевики в восемнадцатом году. Нет, господин Ульянов, — это закономерный результат всех ваших беззаконных действий.

Ленин. Дерьмоголовый дерьмократ! Почему я не расстрелял тебя!

Керенский. Потому что не поймал.

Ленин. О-о-о... Кто раздал буржуям народные фабрики, заводы и нефтяные промыслы?!

Брежнев. Не я. При мне все немножко воровали, но надо давать людям жить.

Ленин. Где наша Украина? Где Туркестан и Кавказ? Кого хоть расстреляли за это?

Брежнев. Я люблю Украину. Это моя родина. Там живут добрые люди.

Ленин *(взвизгивает)*. Добрые? По головке гладить? Расстреливать! Что — опять флот в Крыму топить?! Мало вам было Врангеля?! Понатыкали флагов, понаставили статуй, понаплодили атаманов... варвары! вандалы! И молятся, и молятся... поповщину развели!!!

Царь. Вот вам ваша демократия, господин Ульянов, вот вам ваш коммунизм. Тысяча лет трудов — и все насмарку. Знал бы — сам застрелился, ей-Богу.

Ленин *(подбегая, обнимает его за плечи)*. Даже он понимает! Даже ему за вас стыдно! Посмотрите, посмотрите ему в глаза — за что человек жизнь отдал?.. Николай Александрович, сегодня мы открыто и честно протягиваем вам свою рабочую руку, предлагая вместе бороться за светлые идеалы страждущего русского народа. Революционеры всегда умели признавать свои ошибки и делать из них выводы!

Царь *(брезгливо высвобождаясь)*. Раскаиваюсь, что я не разрешил вовремя в Российской Империи аборты. Это могло бы изрядно способствовать сохранению численности народонаселения. Таковы парадоксы истории...

Ленин *(необидчиво)*. Тактика политической борьбы заключается в том, чтобы идти на союз хоть с чертом, если это может принести пользу делу. Перестанешь быть нужным — опять расстреляем, паразит.

Брежнев. Я не понимаю. Ведь все хорошо. Живем, кушаем, в машинах ездим. Я люблю ездить в машинах.

Только не надо ничего трогать. Если трогать, всегда что-нибудь случится.

Ленин. Случилось! Вы проели страну, жирные навозные мухи.

Брежнев. Владимир Ильич, чего вам не хватает? Партия правит, народ работает, все кушают, и завтра будет то же самое, пока — я.

Ленин. Ящер ты ископаемый, а где идеалы? Ты-то уже здесь, а там-то уже что?

Брежнев. Цель партии — благо народа.

Ленин. Да? У тебя сколько машин в гараже было?

Брежнев. Такого «роллс-ройса», как у вас, у меня не было.

Ленин. Значит, так. Партия уходит в подполье. Пароли и явки прежние.

Брежнев. Мы уже немолодые люди. Ну как мы будем сидеть в подполье? Нам врачи не позволят. И кроме того, что там делать?

Царь *(насмешливо)*. Этот пожилой господин прав. Вы все уже сделали.

Керенский. Господин Ульянов, у меня такое впечатление, что как в марте семнадцатого года большевики забегали со своими красными флагами — так до сего дня и не перестали, словно ошпаренные. Им бы только митинговать, кричать и стрелять. Ну сами посудите — что им делать в подполье?

Ленин. Готовить светлое будущее!

Керенский. Это значит — превратить в подполье всю страну? Так вы уже пробовали.

Царь. Лично для себя господин Ульянов подпольем подразумевает Швейцарию. Фрейдистский намек на подземные хранилища швейцарских банков, очевидно. Скатертью дорожка, господа реформаторы.

Ленин. Нет, господа. С паразитическими классами добром не договоришься. Для вас Россия — это власть для себя, свобода для себя и сытость для себя. Но есть еще народ!

Царь. О? В самом деле? Вы не всех перестреляли? Шарман.

6.

Сталин *(пыхая трубкой)*. Ну, что? Распустились? Головокружение от успехов, да? Все умные стали, руководящая роль партии больше не нужна, да? Зачем нужен товарищ Сталин, пусть себе идет на пенсию, пусть отдыхает. Говорите, товарищи, говорите, я послушаю.

Ленин. Коба! Они развалили страну!

Сталин. Не может быть. Какая неожиданность. А чего ты от них ждал?

Ленин. Это ты во всем виноват!

Сталин. Интересная точка зрения. Говорите, говорите, мы вас слушаем.

Ленин. Я же говорил, я же завещал, я же предупреждал, предостерегал: Сталин мог бы быть генеральным секретарем, если бы не его грубость и излишняя жестокость.

Сталин. В этой стране грубость и жестокость никогда не бывает излишней. Это такая специальная страна. Чтобы ее создать и сохранить — надо работать день и ночь. А разваливается сама. Как только отвернулся — она развалилась.

Ленин. Зачем ты перестрелял всю мою партию, ты, террорист, ты, рябое лицо кавказской национальности?!

Сталин. Товарищ Ленин, как народный комиссар по делам национальностей я бы попросил вас, с вашими калмыцкими глазками, шведской лысиной и еврейской картавостью, соблюдать политкорректность.

Ленин. Если бы ты не перестрелял всех героев и вершителей революции, всех ветеранов партии, все бы пошло иначе! Я же не приказывал своих-то расстреливать! Некому же оказалось коммунизм строить! Уголовник, мокрушник, ты же всех завалил, падла!

Сталин. Вы не должны были так говорить, товарищ Ленин. Во-первых, партия сама себя перестреляла. Вы почитайте архивы. Во-вторых, пауки в банке — это не партия. Хычники! Перегрызли чужих — взялись друг за друга. В-третьих — что делает пастух, если стадо разбредается в разные стороны?

Ленин. Что?

Сталин. Что. Приказывает овчаркам собрать стадо *(разбойничьи свистит)*. Глупых и непослушных овчарки кусают. Иначе никогда пастух не сможет привести стадо к сияющей вершине.

Ленин. Это были умные, убежденные люди, способные принести пользу!

Сталин. Это был сброд. Они были способны развалить империю. Способны убивать и грабить. Подчиняться, учиться, созидать — они были не способны. Разваливать должны одни люди. Деструктивные. А строить другие люди. Конструктивные. Когда первые разваливают, революция их убирает. Это были твои люди. А строят потом другие люди. Это были мои люди. Верные. Послушные.

Ленин. А что потом?!

Сталин *(шутит)*. Как говорит народ, потом — суп с котом. Потом они жиреют. Забирают много власти. Много о себе мнят. Заслуги у них, понимаешь. Тогда их тоже убирают. И ставят новых. Молодых, голодных, преданных. Они растут. И тоже жиреют и мнят. Тогда их убирают. И так далее. Ротация власти называется.

Ленин. Это правда, что ты хотел стать императором, да не успел?

Сталин. Э. Болтают люди.

Царь. Я поздравляю братьев Ульяновых. Царь им, видите ли, не нравился. Тиран, понимаешь. Любуйтесь на своего тирана! Да от него Иван Грозный до Португалии добежит!

Сталин. Разумный человек, а. Они тебя расстреляли — а я бы с тобой договорился, дело тебе нашел.

Царь. Какое дело, друг мой?!

Сталин. Дел много. Вместе бы выступили. Корону бы мне передал, скипетр передал, в кинохронике вместе снялись. С Англией отношения наладить помог по-родственному. Жил бы спокойно, потом заболел тихо.

Врач-вредитель. Так точно, товарищ Сталин!

Царь. Немец, значит, вам был плох. А грузин вас резал, и был хорош!

Сталин. Немец-перец-колбаса. Русский народ понимать надо. Если не расстреливать, не сажать — он тебя уважать не будет, любить не будет. Вот ты историю учил. Ивана Великого любили. Петра Великого любили. А дедушку твоего, Александра Освободителя, взорвали на хрен. Не любили. А ты ничего не понял.

Керенский. А все-таки я умер отомщенный. Мы боролись за правое дело, и правыми средствами. Пусть мы проиграли сражение — но войну выиграли. Народ устал трепетать перед кровавым тираном и влачить жизнь в нищете, и после его смерти вздохнул с облегчением. Жизнь становилась все либеральнее, и еще через треть века рухнул тиранический режим! И власть перешла к законно избранному демократическому парламенту, и пресса стала свободна, и раскрылись границы. И ничего после тебя не осталось, тиран, тиран! А наше дело восторжествовало!

Ленин. Вот ты думаешь, что ты мозг нации, а на самом деле ты говно. Что восторжествовало?! Страна развалилась, народы разбежались, мозги утекли за границу, детей рожать перестали... они же туземцы!.. вымирающие туземцы с ракетами по наследству!..

Керенский. Это вы все подготовили!

Чернышевский. Что делать? Что делать?

Герцен. Кто виноват? Кто виноват?

Сталин. Ах, кто виноват, скажите, пожалуйста? А кто капиталы за границу вывез? Я вывез? Мама твоя вывезла? Да ты хоть один день в своей жизни работал, понимаешь? Ты чьи деньги вывез? Ты народные деньги вывез. А кто тебе помог? Тебе еврей Ротшильд помог. Мировой сионизм тебе помог! И вот ты на народные деньги, которые награбил, живешь в своем Лондоне, сладко кушаешь, мягко спишь, и еще смеешь брякать в свой дурацкий колокол! Побренчи у меня, побренчи. Мы еще с вами разберемся, господин звонарь. Кто виноват, понимаешь... Вот вы и виноваты, вот такие: родину ограбили и удрали. Народ нищим оставили, хозяйство разоренным оставили — власть им теперь не нравится, власть им виновата.

Герцен. Я-а родину ограбил?!

Сталин. А кто, я, что ли? Я ее из руин поднял, могучей державой сделал!

Герцен. А кто вывез весь золотой запас?

Ленин *(быстро)*. Колчак! Белогвардейцы Колчака!

Герцен. Конечно! Колчака в прорубь — концы в воду. А кто слил в Германию все золотые монеты царской чеканки?! Кто организовал АО «Нужник» и угнал в Европу весь золотовалютный резерв под видом экспорта унитазов?!

Ленин. Да! Кто?

Герцен. Кто просрал все золото страны, заявив, что наконец-то коммунисты нашли золоту применение?!

Ленин. Кто? Кто? И нашли!

Герцен. Кто устроил такую инфляцию, что лампочка стоила пять миллионов рублей?!

Ленин. Это была лампочка Ильича!

Герцен. Кто продавал за бугор картины из Эрмитажа? Проклятый царизм их полтора века скупал, а ваши большевички за сто лет ни фига же не купили, только жалкие подачки принимали!

Царь. Александр Иванович, а что ж вы так поздно поумнели?

Керенский. И вы еще вешали народу лапшу на уши про достояние республики? Вандалы!..

Сталин. Не надо считать большевиков глупыми. Мы старались продавать буржуям подделки.

Герцен. А подлинники?

Сталин. А подлинники — другим буржуям.

Ленин. Батенька, вы не понимаете. Когда советская власть будет везде — какая разница, где золото, а где картины?

Герцен. Есть разница! Я не хочу быть везде. Я хочу быть там, где мое золото. С ним вместе от вас подальше.

Керенский. Но ворюги мне милей, чем кровопийцы!

Сталин. И ты сиди тихо в своем Нью-Йорке, пока с небоскреба не упал. Надо бояться своей молитвы — она может сбыться. А то звали, звали — и назвали ворюг на свою голову. А он сегодня ворюга — а завтра кровь твою пьет. Ди-

алектику учить надо. Если я граблю банк для революции — ничего, не сдохнут. А если банк грабит рабочих людей, и им детей кормить нечем — он уже не ворюга, он уже кровопийца. Ты понял? Ворюга сегодня излишнее украл, а завтра что ему красть? Тогда он последнее крадет. Хлеб крадет. Украсть хлеб — это убить рабочего человека.

Голос. Правильно, товарищ Сталин.

Сталин. Это кто? Почему не вижу?

Голос. Так съели меня, товарищ Сталин.

Сталин. В каком смысле съели? Вы на что намекаете?

Голос. В таком смысле намекаю, что соседи сварили.

Сталин. Зачем?

Голос. Так есть хотели. Голодно было.

Ленин. Это где же вас соседи съели, товарищ?

Голос. Так на Украине же.

Ленин. Я же приказывал заменить продразверстку продналогом! Коба, людоед, они что, так и ели друг друга, пока от России не отделились?! Это ты потерял Украину!

Сталин. Ай, они и сейчас едят друг друга. Такой характер. А что же мне было — из России им людей на съедение завозить?

Мать. Иосиф... Как я хотела, чтобы ты стал священником...

Чернышевский. Вот! Получил бы освобождение от пошлин на ввоз алкоголя и табака, организовал торговую коммуну, приносил пользу обществу, купил дома... Что делать...

Сталин. Я и стал священником, мама. Я стал не просто священником — я стал почти богом. Я основал новую религию! Люди молились на меня. Знаешь, как они плакали, когда я умер. Какие жертвы мне принесли.

Мать. Это была плохая религия, сынок.

Сталин. Религия не бывает плохая или хорошая. Религия бывает та, в которую верят, и та, в которую не верят. А чтобы поверили, нужно многих распять. Иначе тебя самого распнут.

Мать. А твоя собственная дочь не поверила. И уехала жить в Америку.

Сталин. В какой семье без урода? То с евреем спит, то с американцами живет. И откуда столько врагов у социализма, понимаешь. Конечно, я всего себя отдавал государству, некогда было заниматься семьей.

Коллонтай. А семья — это вообще пережиток буржуазного прошлого.

Ленин. Наденька, ты слышишь?

Коллонтай. Новым людям нужны свободные и полноценные половые сношения и крепкая дружба с товарищами и единомышленниками по партийной борьбе.

Царь. Вот теперь я верю, что страна пропала.

7.

Коллонтай. Половая жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так! *(Жизнеутверждающий жест.)*

Горький. Как?

Коллонтай. Чтобы не было мучительно больно *(морщится от воспоминаний).*

Горький. А если она ему не дается?

Коллонтай. Вы свою сноху имеете в виду?

Врач-вредитель. Алексей Максимович, вы перевозбудились. Туберкулез, знаете, нередко возбуждает чувственность. *(Делает ему укол.)* Расслабьтесь, отдохните.

Сталин. Да это история посильнее, чем «Фауст» Гете.

Коллонтай. Что мы строим, товарищи? Новую жизнь. Что нужно в первую очередь для новой жизни? Новый человек. Что нужно для нового человека? Свободное проявление естественных страстей. Во-первых, обеспечить всех презервативами...

Сталин. Презервативами? Маме твоей презерватив! Папе твоему презерватив! А кто будет рожать солдат? Ты будешь рожать солдат, проститутка?

Коллонтай. Рожают не солдат, товарищ Сталин.

Сталин. А кого?

Коллонтай. Детей.

Сталин. Подержал на руках, сфотографировался — и в солдаты!

Коллонтай. Подержал на руках, сфотографировался — и в дармоеды!

Сталин. Почему надо рожать дармоедов?

Коллонтай. Больше презервативов — меньше дармоедов.

Сталин. Сегодня дармоед — а завтра солдат. Непобедимая и легендарная!

Коллонтай. Сегодня дармоед — а завтра дезертир. С презервативом хоть хлопот меньше. Разве это солдаты? Кривые, хромые, слепые, плоскостопие, язвенники, невротики, пацифисты, педерасты, и у всех справки о врожденном идиотизме.

Сталин. Подожди, подожди... Слепой — поведем, кривой — направим, идиот — прикажем, педераст... почему педераст?

Коллонтай. Потому, что во-вторых — новый человек открыт для всех видов сексуальных отношений. Сексуальные меньшинства, национальные меньшинства, политические меньшинства — теперь все равны!

Сталин. Равны? Все? Кому? Конституционный демократ равен педерасту? Мы не понимаем.

Горький *(приходя в себя, слабым голосом)*. Черти вы драповые, вы сами не понимаете, какое дело сделали. Неолиберализм — это фашизм в овечьей шкуре.

Ленин. Браво, батенька!

Горький. Лысая сволочь... Вот чего ты не доделал — то они доделают, фашист говорит: я уничтожу твой народ, твою культуру, и заселю твою землю другим народом.

Сталин. Я ему так уничтожу. Я его самого уничтожил.

Горький. А неолиберал говорит: все люди хорошие, все люди равны, все культуры прекрасны, все сексуальные отношения правомерны, человек имеет право быть счастливым как угодно, если не мешает другим...

Керенский. Не лишено. Господа — не лишено!

Горький. И тогда — гомосеки, лесбиянки, наркоманы, дармоеды, дикари — все прут... и никого не укоротишь, суды продажны и запуганы, судьи тоже счастья хотят... и никого не выгонишь, шею не свернешь, дикий обряд не запретишь... а твой народ размножаться бросает, лень ему детей кормить, он жировать хочет... вместо литературы блядословие, вместо искусства шизофрения — а как же, все формы равны... А жрать подай! Кровать подай! Развлеки, одень! Своих детей нет — вези мне гастарбайтеров из джунглей! Вот и все. И через сто лет — три-четыре поколения — нет твоего народа, и нет твоей культуры, и нет твоей страны, а земля заселена другим народом, с другой историей, другой культурой, другой религией и другой ментальностью. И никакой войны! Эвтаназия! Сладкая смерть расы! Ты поняла, безмозглая шлюха? Можно перерезать горло — дергаться будет, сопротивляться, и умрет в муках сейчас. А можно пихать ему в глотку пирожные, которые он любит, пока от обжорства сам не сдохнет — это путь чуть длиннее, зато верней и спокойней. Либерализм и фашизм — та ж хреновина, вид сбоку. Ты слов-то не слушай, ты по делам смотри результат! ***(Плачет.)***

Коллонтай. Что вы имеете против лесбиянок?

Горький. Они не размножаются.

Керенский. Очевидно, по этой же причине вам не нравятся гомосексуалисты.

Горький. Нет. По этой причине они мне нравятся. Может быть, скоро сами вымрут. А пока меня тошнит.

Сталин. Вы что-нибудь имеете против лиц кавказской национальности, товарищ Горький?

Горький. Я бы не пожалел своей вечной жизни, товарищ Сталин, чтобы оживить вас на неделю — решить проблемы СПИДа и наркомании.

Сталин *(усмехаясь)*. А больше недели — боитесь, да? Зачем неделя — два дня. Торговцев наркотиками расстрелять, гомосексуалистов посадить, наркоманов — в лечебные лагеря. Ничего они не могут без Сталина, только балабала говорить.

Коллонтай. И это вы, коммунисты, говорите, что я зря боролась за отмирание семьи?

Керенский. Почему же зря. Если судить по результату — совсем не зря. Успешно отмерла! Правда, вместе со страной.

Коллонтай. Между женщиной и мужчиной во всем должно быть полное равенство!

Сталин. Ну давай, сними штаны, покажи свое полное равенство. Умнее Бога быть хочет, честное слово. Ты определись: или ты женщина, или ты мужчина, или ты билядь. А гермафродитов нам не надо.

Керенский. Ч-черт. Надо было сдавать Петроград Корнилову. Он бы перевешал всю эту сволочь... а потом бы мы договорились с государем насчет коалиционного правительства.

Ленин. Дурашка ты мелкобуржуазная. Это бы мы договорились с Корниловым, а тебя бы шлепнули, чтоб не путался под ногами.

Коллонтай. А с революционными матросами жили бы половой жизнью! Кто еще хочет комиссарского тела, товарищи?

Брежнев. Я люблю женщин. Они мне нравятся. *(Целует Ленина.)*

Ленин *(вырываясь)*. А почему вы целуетесь с мужчинами?!

Брежнев. А я им нравлюсь. Дорогие товарищи, как хорошо, когда все хорошо. Не надо ругаться. Ну, немножко воруют. Немножко врут. Немножко уезжают. Но ведь жить можно.

Коллонтай. Это при вас не было секса в СССР, товарищ?

Брежнев. Секса не было. А дети были.

Коллонтай. А как же вы размножались?

Брежнев. Вот так *(хлопает ее по плечу)*. Методом марксистско-ленинского учения. По всему миру.

Коллонтай. Но это же... просто порнография какая-то!

Брежнев. Я люблю порнографию. И народ любит порнографию. Если бы у них вовремя было больше порнографии, они бы не трогали руководящую роль партии. Для народа главное — колбаса и порнография.

Ленин. Эге, Ильич, а ты не так прост, батенька!

Брежнев *(читает по бумажке)*. Дорогая Индира Ганди! *(Смотрит на Ленина, заменяет бумажку.)* Дорогой Владимир Ильич!

Ленин *(отбирает у него бумажки)*. Ты без бумажек говори.

Брежнев. А зачем?

Ленин. А чтоб глупость твоя всем была видна, пень, пень!

Брежнев *(неожиданно ясным голосом)*. А вы что думали, я не знаю, что все сыплется? Это товарищ Сталин построил нам такое хрустальное здание, дворец коммунизма в отдельно взятой за жопу стране! Чуть что тронь — и все стены поехали! Или концлагеря с могучей армией — или свобода с анархией и бардаком. А ты живи между милым началом и гадским концом, как акробат на канате! Мы и сопели осторожненько. Волков немножко покормить, овец немножко постричь, диссидентов немножко посадить, автомобилей народу немножко сделать, мастеров искусства немножко наградить. Не трогай — не сломается! Не успел умереть — понабежали: мы, говорят, все сделаем как надо! И устроили тут, понимаешь, всенародное социалистическое соревнование по затяжным прыжкам в дерьмо! Прыгнут — и ну верещать: ой, а где же дно? Высовывается дикая рожа из нужника: это, говорит, социализм с человеческим лицом! Чтобы все сломать — ума не надо! А вот чтобы сохранять, да еще при этом дуриком прикидываться, чтоб товарищи по партии не сожрали... я еще поумнее вас всех!

Коллонтай. А красивый был мужчина, пока вставную челюсть не потерял.

Поручик. За что боролись?..

Комиссар. Не то построили.

8.

Хрущев *(втаскивая огромный магнитофон в деревянном корпусе)*. Товарищ Сталин! А вот мне рабочие Украины подарили первый советский магнитофон. Хотите послушать?

Сталин. Вот вам доказательство, Владимир Ильич, — совсем не все на Украине умерли.

Брежнев. А почему мне ничего не подарили?..

Коллонтай. А танцы будут, товарищи? Победивший пролетариат должен уметь веселиться!

Магнитофон *(пионерским голосом).* И лично для вас, дорогой Никита Сергеевич, — украинская народная песня «Реве тай стогне Днипр широкий»! *(Гремит рок-н-ролл. Вожди смотрят очумело.)*

Горький. Это что?

Керенский. Ревет.

Царь. И стонет.

Хрущев *(растерянно).* Днепр...

Сталин. Хароший магнитофон. Мыкыта. Заведи еще что-нибудь.

Магнитофон *(голосом Хрущева).* А кровавого усатого тирана выкинем из Мавзолея к разэдакой матери!..

Сталин. Я бы хотел еще раз послушать.

Хрущев. Товарищ Сталин! Это ошибка! Я не хотел! Это был такой исторический момент! Политбюро настояло! Это плохой магнитофон!

Сталин. Хороший магнитофон. Ну ладно. Уноси.

Хрущев *(сгибаясь под тяжестью).* Мы догоняли Америку по технической оснащенности... первые опыты... перегнать!..

Сталин. Чтобы Америка ужаснулась твоему голому заду? Неси обратно. Еще хочу послушать.

Магнитофон. Сегодня мы не на параде, а к коммунизму на пути, в коммунистической бригаде с нами Ленин впереди!

Ленин. Черт возьми. Ведь верным путем шли товарищи.

Сталин. Мыкыта. Пляши.

Хрущев. Что плясать, товарищ Сталин?

Сталин. А что ты всегда под мою дудку плясал? Гопака пляши.

Хрущев *(пляшет вприсядку, выкрикивая).* А как на высоком дубу сидели! (*Тихо:* «Суки...») Два сокола ясных!

(«Чтоб вы сдохли».) Один сокол Ленин! («Гадина...») Другой сокол Сталин! («Орел говноклюй...»)

Сталин. Хорошо. Мыкыта. Унеси магнитофон.

Ленин. А вы что, Иосиф Виссарионович, забрались в мой мавзолей, что ли?

Сталин. А что же, второй мавзолей строить было?

Ленин. Ну, знаете... Это все-таки не двуспальное купе.

Сталин. Делиться надо. Я же его построил — и я же не могу полежать в нем немного?

Ленин. Зубную щетку, жену и мавзолей ни с кем делить нельзя. Вы всегда манкировали нормами партийной этики.

Сталин *(пыхтящему Хрущеву).* Мыкыта. Принеси магнитофон.

Хрущев. Вот как начал в четырнадцать лет на шахте работать, Владимир Ильич, и всю жизнь не покладал рук! в поте лица!

Сталин. Рук он не покладал. Ты сколько народу на Украине расстрелял, лысый пузырь? А сколько в Москве? А сколько зря приказал положить на войне? В крови у тебя руки по самую лысину! А потом он решил меня из Мавзолея выкинуть. Скотина ты неблагодарная. Вредитель. Я тебя из праха поднял! Ты мне сапог лизал!

Хрущев. Все лизали! А куда деваться! Хватит! Нализались! Сыты по горло! Тут вам не там! Теперь сам нюхай свой сапог! Лижи себе что хочешь! Мы не позволим! Хватит! Набоялись!

Сталин *(ставит ногу на скамью).* Лижи.

Хрущев. Товарищ Сталин. Я готов выполнить любой приказ партии. И лично ваш, товарищ Сталин. Я все сделаю. Умоляю — не сейчас. Не здесь. У меня же должен быть авторитет в глазах масс. Я же продолжил ваше дело. В новых условиях.

Сталин. Подлая мужицкая порода. Только на покойника гавкать может.

Брежнев. А Никитка себе устроил культ почти как Сталин.

Хрущев. Ах, дал я маху, не расстрелял тебя в сорок девятом году. Вот, думал, хороший парень — симпатичный, туповатый, таких только и продвигать. И ты, ничтожество, меня отблагодарил — вышиб из Кремля на пенсию...

Сталин. Леонид, ты не прав. Почему ты его не расстрелял. А ты, Мыкыта, сам не прав. Тоже его не расстрелял. Совсем вы, русские, не понимаете, что такое власть.

Брежнев. Я тебя не расстрелял, потому что никто больше не хотел крови. Я тебя снял, потому что никто больше не хотел тебя.

Хрущев. Ах ты, молдавская дубина! Ах ты, жопа с бровями! В чей лимузин стреляли — не в твой? На кого кран роняли — не на тебя? Кто покушений боялся — не ты?

Брежнев. Я боялся? Я воевал на Малой Земле! Даже книжку написал.

Хрущев. Ой, держите меня! Он написал! Да ты писать не умеешь, ты и говоришь-то с трудом. Журналист сочинил, а ты только премию получил, елка ты с побрякушками! Он воевал! Да тебя взвод автоматчиков охранял, тебя к передовой близко не подпускали! Привезли, чтоб раздал в тихом блиндаже награды, и тут же отвезли обратно!

Брежнев. Лысый кукурузник, да от тебя вообще ничего не осталось, кроме анекдотов!

Хрущев. Ты знаешь кто? Ты консервы «Чучело в собственном соку». Сосиски сраные! Кукуруза ему не нравится!.. Заставь дураков богу молиться — они и Красную площадь кукурузой засадят. Я колхозы поднял! Колхозникам паспорта дал! Человека в космос запустил! Социализм аж на Кубе установил! Да от меня Америка со страху обосралась, что я ее ракетами разбомблю! Народу отдельные квартиры построил! Я даже этим гребаным художникам и поэтам дышать дал, мать их так!

Ленин. Батенька, а партия вас никогда не учила, что ни одно доброе дело никогда не остается безнаказанным?

Мать. Как я мечтала, чтоб ты выучился в городе на инженера, сынок...

Хрущев. Ничего, мамаша. Лучше средняя сообразительность, чем высшее образование. Что у меня, плохая

работа была, или зарплата маленькая? Некогда нам было учиться, страной руководить надо было. Это вот нынешние учились. И выучились, засранцы! Во, любуйтесь, до чего эти интеллигенты доучились, чего наворотили! Образования — вагонами, а мозгов меньше, чем в жопе! Чтоб просрать страну, высшее образование не обязательно. Они, ты понимаешь, учились, чтоб пустить все по ветру!

Мать. И сын твой со всей семьей уехал жить в Америку...

Хрущев. Негодяи! Надо было их все же тогда разбомбить, и никто б туда больше не ехал. А ему вовремя ума вложить, через заднее место розгами!

Мать. Так, может быть, ты построил не то, если...

Хрущев. Я построил то! Это живут в нем... не те!

Мать. А те уехали в Америку...

Хрущев. Ничего! Рано торжествуют! Тем сильнее будет их разочарование, когда они сядут известным местом в лужу! Рано Америка радуется, ей еще предстоит столько бед, что к нам без штанов прибегут! Они очень скоро увидят, что это будет за жизнь в раю!

Горький. Никита Сергеевич, вы сделали немало хорошего, но все же по недостатку образования допускали ошибки. Вот я — я всем лучшим в себе обязан книгам...

Хрущев. Это которыми тебя в детстве дедушка по башке дубасил? А я вот всем лучшим в себе обязан розгам — и ничего, как видишь, кое-чего достиг. Голову — ее все же беречь надо, а через задницу — оно доходчивей, и мозги целы.

Горький. Не следовало вмешиваться в вопросы, где вы были малокомпетентны. Вы зря оттолкнули от себя интеллигенцию — ведь она формирует настроения общества, она чутко улавливает новые веяния. Вот ваши мастера культуры — с кем они были?

Хрущев. С бабами. Со стукачами. С водкой. С деньгами. С загранпоездками. С квартирами. Со всем они были, чего надо! А в ответ? Мазня, стишки, подъебочки — да что такое! Ты у партии с ладони кормишься — так хоть встань ты на задние лапы, когда служишь, сука!

Л е н и н. Буревестник прав, товарищ! Всю эту интеллигенцию надо было собрать на пароход...

С т а л и н. И на дно.

Л е н и н. ... и отправить в Европу. Глядишь, к настоящему историческому моменту она бы уже и развалилась.

Х р у щ е в. Интеллигенция?

Л е н и н. Европа. А лысина вам не идет, товарищ. Не надо меня пародировать. Я уникальная историческая фигура. А вы все-таки из свинопасов.

К е р е н с к и й. Вот-вот. Шайка идиотов. Недоучившийся присяжный поверенный, недоучившийся семинарист, шахтер-свинопас и профессиональный комсомолец. Ну как — хорошо они вам наруководили?

Г о р ь к и й. Народ обладает огромными творческими силами.

Х р у щ е в. Етицкая сила!

К е р е н с к и й. И овладевший грамотой бомж в качестве летописца.

Х р у щ е в *(Горькому)*. А что это у тебя за костюм? Штаны как клеши, понимаете, пиджак как балахон у него болтается... И этикетки везде иностранные. А этот павлиний хвост — это что, галстук? Ты на кого вообще похож? Ты вообще где видел, чтоб люди так одевались? За границей? Так и катись, если ты так ее любишь, видите ли! Рома-ан он написал! «На дне»! Мы в космос летаем, а он, видите ли, «На дне-е»! А вот народ смотрит вперед и видит сияющие вершины, а вы можете сидеть на вашем дне! Отщепенец!

9.

Г о р ь к и й *(плачет)*. Над седой равниной моря вьются тучи, мчатся тучи небесные, вечные странники, облака плывут, облака...

Х р у щ е в. Цели ясны, задачи определены — за работу, товарищи!

Л е н и н. Дайте энергичному товарищу бревно — пусть он его поносит.

Б р е ж н е в. Дорогие товарищи и друзья. На повестке дня один вопрос. Вот мы — лучшие люди своего великого народа. Сто лет мы сеяли...

Х р у щ е в. И жали!

С т а л и н. И сажали.

Б р е ж н е в. ... сеяли, как сказал наш классик Алексей Максимович, разумное, доброе и вечное...

Г о р ь к и й. Да? Как я хорошо сказал!

Б р е ж н е в. ...сеяли мы сеяли, а что взошло?

Л е н и н. Вообще-то уже должна была взойти заря коммунизма.

С т а л и н. Мировой пожар должен был взойти.

Б р е ж н е в. Я не понимаю, где же всходы? Если сто лет сажать — должно хоть что-то взойти?

Х р у щ е в. Страна дураков! Стиляг! Потребителей! Сеешь кукурузу — а всходят сорняки! Полоть! Все на поля! Полоть!

С т а л и н. Мыкыта. Полоть или пороть? Надо уточнить.

Б р е ж н е в. Товарищ Индира Ганди! Позвони в колокольчик!

Г е р ц е н. Бумм!

Б р е ж н е в. Что, уже обед? Нет. Тогда продолжим. Сеяли...

К о м и с с а р *(закуривая)*. Я посею лен-конопель, я посею лен-конопель. Хорошая конопля взошла, приход с первой затяжки *(протягивает самокрутку поручику)*.

П о р у ч и к *(затягиваясь)*. Политика — опиум для народа.

С т а л и н *(пыхая трубкой)*. Терпеливому народу нужен опиум.

Б р е ж н е в. Вашу дискуссию прошу считать за одобрение. *(Читает по бумажке.)* На повестке дня вопрос: почему за сто лет у нас ни хрена не получилось? Политбюро думает, что нам попалась не та страна.

Г е р ц е н. Кто виноват?

Ч е р н ы ш е в с к и й. Что делать.

Г о р ь к и й. Отец — сделано!

Сталин. Спасибо.

Брежнев. Царь хотел, чтобы было хорошо.

Царь. Боже, как могло быть все хорошо... *(Промакивает глаза.)*

Брежнев. Гражданин Керенский хотел, чтобы все было хорошо.

Керенский. Я готов был отдать во благо России всю кровь до капли!

Ленин. Почему не отдал?

Брежнев. Владимир Ильич Ленин, вождь мирового пролетариата, мечтал о светлом будущем.

Ленин. Да, батенька, я великий кремлевский мечтатель.

Брежнев. Сталин хотел, чтобы тоже было хорошо.

Сталин. Могучая страна, могучий народ, могучий вождь.

Брежнев. Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза дорогой товарищ Никита. Сергеевич? Сергеевич. Хрущев тоже хотел...

Хрущев. Хотел?! Я не хотел, я сделал! Ты вспомни, сколько я сделал!

Брежнев. Я сейчас не помню. Но хотел. И *(читает)* Леонид Ильич Брежнев тоже хотел. И вот мы здесь, товарищи!..

Мать. Если бы все умерли в детстве от скарлатины, я бы вас оплакала, и все было бы хорошо, сыночки...

Комиссар. Слушай, вот я сейчас думаю, и не могу понять: ведь они действительно чего-то хотели. Да еще как! Тут не то что щепки летели, тут я не знаю...

Поручик. Лес рубят — медведи летят. Если низко — к дождю, если высоко — в эмиграцию.

Комиссар. Так чего они хотели-то?

Поручик. У тебя какое образование? Ну да. Три класса и коридор. Власти они хотели, дурашка. Тоже мне, повестка дня.

Комиссар. А почему ж тогда так вышло?

Поручик. А потому что канальи *(тянет из фляжки)*.

Комиссар *(чокается с ним)*. А в заграницах?

Поручик. Там свои канальи.

Комиссар. Так ведь там сейчас лучше!

Поручик. Там лучше, где нас нет.

Комиссар. Н-ну, их счастье *(похлопывает по маузеру)*.

Поручик. Это у них сегодня лучше. А завтра у них будет такое... Взвоют почище казацкого хора. Тоже понабегут толпой, устроят производственное собрание: за что боролись, не то построили.

Комиссар. Это империалисты все мутят.

Поручик. Брось ты. Это евреи все мутят.

Комиссар. Я попрошу! Тут у нас национальностей нет.

Поручик. Да? Интересно. Чего ни хватись — того у вас и нет. «Национальностей нет». Один нос крючком есть.

Сталин. Иногда наши классовые враги тоже способны высказать интересную мысль. Владимир Ильич, так кто был ваш дедушка Бланк? Ты, Вовка Бланк, я тебя спрашиваю.

Ленин. А кто в ссылке отказывался посуду мыть?

Сталин. Я не ложкомой. Так кто был дедушка? Пират?

Ленин. Кто с абреками банки грабил?

Сталин. Я же тебе в Европу деньги отсылал, проклятый хитрожопый еврей!

Ленин. Не смейте трогать моего еврейского дедушку! Вы лучше скажите, что означает ваша фамилия «Джугашвили»? «Еврея сын», вот что она означает! Правда глаза колет, батенька? Евреинов ваша фамилия!

Сталин. Владимир Ильич, а ведь партия может найти вашей вдове другого мужа.

Ленин. А кто на царскую охранку работал? Кто архивов боялся?

Сталин. Да подавись ты своим еврейским дедушкой, мы не против. Ты русский, я русский, мы друг друга понимаем. Но вы должны согласиться — где евреи, там никогда не знаешь, чего можно ждать, только ничего хорошего нельзя ждать. Вы посмотрите сами — вот Израиль. Страна с гулькин душа. А сколько шума, сколько волнений, сколько денег откуда? Я предлагал — поселить в Биробиджане...

Ленин. Приморье далеко, но страна все-таки нашенская!

Сталин. Собрать всех, поселить рядом с китайцами — конец китайцам будет. Все пересорятся, всё разворуют, — наш Дальний Восток спокойно жить будет.

Царь. Не лишено. Не лишено.

Брежнев. Я их никуда не пускал — а они все лезут и лезут.

Поручик. Ты слышал? Вот и ответ — почему ничего не вышло.

Царь. От этого народа всегда много головной боли.

10.

Троцкий. Что ты понимаешь в головной боли! Ох, голова просто раскалывается...

Ленин. Товарищи, у кого есть таблетка пентальгина от головной боли товарища Троцкого?

Сталин. Головная боль вождей таблеткой не лечится. Кстати, Лейба, ты ледоруб не забыл из головы вытащить? Не забыл. Ну, тогда может быть пройдет.

Троцкий. Твари вы неблагодарные. Евреи коммунизм придумали...

Мать. Сынок, а нельзя придумать, чтобы они его никогда не придумывали?.. Как я хотела, чтобы ты стал хорошим портным...

Троцкий. Да я лучший портной в мире. Я сшил саван всей мировой буржуазии!

Мать. Тогда почему она его не носит?

Троцкий. Ничего. Еше наденет. Никуда не денется. Не саван, так чадру. Освобожденные от мусульманского дурмана раскрепощенные народы востока, когда я создавал Красную Армию...

Сталин. Ты создавал Красную Армию?!

Троцкий. А кто еще ее создавал — ты, что ли, заурядность, серость, ничтожество? Ты сидел тихо, как мышь, и писал протоколы в своем секретариате. А я мобилизовал миллионы людей, сплотил их в непобедимые полки железной рукой, посылал в огонь фронты! Кто стоял на трибуне в центре — ты? Да тебя вообще никто не знал... писаришка! А я — еще когда я руководил Октябрьским восстанием...

Ленин. Вы-ы руководили Октябрьским восстанием?!

Троцкий. А кто же — вы, что ли? Владимир Ильич, ну побойтесь не Бога, так хоть Маркса! Пока вы там в гриме со своей накладной прической, как эстрадный певец, блуждали в темноте по подворотням, будто пустые бутылки собирали, я сидел в Смольном, возглавлял Революционный Военный Комитет, руководил штабом восстания и отдавал приказы частям! А вы явились в пять утра, когда Зимний мы уже взяли, правительство арестовали, попили чаю и легли спать. И тут вы — «всех собрать»! Речь он произнес!..

Ленин. Архиподлец. Может быть, и так. Но зачем настолько выпячивать свои заслуги? Это не по-большевистски. Меня просто задержали казачьи разъезды.

Троцкий *(загибает пальцы).* Свердлов — Красин, Урицкий — Володарский, Каменев — Зиновьев, Якир — Гамарник... Как надо чего-то делать — так давай евреев, все люди братья, всеобщее равенство, мы интернационалисты. Кун, сделай революцию в Венгрии, Либкнехт, сделай революцию в Германии, Парвус, дай денег, чтоб встать на ноги!.. А как все сделано — пожалуйте на китайскую границу, а демона революции Троцкого — ледорубом по голове! Герцен! Отвечай — кто твой папа, маму твою так?

Герцен. Кто виноват?

Царь. Господин Троцкий, но державу-то в результате порушили. Ведь даже моим расстрелом еврей командовал!

Троцкий. Коне-ечно, коне-ечно! Как Христа родить — так евреи, как ему обрезание сделать — так евреи, как к нему в апостолы пойти — так евреи, а как распять — так евреи во всем виноваты. Как Библию написать — так евреи, а как погромчик устроить хочется — так евреи виноваты. Как атомная бомба нужна — давай евреев, а как мир у них гибнет — так евреи уничтожают. Как в царя из наганов палить — так русские, а как им скомандовать — так еврей.

Сталин. А что, неправда, скажешь?

Поручик. Вот эта сволочь и приказала нас всех в Крыму расстрелять.

Троцкий. А что я виноват, что вечно зовут кого-то собой командовать? Не варяги — так татары, не немцы — так американцы! Не евреи — так кавказцы!

Сталин. Вы на кого намекаете, товарищ Троцкий? Или мало получили?

Ленин. Мы, разумеется, интернационалисты, но следует признать некоторый перекос в праве наций на самоуправление...

Царь. Боже, какое наивное варварство. Как только все они начнут, как вы изволили выразиться, самоуправляться, они тут же впадут в феодализм, в средневековье, в идолопоклонство. И все вековые труды по цивилизации окраин пойдут насмарку...

Троцкий. И если хотите знать, никакой я не еврей!

Сталин. А кто же ты — негр?

Троцкий *(гордо)*. Я — революционер! Революционер не имеет национальности!

Поручик. Ты слышишь? Еще один. Революционер не имеет национальности, бандит не имеет, вор не имеет. Как кто чего сделал — его лишают национальности. Типа лишения гражданства или прав состояния.

Комиссар. Интересно, когда турки резали армян — они имели национальность?

Троцкий. Резали убийцы!

Комиссар. А турки не резали? А кто — бразильцы резали? *(Морщит лоб.)* Режешь — не турок. Зарезал, стал его землю пахать — опять стал турок. Потом грека зарезал — опять не турок. Потом в Германии работаешь — опять турок.

Сталин. В сорок первом году на нас напали немцы. А в сорок пятом мы разбили фашизм.

Горький *(оживляясь)*. Я еще стихотворение написал — «Убей немца».

Сталин. Правильно написал. А потом мы приказали его назвать «Убей его». Правильно приказали.

Поручик. Могу сказать, почему у них все разваливается. Потому что они сами себе засирают мозги. Они сажают в тюрьму террориста, а выпускают из нее араба. Такое чудесное производство.

Троцкий. Мм-м, как трудно соображать, когда болит голова... И нет от этой боли спасения.

Поручик. Как своя — так болит, а как чужие стричь — так да здравствует мировая революция.

Троцкий. Неужели и здесь не кончается эта перманентная революция?.. Я думал иногда, что мы перегибаем палку, но не настолько же...

Ленин. А ведь это с вас, товарищ Троцкий, в стране началась вся эта ужасная проституция.

Коллонтай. Прекрасная профессия. Полезная, доходная, честная и экологически чистая.

Троцкий. А при чем здесь я?

Ленин *(дразнится)*. А кто у нас политическая проститутка?

Троцкий. За то и не любите, что я ни под кого из вас не лег.

Ленин. О-ох... Зачем я только все это вижу... Мне плохо.

Сталин. А кому сейчас хорошо.

Ленин. Наденька!..

Крупская. Да, Володенька?

Ленин. Позови, пожалуйста, товарища Инессу Арманд.

Арманд *(баюкая Ленина вместе с обступившими его Матерью, Коллонтай и Крупской; поет)*. Вихри враждебные веют над нами, злобные силы нас... вас... нас... злобно? гнету-ут...

Ленин. Это и есть райские гурии? О господи, куда я попал... Правы были большевики — все это поповские сказки. Нет никакого рая на том свете, а только черт знает что такое. Отпустите меня, старые ведьмы!

Поручик *(под гитару)*. За нашим бокалом сидят комиссары, и девочек наших ведут в кабинет...

Брежнев. Я люблю девочек. И комиссаров люблю.

Хрущев. Правильная мысль. Выпить после работы. Я поднимаю этот бокал за...

Сталин *(поднимая два рога с вином)*. Мыкыта.

Хрущев *(быстро)*. ...за дорогого и всеми любимого...

Сталин. Это не твои рога?

Хрущев. Хе-хе-хе. Ха-ха-ха. Никак нет. Вам виднее, товарищ Сталин.

Сталин. Я предлагаю выпить за то, чтобы товарища Хрущева положили в Мавзолей.

Ленин. Сейчас. Еще чего. Он толкаться будет.

Сталин. Дали успокоиться. И тут же выкинули вон! собакам! как падаль!

Хрущев. Товарищ Сталин! Это был просто политический акт! Ну вы же сами учили — все грехи сваливать на предшественников. Народ должен верить в вождя. А для этого все плохое надо приписать прошлому вождю. Для своего времени вы были правы. Но уж очень страшно всем было. От страха и работали хуже, ответственности боялись. Надо было воздуху-то подпустить, чтоб дальше страну двигать. А так-то я ничего.

Сталин. Так. А теперь — не страшно? А теперь — без страха работают лучше? Двинули страну? Кому двинули? Продуванили, да, раздербанили? Воздуху подпустили. Вони подпустили!

Троцкий. Боже мой, неужели нельзя хоть сейчас, спокойно, в дружеском кругу, выпить чаю, отдохнуть, поговорить спокойно о милых пустяках, вспомнить с улыбкой минувшие дни... неужели мы всей своей беззаветной деятельностью во имя высшей цели, всем своим святым горением и самосожжением не заслужили хоть час спокойной человеческой жизни? Ведь если я гореть не буду, и если он гореть не будет, и если мы гореть не будем — то кто же здесь рассеет тьму?

Горький. Дорогой вы мой человек. Где уж нам, туракам, чай пить. Это вы в своем хедере беллетристики начитались. Люди, мол, просто сидят себе и пьют чай, а в это время складываются их судьбы и разбивается их счастье... А на самом деле — какой чай? Спирт. Шашку! Коня! Человек — это звучит гордо! А выглядит мерзко. Кто сказал? Не помню.

Ленин. Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Хм. Как-то коряво. Но ничего. Схавают. Да, вот, тоже, помню писателя. Не нашенский. Тоже написал. Про безумное чаепитие. Они там чай пили-пили, пили-пили, посуды грязной уйма, переругались все, девочку какую-то обидели.

Комиссар. Вот которые чай пили — они-то державу и пропили в результате. Это ж надо — чтоб от Японии до Англии зияла родина моя!

Врач-вредитель *(делает ему укол)*. Это вы спрашивали, кто еще хочет комиссарского тела? Нет? Ничего, все равно успокойтесь.

11.

Сталин щеточкой чистит сапоги. Заботливо отряхивает мундир. Держится рукой за сердце. Достает пузырек, капает в стакан, выпивает, ждет.

Ленин, приволакивая ногу, тяжело садится. Вытряхивает из трубочки таблетку и кладет под язык. Прикрывает глаза, тяжело дышит. Потом начинает поправлять старенький галстук, аккуратно поддергивает брюки на коленях.

Троцкий макает тряпочку в миску с холодной водой и прикладывает к голове. Пенсне падает с носа в мисочку, он вынимает, смотрит, не разбилось ли, вытирает и кладет на стол рядом. Опять макает тряпочку и прикладывает.

Брежнев с трудом падает в кресло, тяжело дышит, утирает слезы. Щупает себе лоб, считает пульс. Машет рукой и закуривает сигарету.

Хрущев хлопает рюмку и, накинув на плечи плед, садится сгорбившись и пригорюнившись. Покачивает головой и вздыхает, шепча что-то.

Женщины хлопочут у стола, убирая грязную посуду, наливая чай и водку.

Поручик *(вертя наган)*. Рука не поднимается. А зря.

Комиссар. Пресвятые угодники. Десница Господня.

Поручик. Что — тяжеловата шапка Мономаха?

Комиссар. Сик транзит глориа мунди.

Поручик *(глумливо).* Ударно потрудился — культурно отдохни.

Комиссар. А не отпить ли нам кофею?

Поручик. Отнюдь, сказала графиня. Наливай.

Царь, сняв мундир, штопает на нем дырочки.

Врач слушает легкие Горького через стетоскоп.

Керенский задумчиво рассматривает перед зеркалом платье сестры милосердия.

Чернышевский пишет и рвет, пишет и рвет, вставляет в подсвечник новую свечу и зажигает ее.

Герцен протирает колокол.

12.

Царь. Господа! У меня есть прекрасная мысль, господа. А почему бы вам всем тоже не отречься? Как будет счастлива наша многострадальная Россия, если наступит такое общественное примирение, господа!

Керенский. Браво, гражданин Романов!

Сталин. Поздно. Кто отрекся — тому и капут.

Царь. Но ведь в итоге — кто не отрекся, тому тоже капут, как вы выражаетесь. Так чего ради мучить себя и людей?

Ленин. Дело делать надо, батенька.

Царь. Делали-делали. И вот мы здесь, господа. Так какое дело сделано? Что вы имеете в виду? Что государством должен управлять не помазанник Божий, а ваши кухарки? Ну, вот они поуправляли. Теперь упражняются в торговле разбитыми корытами.

Поручик. Давай пожмем друг другу руки.

Комиссар. И в дальний путь на долгие года.

Сталин. На Магадан, на Магадан ушел последний караван. Где же ты, моя Сулико?

Хрущев. Кукурузу посадим, свинок разведем, сало будет.

Брежнев. Футбол будем по телевизору смотреть.

Ленин. В шахматишки перекинемся. В городки.

Троцкий. На теплом солнце будем греться. Мемуары писать.

Герцен. Звонить перестанем. Деньги домой вернем.

Чернышевский. А нас за это в Сибирь не посадят. Как я не люблю Сибирь! Холодно, безлюдно. Что делать в Сибири интеллигентному человеку? Нечего там делать. У чукчей губернаторствовать, что ли.

Герцен. А как у меня уши-то заложило от этого колокола!

Арманд. У меня с этой революцией совсем дети от рук отбились. Все воспитание забросила. «Няня, принесите дитя». «Няня унесите дитя». На хрена нам такое раскрепощение?.. И климат в Москве мерзкий, а в Париже каштаны цветут...

Крупская. У тебя хоть дети есть.

Арманд. Ну ты тоже, тихоня — тихоня, а такого парня себе отхватила!

Коллонтай. Хоть лысый, а муж. Знаменитый, опять же. Господи, почему я не вышла замуж за интеллигентного человека. А ведь сколько было претендентов! Это бородатое матросское жлобье, не понимающее ни в душе, ни в сексе... Были альбатросы, а оказались хомяки, кроме защечных мешков — ни одного мужского органа. *(Выпивает и ставит засос Крупской.)*

Сталин. Мы награждали вас орденами, товарищ Коллонтай.

Коллонтай. И что? Я повешу их себе между ног вместо фиговых листков?..

Горький. Как же это с моим сыном вышло, товарищ Сталин? Я ведь все, что у меня было, положил на вашу чашу весов.

Сталин. С прибором ты положил, что я, не знаю. Ай, у меня у самого сын погиб, дай выпьем за них. А тебе что, тоже, трудно было написать роман «Отец»?..

Крупская. Володенька, я-а не знаю... но по-моему тут к тебе ходоки.

Ленин. Наденька, ну что ты говоришь такое, ну ты подумай сама. Ну какие здесь могут быть ходоки? Все уже отходились, успокоились, хватит.

Крупская. Но они стучат!

Ленин. Сюда охрана всяких там не пускает, ты что, все еще не поняла?

Мать. Наденька, как я тебя умоляла не связываться со всеми этими революционерами. Нет. Поехала. В Сибирь. Выходить замуж за ссыльного уголовника и шляться с ним по малинам.

Крупская. Мама, какой же он уголовник!

Мать. Головорез. Садист. Он зайцев прикладом бил, я сама читала.

Крупская. Он очень добрый! Он просто вырабатывал в себе беспощадность для будущих классовых битв.

Мать. И деточек у тебя от него не было.

Брежнев. А кто это стучит? *(Читает по бумажке.)* Кто там? *(Пятится от звуков гремящей пулеметной очереди.)*

13.

Махно *(он в незапряженной пулеметной тачанке, которая не то незаметно вкатывается, не то возникает из воздуха)*. Всяких, говорите, еще не пускают? А не всякие сами въедут *(дает очередь над головами)*. Ребятки, значит, в ямах навалом, а кто и в траве неприбранный остался, вороньем расклеван и зверьем сгрызен. А здесь, значит, командирский салон для особо почетных, чай-водка-бабы!

Ленин. Товарищ дорогой. Сейчас дело не в тех ребятках, которых похоронили или нет. Сейчас дело в тех ребятках, которым все еще предстоит. Партия учит смотреть вперед!

Махно *(дает ему бинокль)*. Ну, посмотри вперед и расскажи, что ты там видишь.

Ленин *(смотрит, бросает)*. О господи боже мой. Где вы взяли это мерзкое кривое стекло, товарищ?..

Махно. Да? А товарищ Фрунзе сказал перед взятием Перекопа, что это подарок мне лично от вас.

Хрущев. А ты что, брал Перекоп, громодянин?

Махно. А кто же?

Сталин, Троцкий, Брежнев. Я!

Махно. Забавно. А я что делал?

Ленин. Махновствовал.

Махно. Вот суки. Всем сукам суки. Когда вы сидели по щелям и грабили банки — я работал в типографии. Когда вы шлялись по заграницам — я парился на каторге. Когда вы окопались в Кремле — я воевал...

Ленин. Вы, батенька, бандит. Партизанщину развели!

Махно. Во гадина. А кто мне в восемнадцатом году говорил: «Мы немцам для политики Украину отдали — а вы их порежьте и выбросьте, грабить не давайте, мы вам поможем»?!

Ленин. Такой был политический момент.

Махно. У вас всегда такой политический момент, чтоб об народ ноги вытирать и в мозги ему гадить.

Царь. О. А я что говорил? Нет худшего господина, чем вчерашний раб. Простите, вы монархист?

Махно. Господи, что ж в России цари такие слабоумные... Анархист я, папаша. За свободу стою, за права личности, чтоб никакое государство человека не гнобило.

Троцкий. И вот этого человека я сдуру наградил орденом Боевого Красного Знамени за номером четыре.

Сталин. Ничего, Лейба. Ты же назавтра приказал после Перекопа расстрелять все остатки его шайки.

Махно. Остатки? Шайки? Семь тысяч бойцов, семь тысяч крестьян?

Сталин. Э. Нэ будем мелочны.

Хрущев *(косясь на пулемет)*. Товарищи, у меня есть предложение. Город Гуляй-Поле переименовать к город Махновск и открыть там обелиск герою Гражданской войны Нестору Ивановичу Махно.

Брежнев. И наградить его орденом Октябрьской Революции за изобретение тачанки.

Махно. Есть другое предложение. Всех присутствующих повесить.

Поручик. Комиссар. Браво! Бис!

Чернышевский. Что делать.

Герцен. Кто виноват.

Горький. О храбрый сокол!

Сталин. Наш человек.

Хрущев. Вам, конечно, понадобится подручный — веревки подносить, табуретки, и вообще?..

Брежнев. И кто-то должен читать приказы об этом.

Махно *(под тальянку)*. Ой любо, братцы, любо, ой любо, братцы, жить, с нашими вождями не приходится тужить!..

Врач-вредитель. Укольчик не хотите для успокоения?

Махно. А вот повешу — и успокоюсь.

Троцкий. Всех не перевешаете!

Махно. Вот уж от тебя это странно слышать. Всех не всех, но уж для вас-то веревок не найти — это грех.

Сталин. Я же говорил — это специальный народ. Если ты ему служишь — он тебя накажет. Если ты его накажешь — он тебе служит.

Троцкий, Ленин, Сталин *(впрягшись в тачанку)*. Всю жизнь тащили мы ярмо революции. Всю жизнь тащили народ к светлому будущему.

Хрущев, Брежнев *(подталкивая сзади)*. Мы что, не могли нормально устроиться без всей этой нервотрепки? Ведь не для себя же старались!..

Керенский *(держась за подножку)*. Да здравствует народ!

Коллонтай. Вот он, друг народа — пулемет!

Арманд *(похлопывая по стволу)*. Есть в этом символе что-то фаллическое... убедительное.

Горький. Бурлаки на Волге.

Царь. Это все, что они везут своему любимому народу?

Махно. Тпру-у!.. сволочи...

Александр. А что так? Растрясли?

Махно. Я хочу понять — кто на ком едет...

Александр. Или вожди больные, или народ дурак...

Сталин. Как хорошо было бы управлять страной, в которой совсем нет никакого народа. Всё спокойно, везде

порядок, никаких заговоров, никаких вопросов. А делают все — машины! Индустриализация. Вот о чем мечтал Маркс! На всей Земле — коммунизм, изобилие, порядок, машины! И лучшие люди во дворце. И — все.

Брежнев. Товарищи. Многое уже сделано. Людей все меньше, машин все больше, а лучшие люди строят дворцы.

Сталин. Мы думаем, пора их сажать.

Горький. За этим у вас дело не встанет.

Махно. Пятнадцать лет я читал в Париже книги и все пытался понять...

Чернышевский. Что делать?

Герцен. Кто виноват?

Махно. ...почему всегда правят сволочи и почему внизу всегда обдираловка и бардак? А потому что гнусная сущность государства застав...

Троцкий. Нет, мой дорогой! Государство тебе что, с Марса по понедельникам завозят? Потому что гнусная сущность народа заставляет его организовывать себе гнусное государство. И необходимо железной рукой сдерживать эту гнусную сущность народа, а другой рукой поощрять его хорошую сущность, и делать приличное государство для его блага.

Махно. Эге! А кто же определит, где у народа сущность гнусная, а где хорошая, и каким быть государству?

Царь, Керенский, Ленин, Троцкий, Сталин, Хрущев, Брежнев. Я!

Поручик. Вообще-то мне иногда нравится вешать.

Комиссар. Ты что, так здорово.

Царь. Господа, шефствовать над народом — трудная и неблагодарная участь. Но вот если бы каждый из нас взял шефство всего над одним простым человеком и создал для него достойную жизнь...

Керенский. Вы уже брали шефство над Распутиным, Ваше Величество. Организовали ему заплыв по Фонтанке.

Горький. Вот в чем ваша ошибка. Это простой человек должен взять шефство над вождем, каждый — над каждым...

Махно. Гениально! И перерезать ему глотку. И зажить, наконец, спокойно и по-человечески. Вот — босяк, а соображает!

Ленин. Простой человек с пулеметом — уже не простой!

Сталин. А простой человек без пулемета — уже не человек.

Троцкий. Кто знает — много ли в Москве альпинистов с ледорубами? Кстати, какая фабрика их выпускает? Возможно, она нуждается в дотациях?

Горький. Денег на революцию больше не дам! Сначала используют, а потом отсиживайся от них на Капри... если дадут сбежать.

Ленин. Окститесь, батенька, отлеживаться пора, а вы все об отсиживании толкуете. А вот вы, товарищ *(Махно),* — ответьте прямо, честно, по-революционному: что там народ делает? Коротенько так, одним словом!

Махно. Одним?

Сталин. Адним.

Махно. Народ безмолвствует...

Сталин. А двумя словами можешь?

Махно. Безмолвствует и пьет.

Троцкий. А красноречивее? Ну — тремя?

Махно. Народ безмолвствует, пьет и ворует.

Царь. Так чего вы от меня хотите? У всех народ как народ, а у меня — боже мой, это же не народ, а кара господня...

Ленин. М-да. Вот, конечно, в Германии народ. Работает! Пьет — кружку пива после работы, для порядку! Ходить — строем, петь — хором. Эх...

Троцкий. Говорил я — начинаем революцию со Швейцарии!

Керенский. Вот, помню, в детстве. В цирке. Здоровенный мужик. Ему огромный чугунный шар сверху бросают, а он подбегает, наклоняется, хоп! — и ловит этот тяжеленный шар на загривок. Быка такой шар свалит! — а он держит. Чего держит? А если по башке? А это у него работа такая. Вот что-то в нем есть от русского народа... Ему — н-на! — а он: хоп! Ну а потом, конечно, звереет.

Ленин. Народ должен быть трудолюбивый.

Троцкий. Народ должен быть дисциплинированный.

Горький. Народ должен быть просвеще-оонным.

Брежнев. Должен меньше пить и кушать. Потому что трудно напастись.

Царь. Народ должен быть богобоязненным.

Сталин. Скажем коротко — народ вообще должен. По жизни должен, понял. Народ? Значит, должен.

Махно. Народ еще всех вас переживет!

Сталин. А куда он денется?

Горький. Вы слышите гул? Этот гул рожден в недрах народных масс, вдохнувших свободы и пробужденных к свету!

Сталин. Тысячу лет гудело — еще погудит, ничего.

Керенский. Граждане! Разве мы не отдали все, что у нас было, ради служения России и русскому народу? Мы, — самые умные, самые энергичные, самые преданные и пламенные борцы? Так почему же...

Ленин. Почему же получается дважды два — сапоги всмятку? Мы же боролись...

Махно. Су-уки! Вы же боролись со мной! И друг с другом! Надо работать — они борются. Дышать не дают, пахать не дают, последнее грабят, нахлебники, захребетники!

Сталин. Вот так послушаешь — все помощники. Колупнешь — все вредители. Работать надо было, а не самогон пить в тачанке, товарищ Махно.

Махно. А жизнь такая, что не выпьешь — сдохнешь.

14.

Керенский. Ничего. Ничто не проходит даром. Еще будет в свободной России и демократия, и европейский достаток, и либеральная передовая экономика...

Царь. И православие. И монархия.

Троцкий. И стальные когорты несокрушимой армии!

Сталин. И мощь. И уважение. И все враги трястись будут и там, и здесь.

Горький. И расцвет свободных искусств, облагораживающий души счастливых людей новой России.

Ленин. Плод моего больного воображения... Кремлевский мечтатель!

Александр. Володя.

Ленин. Что? Что с тобой?

Александр. Знаешь, чего я хочу?

Ленин. Не надо!

Александр. Я хочу повеситься.

Царь. А вы застрелиться не пробовали?

Врач-вредитель. Есть прекрасные мягкие средства. Вот новое поколение предпочитает пепси.

Мать. Мать вашу всех, когда же это кончится!..

Ленин. Пролетарии всех стран, извините! Ну, ошибочка вышла. Но будет еще и на нашей улице... чаепитие!

Горький. Запирайте етажи, нынче будут грабежи!

Чернышевский. Что делать.

Махно. Что бы ни делал человек в России — а все равно его жалко.

Герцен. Бумм! Кто виноват?

Поручик. И что характерно — даже здесь: ни счастья, ни отдыха, а та же хренотень.

Комиссар. Если уж что-то произошло — так это навсегда. Хотя... в том и счастье, что ничего никогда не кончается. Все — дерьмо, а хочется чего-то... оптимистического!

Поручик. Шампанского!

ТРИБУНАЛ

Бриллиантовая Звезда «Победы» впивалась Жукову в зоб.

Он отогнул обшлаг, хмуро оценил массивные швейцарские часы и перевел прицел на часового. Часовой дрогнул, как вздетый на кол, отражение зала метнулось в его глазах,

плоских и металлических подобно зеркальцу дантиста. Высокая дворцовая дверь, белое с золотом, беззвучно разъехалась.

Конвоир отпечатал шаг. За ним, с вольной выправкой, но рефлекторно попадая в ногу, следовал невысокий, худощавый, рано лысеющий полковник. Второй конвоир замыкал шествие.

Они остановились на светлом паркетном ромбе с коричневыми узорами в центре зала, против стола, закинутого зеленым сукном. Конвоиры застыли по сторонам.

Жуков смотрел сквозь них секунду. Секунда протянулась долгая и тяжелая, как железная балка, сминающая плечи. И шевельнул углом рта.

— Почему в знаках различия? — негромко спросил он.

Под бессмысленными масками конвоиров рябью дунула тревога, внутренняя суета, паника. Правый, в сержантских лычках, с треском ободрал плечи полковничьего мундира и швырнул; на полу тускло блеснуло.

— Решения суда еще не было, — выговорил подсудимый.

— Молчать, — так же негромко и равнодушно оборвал Жуков. — Суд — ну?

Сидевший справа от него гулко покашлял, завел дужки очков за большие уши, из которых торчали седые старческие пучки, и хрустнул бумагой:

«Нарушив воинскую присягу и служебный долг, — стал он зачитывать, по-волжски окая, — вступил в антигосударственный заговор с целью свержения законной власти, убийства членов высшего руководства страны и смены существующего строя. Обманом вовлек в заговор вверенный ему полк, который должен был составить основную вооруженную силу заговорщиков...»

Прокуренные моржовые усы лезли ему в рот и нарушали дикцию. Жуков покосился неприязненно.

— Мог бы подстричь, — буркнул он.

— А?

— Хватит. Чего неясного. Полковник, твою мать, к тебе один вопрос: чего сам не шлепнулся?

— Виноват, — после паузы просипел полковник: голос изменил ему, иронии не получилось.

— Струсил? На что рассчитывал? Расстрел? Плац, барабан, последнее слово? С-сука. Повешу, как собаку! Приговор.

Сидевший слева, потея, корябал пером лист. Он утер лоб, пошевелил губами, встал и поправил ремни, перекрещивающие длинную шерстяную гимнастерку. Широкоплечий и длиннорукий, он оказался несоразмерно низок.

«Согласно статей Воинского Устава двадцать три пункты один, два, четыре, семь, Уголовного Кодекса пятьдесят восемь пункты один, три, восемь, девять, десять, за измену Родине, выразившую... яся... в организации вооруженного заговора в рядах вооруженных сил с целью убийства высшего руководства страны... единогласно приговорил: к высшей мере наказания — смертной казни с конфискацией имущества. Ввиду особой тяжести и особого цинизма преступления... могущих последствий... через повешение».

— Следующий, — бросил Жуков.

Полковник сухим ртом изобразил плевок под ноги. Залысины его сделались серыми. Он повернулся налево кругом, сохранил равновесие и — спина прямая, плечи развернуты — меж конвоя покинул зал.

Жуков размял папиросу и закурил.

— Кто его на полковника представлял? Расстрелять.

Двое заседателей также щелкнули портсигарами. Левый, маршал в ремнях, предупредительно развел ладонью свои пышные усы, которые, в отличие от штатского, имел смоляные и ухоженные, и с грубоватой деловитостью, которая по отношению к старшим есть форма угодливости старых рубак, спросил:

— А с полком как будем?

— Старших офицеров — расстрелять. Остальных — в штрафбат.

— Так точно.

Правый член тройки кивнул серебряным ежиком, обсыпал пеплом серый мятый костюм и снова закашлялся.

— Если враг не сдается — его уничтожают, — отдышавшись, проперхал он. — Если сдается — тем более уничтожают.

Низкое зимнее солнце горизонтальным лезвием прорубило тучи. Подвески люстры выбросили снопы цветных искр. Зайчики вразбивку высветили роспись плафона. Обнаженная дебелая дама, обнимающаяся с Вакхом, выставила розовые формы. Штатский туберкулезник с трудом отвел глаза.

Следующий двигался расслабленно и устало. Он взбил височки, скрестил руки на груди коричневого бархатного пиджака и выставил ногу в обтянутой клетчатой штанине с выражением достоинства и непринужденности.

Однако донесся не изящный букет парфюма, но слабое удушливое веянье параши, кислой баланды, немытого белья — запах камеры, незабываемый каждым, кто удостоился однажды его нюхнуть.

Он откинул голову и озвучил тишину:

— Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прек...

Конвоир без замаха ткнул его в почку и подхватил оседающее тело.

— Говорить будешь, когда я прикажу, — сказал Жуков. — «Честь». Ну-ка, что там про его честь, ты, писатель.

Правый заседатель булькнул гортанью и перелистал, ища место:

«Встретив на Невском у Александровского сада Фаддея Булгарина, поинтересовавшегося у него, почему народное волнение и передвижение войск, и не знает ли он, что это происходит, отвечал ему: „Шел бы ты отсюда, Фаддей, здесь люди умирать на площади идут”. Но сам после этого, однако, на площадь не пошел, а вернулся до угла Мойки и зашел в кухмистерскую Вольфа, где и пообедал, выпил полубутылку „Шато”, после чего поехал на извозчике домой, где и провел с женой все время до ареста...»

— Тьфу, — поморщился Жуков. — Повесить.

— Я бы хотел походатайствовать, — проокал правый и пососал моржовый ус. — Кондратий Федорович талантли-

вый поэт, он мог бы принести еще много пользы нашей литературе. Союз писателей поможет. Прошу записать мое особое мнение — ну, выслать в Европу. Да! Для лечения. Душевной болезни. Явной.

— Добрый ты, Алексей Максимович, аж спасу нет, — сказал Жуков. — Походатайствовал? И ладно. Отказать.

— Он принесет литературе, — сказал маршал в ремнях. — Инструкцию, как шашки точить... Как там? — три ножа с молитвой в спину? Точильщик хренов! Вот самые вредные — вот эти вот интеллигенты. Подзудят — а сами в кусты. Пожрал, выпил — и домой, к жинке под бочок. А другие за них рубай, значит, серая кость. Был у меня тоже один такой... комиссар, понимаешь... ну, недолго прокомиссарил, — он белозубо усмехнулся.

Рылеев хрустнул пальцами. «Жена не перенесет», — пробормотал он...

— Чего? Лагеря? Увести.

Истопник по дуге пересек зал, стараясь ступать деликатно в мягких валенках, и, не удержав, с грохотом свалил березовую охапку на медный лист под высокой голландской печью. Свежо и мерзло запахло лесом.

Бухнула петропавловская пушка. Жуков раздул ноздри.

— Полдень. — Буденный потер руки и гаркнул: — Вестовой!!!

— Ты не в степи, Семен, — заметил Жуков, прочищая ухо.

Звеня шпорами, вестовой установил поднос и сдернул салфетку.

— Степь — это классика, — мечтательно отозвался Горький, дрожащей рукой принимая стопку.

— Ну, за победу, — возгласил Жуков, поправляя проклятую звезду.

— За нашу победу, — уточнил Буденный.

Выпили. Выдохнули. Потянулись вилками.

За второй Горький прожевал ком осетровой икры и заплакал.

— Вы даже сами не знаете... черти драповые... какое огромное дело вы делаете, — всхлипнул он, пытаясь обнять Жукова и роняя жемчужину с усов на огромный варварский орден, вмонтированный в его иконостас, скорее напоминающий пестрый панцирь.

— Вестовой! — рявкнул в свою очередь Жуков и сделал стригущее движение двумя пальцами.

— Так точно, — прогнулся вестовой, выудил из кармана кавалерийских галифе ножницы и двумя снайперскими щелканьями обкорнал плантацию классика до уставной ширины.

Горький взглянул в подставленное зеркальце и сотрясся.

— Читать легче будет, — утешил Жуков.

— И писать, — добавил Буденный.

— По усам не текло, а в рот попало. Ха-ха-ха!

— А хочешь, шашкой добрею, — предложил Буденный, нацедил из графина и подложил классику бутерброд с жирной ветчиной. — Ты ешь, ешь, сало — оно для легких полезное.

После перерыва ввели человека странного. Чернявый, тонкий, быстрый и дерганый в движениях, он напоминал муравья. Облачен он был в какой-то рваный балахон, а солнечный свет из окон образовывал в тонких всклокоченных волосах нечто в роде нимба.

— Муравьев-Апостол, — догадался Горький. — Как же вы, батенька, с такой-то фамилией — и на кровопролитие решились? — укоризненно выставил он желтый от никотина палец.

— В том-то и дело, что не смогли решиться! — отчаянно сказал Муравьев. — Шампанского ночью выпьешь у девок — так на все готов! А утром, на трезвую голову, да по морозу, на людей, на штыки посмотришь — и понимаешь: революция — это ведь потом море крови, не остановить будет... Спросишь себя — готов ли? А душа, душа не может...

— А не можешь — так не берись, дурак! — стукнул Буденный шашкой в пол. — Либо выпей перед атакой.

— К апостолам, — тяжело сострил Жуков.

Процедуру осуждения уложили в четырнадцать минут.

— После чарки дело завсегда спорится, — подмигнул Буденный.

Свято место, которому не быть пусту, занял человечек, которого Горький, накануне добравшийся, в чтении по обыкновению на ночь Брокгауза и Эфрона, до буквы «М», охарактеризовал как мизерабля. «Вот именно, — поддержал Буденный, также разбиравшийся в карточных терминах не хуже этого интеллигента, — мизер, а, бля! А туда же лезет».

Уловивший французское слово человечек с болезненной надеждой воззвал к Горькому, торопясь и захлебываясь:

— Господа, я же во всем покаялся добровольно, все показал, господа. Я был обманут, меня использовали! Я не хотел, клянусь честью... клянусь Богом... На заседании все насели, все как один: «Цареубийцу придется покарать, иначе народ не поймет — Каховский, ты сир, одинок, своим уходом из мира ты никого не обездолишь — тебе выпадает свершить этот подвиг самоотвержения... — мне страшно вымолвить, господа!.. лишить жизни самодержца... — тирана, говорят, уничтожить, святое дело... Пожертвуй собою для общества!» Но я не стал, господа, я никогда бы не смог, не смел! Я был в состоянии тяжкого душевного волнения, в аффекте, господа!

— Чин, — тяжело отломил Жуков.

— Поручик! Обычный армейский поручик! Жил на жалованье, нареканий по службе не имел. Поили шампанским... поддался на провокацию. Завербовали! Французские шпионы! Я все написал, господа... Они пели «Марсельезу»!

— А ты?

— Не пел. Не пел!

— Отчего же? Выпил мало?

— У меня дурной французский, они смеялись! И слуха музыкального нет. И голоса... только командный, в юнкерском училище ставили. А они все — на меня: Пестеля в главнокомандующие, Трубецкого в диктаторы, Рылеев — мозг, гением отмечен, Бестужеву войска выводить — давай, Каховский, вноси лепту, убивай царя!

— Русский офицер, — брезгливо махнул Жуков.

— Гад-дючья кость, — ослепительно осклабился Буденный.

— Дорогой вы мой человек... — скорбно заключил Горький.

Жуков поворошил пухлую папку и приподнял бровь.

— Какой был военный смысл убивать генерала Милорадовича? — с недоумением спросил он.

— Солдаты сомневаться стали, — злобно вспомнил Каховский. — Герой войны, боевые ордена, раны, в атаки ходил пред строй. Его слушать стали, все могло рухнуть! Но я — я так... я не хотел... пистолет дали, и не помнил, что заряжен... я рефлекторно, господа!

— Генерала свалил — молодец, конечно... но это еще не оправдание, — решил Буденный. — Может, выслужиться хотел.

— Хоть один что-то пытался, и тот кретин, — подвел итог Жуков.

— На всех поручиков генералов не напасешься, — проокал Горький.

— Господа! Я дал все показания одним из первых! Совесть жжет меня, не могу ни стоять, ни сидеть спокойно с тех пор...

Горький покивал и продекламировал с печалью:

— Не могу я ни лежать, ни стоять и ни сидеть, надо будет посмотреть, не смогу ли я висеть.

Жуков скупо растянул губы. Буденный захохотал вкусно и, потянувшись за его спиной, похлопал Горького по плечу.

— Следующего давай.

Бестужев-Рюмин щелкнул каблуками и доложился четко. Буденный поинтересовался вежливо:

— Вы Рюмину не родственник будете?

Под столом Жуков пнул его генеральским ботинком и больно попал в голяшку.

— Так. Время позволяет. Дай-ка хоть с тобой разберемся. — Жуков откинулся в кресле. — Ты во сколько людей вывел к месту?

— В половине десятого утра все стояли. На площади.

— Стояли, значит. На площади. Чего стояли?

Бестужев вздохнул и потупился.

— Ну, и чего выстояли? Я — спрашиваю — чего — ждали???!!!

— Своих... восставших. Мятежников то есть, — поспешно поправился он.

— Кого?! Откуда ждали?!

— Не могу знать. Князь Трубецкой обещал... Семеновский полк, про лейб-кирасир еще говорили...

— И до скольки стояли?

— До четверти четвертого пополудни.

— А дальше что?

— К конноартиллерийской полубатарее огневой припас доставили.

— И что?

— И взяли каре на картечь.

— И что?

— И... и все...

— Дистанция огня?

— Сто саженей.

— Досягаемость твоего ружейного огня?

— Сто пятьдесят саженей.

— Па-ачему не перебили орудийную прислугу?!

— Огневых припасов при себе не было.

— Па-ачему не было?!

— Утром торопились.

— А кавалерия где была?! — загремел Буденный, вступая. — В один мах достать! — возбужденно спружинил на полусогнутых. — Кого учили — кавалерией не пренебрегать? Да я бы с полуэскадроном вырубил эту гниль!

Получил еще пинок в то же больное место и, кривясь, сел.

— Почему не взяли на штык? — продолжил Жуков.

— Упустили время.

— Почему упустили.

— Стояли...

— Чтоб у тебя хер так стоял!!! — взорвался Жуков и грохнул кулаком, сбив графин: звякнуло, потекло. — Козел! Кретин! Мудак! Кто тебя, мудака, в офицеры произвел?! Я спрашиваю — где учился?! Ма-ал-ча-а-ать!!! Повесить этого пидора! Повесить!

— Генерал Мале, — покашлял Горький, мысленно хваля себя, что так ко времени дочитал до «М», — поднимая восстание против Наполеона, сбежал из желтого дома. Из какого же дурдома, дорогой вы мой человек, сумели выбраться вы?..

— Семен, пиши. За отсутствие плана операции... За необеспечение материального снабжения операции... За полное отсутствие управления войсками в бою, повлекшее срыв операции и уничтожение противником вверенных частей... За полное служебное несоответствие званию и занимаемой должности... Твою мать, да тебя нужно было повесить до того, заранее, глядишь чего бы и вышло.

Буденный покрылся мелким бисером и зацарапал пером. Горький гулко прокашлялся в платок, высморкался и утер слезы:

— Голубчик, а вам солдатиков, зря перебитых, не жаль? С картечной пулей в животе на льду корчиться — это ведь не комильфо... в смысле — не комфорт. Похуже петли-то. А ведь всё русские люди, вчерашние крестьяне... вы же их обманули, они вам доверились.

— А нам, дворянам, только свой животик дорог. — Буденный обрадовался поводу оторваться от письма. — А солдатня, пушечное мясо, серая скотинка — это нам по хер дым, не колышет.

Жуков махнул рукой:

— Солдат вам бабы новых нарожают, Россия велика. Положил бы за дело — не жалко. Операция провалена бездарно. Преступно!

Стукнув прикладами, сменились часовые у дверей.

Князь исхитрился подать себя со столь глубинным скромным достоинством, что конвоиры на миг вообразились почетным эскортом. Изящен, как кларнет, причем отчего-то юный, подумал Горький, озадаченный странностью собственного сравнения. Эть, трубка клистирная, за-

сопел Буденный. Жуковская ассоциация же была прямой, нецензурной и краткой.

— Ну что... диктатор... — он подался вперед. — Где ж ты был, когда пришло время диктаторствовать. В кустах?!

— В последний миг осознал всю тяжесть задуманного преступления. И не нашел сил свершить его, ваше высокопревосходительство, — веско отвечал Трубецкой, по-военному откусывая фразы.

— А почему тогда не вышел на площадь, чтобы остановить людей и развести по казармам?

— Не имел сил взглянуть им в глаза. И нарушить данное слово...

— А чего нарушил? Почему не вступил в обязанности? Не повел людей на дворец, не арестовал царя с семьей, не использовал растерянность и полное отсутствие сопротивления противника?

— Изменить присяге счел невозможным. — Князь коротко склонил голову с видом благородного сознания вины и полной за эту вину ответственности. — Я имел честь все изложить письменно, ваше высокопревосходительство. Показания мои приобщены к делу, там можно все прочесть.

Позади стола отворилась неприметная дверца в дубовой панели, и в ней появился Николай. Зеленый Преображенский мундир обливал статный силуэт с талией, утянутой в корсет. Он прошелся бесшумно позади судейских кресел, попыхивая короткой фарфоровой трубкой.

— Я полагаю — повесить, — заключил Жуков, обозначая затылком легкий кивок назад, в адрес верховной власти.

— Георгий Константинович, — мягким металлическим баритоном произнес император, — может быть, нам следует учесть чистосердечное и глубокое раскаяние князя Трубецкого, давшего добровольно показания на всех подследственных. И учесть ходатайства ряда известных лиц за представителя славной и древней фамилии? Возможно ли смягчить наказание? Я думаю, возможно.

Буденный готовно отбросил изуродованный лист и

схватил чистый. Слезы Горького просветлели, сырые кружочки расплылись на серых лацканах.

Жуков увесисто вскочил, отшвырнув ногой кресло, подошел к большой карте Санкт-Петербурга на стене и резко раздернул на ней полупрозрачные кисейные шторки. Схватил красный карандаш и поставил большой крест на Петровской площади.

— Николай Павлович, — раздраженно бросил он через плечо, — вы мешаете работать.

Выпуклые голубые глаза Николая ничего не отразили. Он постоял недолгое время и скрылся, бесшумно притворив за собой дверцу.

— Ты что, оглох?! Я сказал — повесить! — бешено повторил Жуков.

Буденный поменял листы местами ловко, как наперсточник.

— Я думаю, Государь вас помилует, — посочувствовал Горький Трубецкому, бледному после озвучивания приговора.

— О, благодарю вас, сэр, — отвечал тот почему-то по-английски, — родная мать не сумела бы утешить меня лучше.

— Я ему помилую, — тяжело пообещал Жуков. — Главнокомандующий хренов. И пусть только веревка порвется!

В это время в своем малом кабинете Николай позвонил в начищенный серебряный колокольчик и приказал вошедшему с поклоном секретарю:

— На завтра — подготовь на подпись указ о назначении Жукова... м-м... ну, скажем, командующим Одесским военным округом. — Поднялся, продефилировал к окну, пыхнул трубочкой, пробарабанил пальцами по зеленоватому венецианскому стеклу в свинцовом переплете. — И, кстати, о назначении следственной комиссии по его хищениям. Не много ли трофеев приволок из европ наш герой. Уж больно крут стал. Пора бы его... равноудалить.

Дальше. Где там у Горького недвижимость? На Кипре?

— На Капри, ваше императорское величество.

— Один черт. Вот пусть туда и катится. Тоже... борец за свободу слова. Еще мне только щелкоперы государствен-

ных преступников не защищали. Ничего, обойдется Союз писателей без заточек этого барда. Дать письменнику на лекарства и пригрозить следствием.

— Буденный? — спросил секретарь, переламываясь в пояснице, и нацелился пером.

— На чем он там играет? На волыне? На баяне. — Николай поморщился. — В ансамбль Моисеева. Да не того! — к старому. Пожарным инспектором — за неимением кавалерии. Как там у Покрасса? — «Мы красные кавалеристы, трам-пам-пам!...»

ПОДПОЛКОВНИК КОВАЛЕВ

Мелкая нервотрепка... не бой даже. Хлопнул гранатомет, вылетел из зеленки трассер. Скатились с матом, засадили из всех стволов, башенная сварка отстучала по листве; сдвинулись, отошли... Утихомирилось.

День был ветреный, сизая туча валилась через хребет. В тишину возвращались звуки: каменистая речка гремела на перекате. Ковалев оглядел своих, втянул ноздрями, махнул рукой: полез на броню. Притерся на твердом, упер каблук в лючок амбразуры. Тут все и произошло.

Судя по удару, это была крупнокалиберная пуля из снайперки на излете. По лицу огрели оглоблей. Подпрыгнуло и взорвалось. Спустя черно-искристый миг очнувшись, Ковалев схватился за лицо. Где нос непонятно ощутилась пустая маслянистая ровность.

Сержант Лехно утверждал, что видел всплеск, когда в воду что-то упало. Первое отделение зашурудило в брызгах, чтоб нос найти и после, если получится, пришить в госпитале, а там в Ростове или даже в Москве пластические хирурги все смогут поправить как было. Но течение несло бесследно. Зачистили по возможности участок реки, зачистка результатов не дала.

Санчасть, водка, госпиталь, тоска, комиссия. Сон: глотаешь кровь и задыхаешься.

В принципе офицер без носа служить может. Без многого служат. Танкисты иногда и не так горели, и ничего — после лечения возвращались в строй, даром что лицо составлено из розовых кукольных протезов. Но вообще не принято употреблять офицера без носа. Начальство сочло, что увечье деморализующе воздействует на личный состав.

И Ковалева подвесили на нерве. Собрались вчистую уволить, потом в кадрах сжалились — куда строевик-подполковник без всякой гражданской специальности, и вдобавок без носа, денется, с крошечной неполной пенсией? В семье настало — жрать нечего. Пороги, адъютанты, телефоны поднявшихся по службе однокашников. Выбил назначение в военкомат.

Колеса — тук-тук: стрельба снится все реже. Прибыл, доложился — кабинетик, стол-телефон, сейф с макулатурой под портретом президента. Чемоданы в снятой комнате — под кровать и на шкаф. Ну — с новосельем!

— Живы будем, подполковник!

— Ты ешь, милый...

Видуха по делу — страшноват. Но со временем привык и ко взглядам, и с зеркалом договорился. И окружающие приняли, встроили в свою жизнь. Страшноватость словно отлакировалась привычкой и приобрела своего рода индивидуальную законченность. Проявилось сходство не то с генералом Лебедем, не то с чемпионом мира по боксу в среднем весе Свеном Отке. Вполне мужественные вывески.

Что попивать стал — жизнь офицерская. (Ну, всучат замвоенкому всяко-разно по мелочи.) Вот что с женой разошелся... а кто сейчас без развода в биографии. И даже самый аристократический нос от этого не гарантирует. Иногда наоборот — добровольно нос отдашь и уши впридачу, лишь бы развестись. Нормальной бабе нос по фигу, она к другим качествам тянется. Хорошо хоть дети уже школу кончают... половину зарплаты Ковалев сам отдавал, без всяких алиментов.

Так что жил подполковник — нормально. Служба в конторе, по часам от и до, ночуешь дома, выходные твои. А что призывников по щелям отлавливать приходится — так это лучше ведь, чем чечен из гор выковыривать.

В окружном госпитале нищета. Спустя время напрягся — съездил в отпуск в Москву. А там все куплено — не пробьешься. Его направление отфутболили не глядя. Ну, записался на пластическую хирургию в приличную клинику. Очередь — года четыре. За большие деньги — свободно, но откуда у офицера эти тысячи долларов, если не ворует? А взяток Ковалев не брал. Бутылку мог, а деньгами — не переступал. Может, и дурак.

Один урод и вопил, что, видно, мозги ему отстрелили, а не нос, если он за штуку баксов не может белый билет нарисовать — не взял Ковалев штуку, а сучонка законопатил в погранцы на Чукотку. Пусть послужит.

Короче, весело-нет, дела устоялись. Из душевного равновесия вышиб его телевизор. Если гадский ящик смотреть подольше — он кого хочешь вышибет. Борец сумо по сравнению с нашим телевизором — это былинка на ветру... но не будем отвлекаться.

Вечер был субботний. Ковалев смотрел репортаж из Чечни. Он выпил, полил картофелину маслом из консервной банки и потащил сигарету. Погнали хронику из лагеря боевиков, заснятую каким-то западным телевизионщиком. Чисто экипированные ваххабиты раскинулись вокруг костра и напоказ ласкали оружие. Огрызки полетели по полу.

Нос был повязан зеленой косынкой, под ней горели глаза из смоляной бороды, но узнавался сразу — хрящеватый, нервный. На коленях он держал гранатомет, а в руке — кусок жареного мяса. Он отложил мясо, вытер пальцы о траву и зашпарил по-чеченски — гортанно.

Ковалев засадил полный стакан и протрезвел.

— Мы будем сражаться за свободу нашей земли до последнего бойца, — плел мелодию неодушевленный перевод, почему-то женским голосом. — Никогда неверные собаки не покорят наш народ... — И так далее.

Ночью Ковалев пытался собрать мысли. Мысли были одеты в камуфляж и перемещались по штабной карте. На ней пушился хлопок, и Армстронг ревел, как установка залпового огня: «Let my people go». Ковалев грохнул в стену так, что у них там что-то упало, и соседскую музыку обрезало.

Назавтра у Ковалева исчез мизинец на левой руке. Замотано тряпкой, и расплылось красное по тряпке. Он сходил в винный и подумал про обычаи якудза. Не вспоминалось... В раковине с грязной посудой обнаружилось бурое на ноже. Господи, черт, сука!.. Рыл вещи, мусор, грязное белье, греб пыль из углов веником — палец не находился. К темноте, плывя под пиво, решился обзвонить знакомых. «Никто не понимает. Они не понимают.»

Он увидел его через месяц по телику: показывали вручение какой-то литературной премии. Мизинец, маленький и не слишком аккуратный, странновато прогнутый в обратную сторону, сноровисто и жеманно хлопал рюмку за рюмкой и поглощал бутерброды в невероятном количестве. «И куда в него лезет», — позавидовал Ковалев.

Вспомнилось, как перед свадьбой написал стихотворение жене. И еще на третьем курсе — в стенгазету к 23 февраля. В библиотеку записаться, что ли; время есть.

А вскоре обнаружился и безымянный — в передаче «Моя семья». На нем по-прежнему блестело обручальное кольцо. Он без стыда рассказывал о своем фиаско в семейной жизни, напирая на то, что жена вечно пеняла ему за безымянность и бедность, и вообще за слабость во всех смыслах. Ведущий кивал поощрительно и подливал сок, разворачивая пачку этикеткой к экрану. Зрители ошарашивали бестактными вопросами и давали столь же бестактные советы, но Безымянный совсем не смущался, а наоборот, цвел и чувствовал себя как рыба в воде. Комариная иголочка ревности к его славе, пусть сиюминутной, кольнула Ковалева под ложечку.

И шквал запахов рванул и понес. Фруктовый сок, пузырящийся в толстом стакане ведущего, оглушил терпкой

свежестью раскушенного зеленого яблока, яблоневый цвет дурманил, прорезался из забытья запах маминой юбки и убаюкал, сортирная хлорка и курсантская кирза покрыли его, осадил глотку солярный выхлоп брони, пороховая гарь прослоилась теплой детской пеленкой, пыль плаца, пот жены, железнодорожный мазут, снег в поле и орудийный металл, прохладный лес, каленая степь, тяжелый шелк и мокрая псина, а потом все стало стягиваться, как парашют в ранец, как джинн в бутылку, и последним исчез запах окурков и дешевой водки. В госпитале рассказывали про фантомные боли и ощущения. Ковалев после ранения запахи не воспринимал.

Он подавил желание осмотреть всего себя в зеркале, для сна запил две таблетки стопарем и вырубил ящик на хрен.

Утром болела голова, а в субботу возник большой. Он угромоздился в полуночной программе «Хорошо бы!» и был массивен здоровой полнотой жизнелюба, отрастил пушистые каштановые усы и по любому поводу, которого касался, растягивал румянец в аппетитной улыбке: ехидно восторгался, что все хорошо, жизнь — во! — на большой с присыпкой. Ковалев невольно заржал, а после возвысился до мук философского противоречия: ненавидеть его за предательство — или радоваться, что хоть кто-то свой хорошо устроился.

А вот судьба указательного и мизинца с правой руки сложилась иначе. Они взяли Ковалева на гоп-стоп в собственном подъезде, объяснив, что за пальцовку отвечать надо. Били злобно, причем указательный орудовал куском шланга, а мизинец — кастетом. В старые времена Ковалев положил бы их на месте — а теперь отобрали кошелек с двумя сотнями рублей и сняли «Командирские» с именной гравировкой: «Майору Ковалеву за проявленную храбрость от командования».

«Убивать, — бормотал и кряхтел он у крана, обмывая ссадины. — Убивать...»

После того, как правый средний попал к нему в призывной команде и отказался идти служить, мотивируя сла-

бым здоровьем и тряся кучей справок, Ковалев понял, что из армии пора увольняться. Пенсия с гулькин фиг, но кормятся как-то люди. Можно подрабатывать, в конце концов, хоть охранником, хоть кем. Из его выпуска половина уже на гражданке.

«Комсомолку» он иногда подцеплял из соседского ящика проволочным крючком. Но читал аккуратно и назавтра обычно совал обратно. Увидев на развороте культуры статью про художника Ван-Гога и «Автопортрет с отрезанным ухом», он похолодел от ужаса. И подтвердилось: это было как раз 20 декабря. День чекиста, транслировали праздничный концерт — и его ухо сидело в зале и слушало, как Олег Газманов на сцене поет: «Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом». Все встали, и ухо тоже встало. Справа у него проблескивал орден Красной Звезды, а слева «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

— Тварь, — прошептал Ковалев. — Уж наверное у меня заслуг больше, чем у тебя! — У него самого орденов не было.

А другое ухо то и дело проскальзывало на канале «Культура»: оно млело на всяких симфониях с видом необыкновенно значительным, как бы говоря: «Вы вот дерьмо и серость некультурная, а для меня нет выше наслаждения, чем классическая музыка». Ковалев всегда вспоминал, как именно в это ухо ему засветил комбат Жечков, когда сам он еще командовал ротой в Приднестровье, и ухо с тех пор слышало туговато, а после артиллерийской стрельбы пару дней в нем гудело и бухало. «И сейчас поди бухает», — злорадно думал он.

Характер ставили в училище — на всю жизнь. Победил — молодец, побежден — дерьмо: копи силы и добейся реванша. Но к какому месту прикладывать силы, чтоб жизнь была посправедливее? Все врут свое и рвут свое. В полнолуние Ковалев даже проснулся от умственного усилия.

Синяя луна лезла в окно, как раскормленный вурдалак. Тень объедков на столе чернела резко, как горный пейзаж. Крошечная камнедробилка хрустела под плинтусом: мышь разбиралась с коркой. А на ум шел только комбат-2 Жека Камирский по кличке «Джек-Потрошитель».

Новым смыслом обогатилось выражение «играть в ящик», и не унимался ящик. Далекая Америка запестрела в нем, конкретизировалась титром «Русская», и левая нога выступила на фоне Манхэттена. Она не просто свалила туда, а еще и умудрилась получить статус беженца, как инвалид войны. (Ранение-то было — царапина.) И что ей, суке, стоило взять Ковалева с собой? Ведь неплохо, казалось бы, жили. Ну, бывал сапог тесен, ну, гудела иногда после марша, но ведь сам, своими руками, мыл ее, носки ей менял, ногти стриг.

В стиле «привета друзьям» она звенела, что Америка — идеальная страна, она с детства о ней мечтала и учила английский, у нее бесплатная квартира, медицинская страховка, талоны на питание, и здесь наконец она обрела заслуженный отдых. Декларацию разнообразили одесские нотки и неуклюжие американские обороты. Ну не гадина ли?

А левая рука, проявив неожиданную ухватистость, путем неясных комбинаций проскреблась в депутаты Госдумы. И там проголосовала за секвестирование бюджета и пересмотр социальных статей, и пенсию Ковалеву не индексировали — напротив, лишили бесплатного проезда на транспорте, пообещав надбавку в будущем.

А однажды утром выяснилось, что ушел Федор. Федор — потому что на самом деле Ковалев звал его Хфедей, а Хфедя — потому что на букву «х». Сами понимаете.

Хфедор известил, что возвращается к жене, и из контекста рассказа Ковалев понял, что он считает его жену, Ковалева, собственной. Они жили душа в душу, разливался Федор, и жена упрашивает его переехать к ней. А Ковалев сам виноват, что полноте жизни предпочел водку и казарму, тем и подорвал здоровье. И нудил про диету, простату и зарплату.

Еще несколько раз он заходил — в новом костюме, крепкий, наглый, и забирал всякие мужские мелочи вроде лезвий и резинок. В последний раз за окном зафырчала машина, и Ковалев успел разглядеть, как жена обняла Федора и поправила ему галстук. У Ковалева помутилось в глазах, и про мокрое на щеках он понял, что это слезы.

Он переживал долго, пытался презирать; и машина у них откуда. Жена жила бедно, а Федор — и того беднее. Вечерами въелось в привычку строить предположения. Одно из предположений позднее подтвердила уголовная хроника: Федор связался с группировкой, торговавшей живым товаром — продавали девчонок в арабские страны.

«Всегда был беспринципным, подонок», — прошипел Ковалев.

Федору ломилось двенадцать лет, но адвокат отмазал: четыре условно. По манерам адвоката можно было предположить не только то, что его хорошо подмазали, без этого сейчас не бывает, но и то, что Федор сменил ориентацию. Ковалев почувствовал позыв к тошноте. Несмотря на армейскую закалку, в некоторых отношениях он был брезглив до чрезвычайности.

Впоследствии Федор сделал мелкую карьеру на эстраде: пел с подтанцовкой двусмысленные песенки, обнажаясь до неприличия. Следовал моде: стриг капусту.

Но жопа, жопа! Если вас шокирует слово, по паспорту она стала Женей, даже Евгенией, но так ее все равно никто не называл. Годами более или менее исправно делая свое дело, исполнительная, хотя и туповатая Женя дослужилась до министра культуры, провозглашала тосты на банкетах и даже вела собственное ток-шоу. И ей поддакивали!.. Она носила очки, морщила то, что служило ей лбом, и произносила речи о восстановлении национальных культурных традиций.

Однажды пьяный поэт-постмодернист обозвал ее старым именем, и в результате она лишила его гранта на проживание полгода в Мюнхене и затаскала по судам, выиграв иск о защите своей чести и достоинства.

Да что Женя — даже правый ус, нещадно дерганый до нервного тика, вечно обкусанный, побуревший от никотина ус устроился в ГАИ и собирал поборы на асфальте. Но этот хоть иногда ставил бутылку.

И волосы разбрелись кто куда...

Ковалева хоронили в августе. Было воскресенье и годовщина чего-то. Кладбище было запущенное, с березами

и просторным небом. Ковалев лежал в гробу маленький и скособоченный, словно с одной стороны у него не хватало ребер.

Нетрезвые, как принято, могильщики меж собой пожали плечами, что покойника в столь скромном чине и без особых наград провожает почетный караул. Правда, он состоял всего из нескольких человек, но эти несколько были в краповых беретах, хотя некрупные, но коренастые, крепкие, и встали они к плечу плечо ровно, как зубы во рту.

От залпа «Калашниковых» слетели первые пожелтевшие листья. Отстреляные гильзы блеснули, и одна цокнула по старой мраморной плите за спинами.

Потом две белые гвоздики положила на холмик единственная присутствовавшая девушка. Она была не столько стройной, сколько худа, даже костлява, но лицо имела своеобразной красоты, прозрачное, как бывает у балерин. Хотя было в этой красоте и что-то злое, жестокое, если приглядеться.

Вольнонаемная, что ли, подумал могильщик. Какая-нибудь связистка.

ТЕСТ

Первого августа, за месяц до начала занятий в школе, мама повела Генку на профнаклонность. Генка не боялся и не переживал, как другие. Ему нечего было переживать. Он знал, что будет моряком. Его комната была заставлена моделями парусников и лайнеров. Он знал даже немного старинный флажной семафор и морзянку. И умел ориентироваться по компасу.

Вот Гарька — Гарька, да, волновался. Он семенил рядом со своей мамой, вспотевший и бледный. Вчера он упросил Генку, что будет проверяться после него. Он во всем с Генки обезьянничал. И модели с него слизывал, и тельняшку себе выклянчил, когда Генка впервые вышел во

двор в тельнике. Ему тоже хотелось стать моряком. Генке было не жалко. Пожалуйста. Море большое — на всех хватит. Даже так: когда он станет капитаном, то возьмет Гарьку на свой корабль помощником.

С солнечной улицы они вошли в прохладный вестибюль поликлиники. Генке мама взяла номерок на десять сорок. Гарькин номерок был на десять пятьдесят.

В очереди ждало и томилось еще человек пять. Трое девчонок сидели чинно, достойно; девчонки... что с них взять, сначала им куклы, потом дети — весь интерес. Пацаны тихо спорили, с азартом и неуверенностью. Профнаклонность — это тебе не шутка, все понимали.

Настала Генкина очередь. Они шагнули с мамой за белую дверь.

— Останься в трусиках, — сказала медсестра. — А вы, — к маме, — подождите здесь с одеждой.

Генка независимо вошел в кабинет. Доктор оказался совсем не такой; не старый и в очках, а молодой и без очков. Из-под халата у доктора торчали узкие джинсы.

— Садись, орел! — Он подвел Генку к высокому креслу. — Сиди тихонько, — пощелкал переключателями огромной, во всю стену, машины с огоньками и экранами. Снял со стеллажей запечатанную пачку карточек и вложил в блок. — Не волнуйся, — приговаривал он весело, успокаивающе, а то, можно подумать, Генка волновался... хм. Доктор надел Генке на голову как бы корону, от каждого зубца тянулся тоненький проводок за кресло. Подобные же штуковины доктор быстро пристроил ему на левую руку и правую ногу. И прилепил что-то вроде соски к груди. — Так. Вдохни. Выдохни. Расслабься. Сиди спокойно и постарайся ни о чем не думать. Будто бы ты уже спишь... — Он повернул зеленый рычажок. Машина тихонько загудела. — Вот и все, — объявил доктор и снял с Генки свои приспособления.

— Доктор, я моряк? — для полного спокойствия спросил Генка уверенно.

— Одну минуточку... — Доктор открыл блок, вынул карточки, нажал какую-то кнопку, и машина выбросила

пробитую карточку в лоток. — А ты, брат, хочешь стать моряком?..

— Ну естественно, — снисходительно сказал Генка.

— Ого!.. Сто девяносто два! — Доктор одарил Генку долгим внимательным взглядом. — Сто девяносто два! Поздравляю, юноша.

— Я буду адмиралом?! — подпрыгнул Генка.

После паузы доктор ответил мягко:

— Почему же обязательно адмиралом?..

И то ли от интонации его голоса, или еще от чего-то странного Генку вдруг замутило.

— Что... там?.. — выговорил он, борясь с приступом дурноты.

Доктор был уверен, весел, доброжелателен:

— Чудесная и редкая профессия. Резчик по камню! Нравится?

— Какой резчик, — шепотом закричал Генка, вставая на ноги среди рушащихся обломков своего мира, и замотал головой, — какой резчик!

Появившаяся медсестра положила добрую властную ладонь ему на лоб и что-то поднесла к лицу, от едкого запаха резануло внутри и выступили слезы, но сразу отошло, стало почти нормально.

— Нервный какой ты у нас мальчик, — ласково сказала медсестра и погладила его по голове.

— Редкая и замечательная профессия, — убедительно и веско повторил доктор. — И у тебя к ней огромнейшая способность. Утречко, а? — обратился он к медсестре. — В девять был этот мальчишечка... Шарапанюк... резчик по камню, сто восемьдесят. Теперь, пожалуйста, этот — сто девяносто два, а?

— И тоже резчик? — сестра взглянула на Генку по-особенному и вздохнула. — Талант...

— Посмотри на его убитое выражение. — Доктор даже крякнул. — А поймет, что к чему, еще ведь зазнается, возгордится. Ты еще прославишься, мальчик.

— Я не хочу прославиться, — горько сказал Генка. — Я все равно моряк...

Мама поняла все сразу, когда Генка вышел обратно в приемную. Она взяла профнаправление — и лицо ее посветлело. Она взволнованно поцеловала Генку куда-то между носом и глазом и принялась сама надевать на него рубашку, как будто бы он маленький.

— Чудесно, сынок, — сказала она. — Замечательно! Пойдем с тобой сейчас в художественную школу.

— Я пойду в мореходку, — ответил Генка непримиримо.

Мама покусала губы.

— Хорошо, — сказала она. — Пойдем сейчас домой. Пусть папа придет, там решим вместе.

Генка хмуро сидел во дворе под старым кустом акации, когда его отыскал там Гарька. Гарька самодовольно сиял.

— Меня уже оформили в мореходку, — похвастался он. — Что же ты меня не подождал, как договаривались? А мама сказала, что ты теперь пойдешь в художественную школу... Я не поверил, конечно, — доверительно сообщил он. — Какой у тебя уровень? У меня девяносто один! Почти сто! А у тебя? Сто один?

— Тыща, — сказал Генка, поднялся и ушел, пряча глаза.

Семейный совет был тягостен. Папа настаивал:

— У тебя все данные к редкой и замечательной профессии. Тысячи ребят были бы счастливы на твоем месте. Послушай нас с мамой, сынок. Ты ведь, хотя и взрослый, не все еще понимаешь... А в свободное время ты сможешь купить катер и плавать где душе угодно.

— А доктор не мог ошибиться? — безнадежно спросил Генка.

— Как?..

— Ну... может, машина его испортилась...

Папа молча взъерошил ему волосы.

— Я пойду в мореходку, — сказал Генка и заплакал.

Месяц прошел ужасно. Предатель Гарька дразнил его во дворе и похвалялся синей формой. Генка не отвечал ни на чьи расспросы (все, казалось ему, только и думают об его несчастье и позоре) и отказывался выходить гулять вообще. Мама с папой переглядывались.

Тридцатого августа мама сказала:

— Гена. Ты уже большой. Послезавтра тебе идти в школу. Ты — резчик по камню. Понимаешь? Кем бы ни стал, но все равно ты — резчик по камню. Идти тебе в мореходку — ну... как если бы птице учиться быть рыбой.

— Чайки плавают... — сказал Генка.

— И кроме того, в первую очередь все будет предоставляться ребятам с профнаправлением, ты понимаешь?

— Понимаю, — упрямо сказал он.

Назавтра они с мамой отнесли его документы в мореходку.

Завуч, взяв его профкарточку, с некоторым недоумением воззрился на Генку, потом на маму, потом снова на карточку, потом покачал головой.

— На вашем месте, — порекомендовал он, — я бы без всяких сомнений и вариантов отдал его в художественную.

Мама неловко помялась и развела руками:

— Он хочет... Мечтал... Ему жить.

— Вырастет — поймет. Благодарен будет.

— Не буду, — угрюмо пообещал Генка. Он ждал, обмирая в отчаянии.

— Что ж, — сказал завуч и кашлянул. — Мы возьмем тебя, конечно. Характер есть — уже хорошо. Но тебе придется трудно, учти, друг мой. Очень трудно.

— Пускай, — сказал Генка неожиданно ослабшим голосом и впервые за этот месяц счастливо перевел дух. — Морякам всегда трудно!

Через неделю Генка понял, что такое профнаправленность. Гарька давно гулял во дворе, а он еще готовил домашнее задание. Класс успевал решить три задачи, а он корпел над первой. Все уже усваивали новый материал, а он разбирался в старом и задавал вопросы. Полугодие он закончил последним в классе.

— Ты бы не хотел перейти в художественную школу, сынок? — печально спросила мама. — Тебя всегда примут. Подумай!

— Нет! — бросал Генка и зло сдвигал брови. — Нет!

Он шел последним до третьего класса. В третьем он передвинулся в таблице успеваемости на две строки вверх.

— Так держать, — сказал завуч, встретившись в коридоре. — Уважаю!

В шестом классе Генка стал достопримечательностью. Он был включен в состав команды, посланной на олимпиаду мореходных школ. Команда заняла третье место. Генка был единственным участником олимпиады, не имевшим профнаклонности. Гарьку в команду не включили.

Сознание необходимости делать больше, чем требуют от других, больше, чем делают другие, укоренилось в нем и стало нормой. Он привык, как к естественному, весь вечер разбираться в пособиях, чтобы на следующем уроке знать то, на что по программе, составленной с учетом профнаклонности, хватало и учебника.

Генка окончил мореходку десятым по успеваемости. Это очень нужно было. В числе первого десятка он получал право поступления а Высшее мореходное училище без экзаменов.

На медкомиссии он проходил исследование на профнаклонность. «Резчик по камню. Сто восемьдесят один», — последовало не подлежащее апелляции заключение. Комиссия уставилась на Генку непонимающе и вопросительно.

— Да, — сказал Генка. — Ну и что? Я моряк.

Комиссия полистала его характеристики.

— Будете сдавать экзамены на общих основаниях. Таковы правила.

Он проходил комиссию каждый год. «Резчик по камню».

На преддипломной практике он впервые не травил при сильной волне — четырнадцать лет тренировки вестибулярного аппарата.

Гарька получил уже под команду сухогруз, когда его еще мариновали в третьих помощниках. Потом он четыре года ходил вторым. Потом старшим. Потом ему дали старый танкер-шестнадцатитысячник, двадцать восемь человек экипажа.

В пароходстве привыкли к необычному капитану и перестали обращать на него особенное внимание, пока внимание это не возникло вновь, уже в благосклонном плане,

когда третья подряд комиссия по аварийности признала его самым надежным капитаном пароходства. В тридцать девять лет, являясь исключением из инструкций, он стал капитаном трансатлантического лайнера. Капитан лайнера без профнаклонности.

Он приезжал в отпуск, проходил двором мимо куста акации домой и каждый раз говорил стареющим родителям: «Ну как?» — и раскрывал чемодан с заморскими подарками.

— Как надо, — отвечал отец.

— Никогда не сомневалась, что из моего сына в любом случае выйдет толк, — говорила мама и на несколько секунд отворачивалась с платочком.

В сорок семь, капитан-наставник флотилии, он сошел в августе во Владивостоке. Пять широких старого золота галунов тускло отливали на его белой тропической форме. Широкая фуражка лондонского пошива затеняла загорелое лицо. Солнце эффектно серебрило седые виски. Навидавшиеся моряков владивостокские мальчишки смотрели ему вслед.

Дворец был вписан в набережную, как драгоценность в оправу. Линии его были естественны и чисты, как прозрение. Воздушная белизна плоскостей плыла и дробилась в сине-зеленых волнах и искрящейся пене прибоя.

Стройный эскорт окружья отграненных колонн расступался при приближении. Причудливый свет ложился на резьбу фронтонов и фриза, предвосхищая ощущение замершего вдоха.

Экскурсовод произносил привычный текст, и негромкие слова, не теряя отчетливости, разносились в пространстве: «...уникальный орнамент... международная премия... потомки...»

Капитан вспомнил фамилию, названную гидом. Она держалась в его памяти с того дня, того, главного дня, когда он смог... смог вопреки судьбе, вопреки всему... Это была фамилия того мальчишки, резчика, у которого было сто восемьдесят в то утро, а у него сто девяносто два. Шарапанюк была его фамилия.

Корабль уходил в море ночью. Спелые звезды августа качались в волнах. Полоска портовых огней притухала за горизонтом. Капитан стоял на открытом крыле мостика. Он снял фуражку, и ветер шевелил поредевшие волосы.

— Я лучший капитан пароходства, — сказал капитан и закурил.

И только холодок печали звенел, как затерянный в ночи бубенчик.

ГОЛУБЫЕ ГОРОДА

Вот только без ржания. Развелось «гомо». Голубую рубашку надеть невозможно. Я не о том.

Черт его знает, почему в воображении давно сюда прилипло название «голубые города». Цвет сна. Вздох небесный. Не то чудится прозрачная дымка, мираж, не то двойной контур происходящего. Городское марево, смазанность алкоголя и дрожь в зеркале. Был у Федина такой ранний роман (где тот Федин?.. кто помнит?..), все не дошли руки прочитать. И фильм такой был, и оттуда вызванивал ксилофоном шлягер, капель дальних весен: города, где я бывал, по которым тосковал, мне знакомы от стен и до крыш: снятся людям иногда голубые города — кому Москва, кому Париж...

«Скороход» был удивительной конторой. Я имею в виду не саму обувную фабрику, головную в объединении под тем же именем. Это была наша многотирага. Хотя тогда между статусом «многотиражной» газеты и нашей «заводской» усматривалась тонкая принципиальная разница, небезразличная профессионалам: ступень престижа, горделивый нюанс голодранцев. Мы были единственной в мире ежедневной газетой обувщиков, и самой массовой и капитальной: десять тысяч экземпляров, четыре полосы пять раз в неделю.

Стеллажи отсвечивали обоймами кубков. Вееры грамот придавали казенным стенам пестрый цыганский шик. На всевозможных слетах и конкурсах мы забивали первые места, предусмотренные для отрасли и класса. Генерал (называли генерального директора объединения) заявлял, что его день начинается с чтения свежего номера «Скороходовского рабочего». Высочайшая поддержка отпускала наш поводок до радиуса нагловатой свободы внутри очерченного круга: критиковать всех, за исключением самого генерала и секретаря большого парткома; прочих не возбранялось натягивать и высушивать. Это ли не кайф самоутверждения? За пределами круга царила партийная норма печати: подлиз с прогибом под барабанное единообразие. А на круг команде было по двадцать пять. Было дело.

Редактриса была умная. Она набрала ребят, как выражаются немцы, «с головами, но без штанов». Звезды университетского филфака сияли в студенческих небесах, забывая устроить дела на земле. И когда подходило время диплома и выпуска — обнаруживали, что работать негде. Дубовые двери альма матер хлопали, и происходил звездопад. Окурки шипели в грязи. Загадывали желание: ну, суки, и государство. И тут выяснялось, что кто-то из окончивших курсом ранее пашет в «Скороходе». И это жутко неплохо. К девяти утра ходить не надо. Можно иногда вообще не ходить. А можно уйти в любое время. Работа же заключается в том, что надо писать. И написанное не только автоматически печатают — но именно за это и платят деньги! Печататься где бы то ни было в то время было настолько трудно, что рисуемая перспектива спирала в зобу дыханье. Глаза расширялись с выражением восторга. Шедевры и пиастры!

Потому что нигде более печататься для нас было нереально. Мы не были члены партии. И не были членами Союза журналистов СССР. Обычно не имели ленинградской прописки — и, тем самым, шансов вообще устроиться в Ленинграде. А некоторые при этом опустились до хамства и глупости быть евреями. Да это почти бомжи, маргиналы, деклассированный элемент: потенциальные враги народа.

И вот деловая сорокалетняя Магда нас подбирала. А когда пошла наверх — оставила за себя сорокалетнюю же Риту. «Мамка»-Рита оказалась почти таким же отличным редактором: она не мешала писать так, как нам заблагорассудится, отстаивала наши опусы на бюро и могла выдать мелкую премию подкожным налом из сейфика. А между собой и коллективом проложила пару сорокалетних дур: чтоб нам было кого грызть, а ей — в ком иметь поддержку на любой случай. «Нам нужен живой и зубастый настенный орган», — писала дура о конкурсе стенгазет. На летучках мы катались по низкому длинному столу. Дуры рыдали «мамке» в кримпленовый сьют. Деваться им было некуда, и держались они за нее отчаянно, всеми своими настенными и подстенными органами.

Штатное расписание состояло из пяти единиц, а нас было семнадцать. Дюжина числилась по разным фабрикам и цехам затяжчиками, прессовщиками, вырубщиками и прочими социально ценными пролетариями, дважды в месяц отправляясь расписаться в зарплате. Это называлось числиться «на подвеске». Уже тогда мы были подвешены, понял. Нам делали лимитные прописки и выбивали комнаты в рабочей общаге. При случае втыкали в очередь фабричного кооператива. Купить было несложно, долг — не те деньги, ты попробуй туда влезь.

Гудели дневные лампы, стучали машинки, пахло крашеными кожами и текстильной пылью. В «Скороходе» мы обзаводились красными удостоверениями, вступали в Союз журналистов, снедаемые карьерой внедрялись со своих пролетарских подвесок в партию. И через несколько лет двигали наверх — в городские и областные редакции. Мы хорошо жили! Отчаянно паша за смешные зарплаты. Работягам были до фени перлы нашего стиля. Мы писали для себя: друг для друга. Будущее светилось огромным и светлым: «Клуб кинопутешествий», «Жизнь замечательных людей». Производственные заметки щедро фонтанировали избыточной молодой энергией.

Это было не то век, не то четверть века назад. Самый сок застоя. Брежнев еще иногда сам ходил и выговаривал многие слова.

Мы пересеклись в «Скороходе» возрастом мощного жизненного восхождения к главным делам и высотам. Силы распирали нас — ржали, как кони, стуча копытом насчет всего, что горит и что шевелится. Командой мы могли делать любую центральную газету по классу экстра — свой уровень знали, и сплевывали без тоски. Условия игры были гуще решетки — стояла эпоха анкетных карьер, и Фигаро брезгливо констатировал, что лишь раболепная посредственность достигает всего.

Пересечение было не случайным. Логический крест судеб. Кто гадал, что время вывихнет коленный сустав, оба локтевых и повредит позвоночник. Ясное дело, раскидало. Очки, вставные зубы и зарплаты в валютах далеких обжитых стран. И идея традиционного сбора сидит в нас много лет.

А на рубеже тысячелетий вопрос встал, лег, трепыхнулся: сейчас или на хрен. Штурвал провернулся, консервные банки звякнули на веревках: «сбор общий командный по форме номер два», или как это там у классика.

Связующим звеном послужил Аркашка Спичка. Это было самое толстое звено. Спичка сидел дома и работал без отрыва от собственного стола: фельетоны, переводы и брошюры по гастрономии холостяка. Рабле отдыхает. Тридцать лет он пил водку и закусывал салом, а раз в год ложился худеть в клинику.

— Может, соберемся? — задал он по телефону обычный вопрос.

— Куберского достанешь? — спросил я.

— Только в обмен на Саульского! — захохотал он.

Торг был неуместен. Куберский понемножку издательствовал здесь же, в Питере. А Серегу Саульского пришлось вынимать из Парижа, где он оттягивался уже двадцать лет: катал в Ниццу новых русских, играл в казино, писал пьесы, опекал взрослого сына и растил двухлетнюю дочь.

Мы стали уже не вовсе нищими, и организационный

период может быть из временного измерения переведен в денежный эквивалент: телефон и билеты. Если кто кому не чужой, собраться всегда несложно. Выпьем, закусим, вспомянем: живы.

В знакомой и съежившейся обшарпанной проходной у Московских ворот предъявили хранимые старые пропуска. Вахтерша заполняла брезентовый ватник, как вросшая за прилавком бочка. Фотографии хранили сходство.

Пересекли двор главного корпуса, мощеный треснувшими бетонными квадратами. Пыльные деревья облетали. Ветерок трепал Доску почета. Наш желто-серый флигелек оседал в землю.

Редакция помещалась в двух комнатах первого этажа. Сквозь кусты проникал полусвет. Из выгородки, заизолированной плитами сухой штукатурки и стекловатой и обитой мешковиной — «машинописки» — различалось тюканье машинки. О компьютерах здесь еще слыхом не слыхивали.

От клавиш обернулся Серега Ачильдиев и сверкнул зубами. До отъезда в Германию и до «Мегаполиса» он работал в «Неделе» — вполне приличная для газетчика тех времен карьера.

— Ка-акие люди! — весело закричал все тот же смуглый и маслиновоглазый брюнет Ачильдий, лаковый красавец из бухарских евреев. — Явились наконец. Водка стынет!

И немедленно в какой раз пожаловался, что проработал здесь уже черт-те сколько лет и написал со всех фабрик объединения все, что возможно придумать про изготовление обуви. «Когда я вижу человека с ботинком не на ноге, а в руке, мне хочется вырвать этот ботинок и дубасить им его по башке, чтоб обулся и исчез вон!»

В дверь просунулся седеющий Гришка Иоффе и со своей ехидно-интеллигентской ухмылкой пересчитал бутылки.

— Можешь не считать, Григорий, тебе обрубиться хватит, — уверил маленький Витька Андреев и мотнул эспаньолкой.

— Ну так и пора начинать, не фиг остальным опаздывать.

Спичка немедленно отправился в раковинно-посудный закуток резать сыр и колбасу. Мы отковырнули пробки, развели первую по стаканам и подтянулись вокруг низкого стола для летучек, крытого исцарапанным красным пластиком.

— Не может быть!.. — высоким молодым голосом сказала Оля Кустова (наша «культура», редактор «Детгиза» и «Лениздата», далее — везде), поерзала, умещаясь на стуле, нюхнула, вздохнула и зажмурилась.

Стаканы стукнули, звякнули, столкнулись.

— Ну что, за «Скороход», мальчики, — сказала тощая и уважительно сияющая мамка-Рита, и мы выпили.

В этот самый миг, разумеется, прихромал опаздывающий всегда и в любых ситуациях бородатый Бейдер.

— Блядь, они уже, конечно, пьют, — прогудел улыбчиво матюжник Бейдер и поставил «Столичную». Ногу он сломал на тренировке карате, и все ржали, что загипсована левая, рабочая, чем теперь писать будет?

— Совсем ты расслабился в своем Иерусалиме, — подколол фотошник Фрома, сдвигая козырьком назад неснимаемую капитанскую фуражку и щелкая камерой. — Здесь тебе не паршивый «Маарив», а единственная в мире ежедневная газете обувщиков. Как справедливо заметил посол Бовин, если что и погубит Израиль, так это раздолбайство евреев.

— Ты на себя в профиль давно не смотрел? — спросил Вовка, стуча ногой, как статуя Командора. — Ариец. Бердичевский самурай. А до Иерусалима еще дожить надо. Я лично собираюсь работать здесь. Это единственное место, где можно работать.

— Да сообрази ты наконец, Бейдерино, — сплюнул Саульский, — что вся наша работа здесь на хрен никому не нужна. Делали говенную обувь — и будут делать, хоть ты им «Анну Каренину» напиши.

— А куда ты с подводной лодки денешься? — хмыкнул Вовка, повертел луковицу, заправил в бороду и хрустнул...

— Да валить всем отсюда надо!

— Довалились уже, ступить некуда — везде сидят вот такие. А я хочу, чтоб прошло много лет, и вы все намотались по разным местам, а потом пришли в «Скороход», — сказал Бейдер. — Где я буду сидеть главным редактором.

— А меня ты куда денешь, Володя? — кротко спросила Рита.

— В министры печати, — цинично польстил он.

— Ну — намотались, — сказал Ачильдий.

— Ну — приехали, — сказал Саул.

— И я вас — возьму! — торжественно пообещал щедрый Бейдер.

— Возьми петуха за бейцы! — прыснул водкой толстый Спичка.

Мы все еще не обвыклись друг с другом, не обмялись. Глазам было странно. Бывшая когда-то целым залом редакционная комната стала маленькой и бездарно освещенной. Выпили по третьей реанимирующего напитка и закурили.

Совмещение настоящего и будущего, или, если иначе взглянуть, прошлого и настоящего, с повышением градуса пошло легче, естественней.

— Здесь расти дальше некуда. Бесперспективно, — пригорюнившись, поделился Гришка Иоффе и как бы сморгнул слабую слезу. Бескостно оползая в дерматиновом полукреслице, он сделался похож на маленького, поседевшего, домашнего и безвредного змей-горыныча. — Книгу издать невозможно. Издательства забиты на пять лет вперед. В Союз писателей не вступишь...

Писал он так себе. Все потупились. Вялый-то он был вялый, но в глубине немножко ядовитый.

— Гриша, — предостерег благодушный Куберский, — не делай глупостей. Ну, издашь ты в Магадане свою книжку детских стихов — и это стоит того, чтоб разводиться с Жанной? Трехкомнатный кооператив от «Скорохода» ты купил, в партию и в Союз журналистов вступил, зарплату получаешь, — живи спокойно!.. Не дергайся.

Мы знали, что речи эти в пользу бедных. Гришка проторчал в своем Ягодном, зековской столице Колымы, пять лет: вернулся несолоно хлебавши, усох, опал, постарел, и теперь платит алименты и по выходным гуляет с выросшими детьми. Сам дурак. А жалко бедолагу.

Труднее всех было с Мишкой Зубковым. Мишка спился, опустился, не вылезал из депрессии — голливудский красавец, умница, талант, «Мистер филфак» все пять студенческих лет. Он блестяще писал, пел, как Карузо, играл на всем, что издает звуки, и переводил со всех языков. Бабы падали штабелями. До времени он посеребрился, остригся коротко, надел очки, знал все ночные шалманы в городе, ходил в засаленной куртке, и в один гадкий петербургский вечер бросился на Финляндском вокзале под электричку. Зрелище было серьезное даже для штурмовой бригады «скорой», прилетевшей на «попал под поезд». Они вызвали транспорт из морга, и то, что осталось на рельсах, лопатой собрали в черный пластиковый мешок.

— Зубкович, — сказал Саульский, — да ты выглядишь еще лучше, чем раньше. В каком ты опять круизе набрал такой миллионерский загар?

До «Скорохода» Мишка два года плавал пассажирским помощником на «Лермонтове» и был любимцем публики и команды.

— На Южном кладбище, — в лучших традициях черного университетского юмора захохотал Мишка.

И все захохотали следом, а громче всех я, потому что в это время я уже жил в Эстонии, и Гришка Иоффе пытался задним числом сделать мне выговор по телефону, что я не приехал на Мишкины похороны. Хотя а) я не знал; б) гроб все равно не открывали; и церемония превратилась в крепкую помойку памяти товарища.

А вот сидит товарищ, и хоб хны. Хрен ли нам Колыма, хрен ли электричка.

Мишка мягко улыбнулся и налил себе пива.

— Не сдувай пену! — закричал Бейдер, и все снова загоготали.

Мы пили пиво у ларька на углу Воздухоплавательной, и Мишка не глядя сдунул пену на лицо вышагнувшего сзади мужика. Еле отмахались. Компанию мужика особенно оскорбило, что смешливый Бейдер просто зашелся в экстазе. Он как раз перед этим удачно заплел вежливую критическую гадость про Маринку Галко: про ее самомнение как насчет гениальных материалов, так и насчет неотразимой внешности, но яд еще не был излит.

— Вот пройдет лет двадцать, — принял Мишка кружку, — и красивой Маринка быть перестанет, а дурой так и останется. — И сдунул пену. И попал.

Грузинская княжна Маринка Галко, бывше-будущая Куберская, Токарева и Гусева, сидела напротив на диване и щурила мохнатые ресницы. Хлебом ее не корми — дай поохмурять ближнего: а потом самовлюбленно шлепнуть его по рукам, тянущимся ответно куда надо.

— Мудак ты, Мишаня, — сказала она. — Хотя все равно я тебя очень всегда любила. — Красивой она быть не перестала, что же касается ума, то давно защитила диссертацию по искусствоведению и очень удачно и счастливо успокоилась в браке с директором Русского музея; пустячок, но тоже приятно.

— Ну ты крута, мать, стала, — пропыхтела Алка Зайцева, еще не гражданка глубоко независимой Эстонии и еще не Каллас. Алка была пышненькой в свои двадцать восемь, и в тридцать восемь, а в сорок восемь посуровела, постройнела, села на диету и успешно сидит на ней до сих пор, блюдя размеры. Она еще пила, еще курила и еще сумрачно прикидывала будущность: денег нет, родители старики, сын неврастеник, разведенный муж из тюремной школы переезжает в США, там у него несколько домов, изданная книга, слезы, седина и бесцельность. А у нее любящий муж, ставший большим писателем и бросивший пить, младшая дочь, сын стал доктором эстонской филологии, а сама главный редактор почти не существующего в природе, но все-таки журнала.

— Как живешь? — спросила она Вовку, не глядя на него.

Вовка с небрежным смыслом перекорежил бороду.

— Лысеем, понимаешь, — врастяжку ответил он.

— Ну, с твоей формой черепа можно. А еще?

— Машину купил... под конец олимовских льгот. По прямой едет. Осталось парковаться научиться. В Тель-Авиве днем на... пардон, замучишься с парковкой.

— На фига тебе машина, — сказал я.

— А ты все красиво нищенствуешь, художник? — спросил он, налил и выпил. — А не боишься, что печатать тебя все-таки не будут, и в результате без денег и без всего ты все-таки не сможешь пробиться? И окажешься в пролете — жизнь в дерьме? Ты вообще допускаешь такую возможность?

— Допускаю.

— Ну и?

— Значит, тогда я дерьмо и так мне и надо.

— Гм. Ну что. Точка зрения достойная.

Стану я рассказывать, как бьюсь лбом в машинку, когда ночью накатит. Никто меня печатать не собирался. Я и мысли не допускал, что не пробьюсь; но... Так не бывает, чтоб человек сделал все от него зависящее — и не добился своего. Всегда ты сам чего-то еще не сделал — так не скули.

Отмякли; и уже голоса поднялись враз — политика, литература, мораль и гибель страны: есть приход — захорошели. (В этот абзац каждый сам, в меру своей информированности и политических воззрений, может поместить Горбачева, перестройку, августовский путч и октябрьский расстрел, приватизацию, обнищание, последствия распада Союза, эмиграцию знакомых, Ельцина и Путина, инфляцию и порнографию, борьбу с лишним весом и облысением, квартирные проблемы и взросление детей... вот, собственно, и вся наша жизнь в темах для разговоров. И чем больше говоришь — тем дальше дистанция внутри единой когда-то компании: какое-то взаимоотталкивание и разбегание молекул. Нет: встреча должна продолжаться с того момента, когда много лет назад расстались — о том, что было вместе, а не о том, что разъединяет. Не знаю, понятно ли я объяснил.)

В машинописке раздался глухой деревянный удар. Мы переглянулись и вскочили. Наташка Жукова, страдавшая эпилептическими припадками, опять упала — прямой спиной, приложившись затылком. Как колоду на паркет бухнули. Бабы захлопотали.

— Никаких условий для нормальной работы, — с холодной иронической неприязнью, юмор джентльмена-декадента, произнес Зубков. Чем разрядил неловкую тишину. Скорбеть никому не хотелось. Хотелось говорить о хорошем. Упала — встанет. Больна — в больницу.

— Упал — отжался, — сказал Иоффе.

— Нечего деморализовать коллектив, — сказал Ачильдий.

— Так и пол проломить недолго, — сказал Бейдер.

Как-то к нам пришел с журфака практикант-араб, сириец, милый чернявый мальчик. Носы и фамилии редакции привели его в некоторое сомнение.

— Это русские фамилии? — неуверенно и с вежливой надеждой поинтересовался он.

Ответный гогот был окрашен в интонацию непроизвольно глумливую. Больше мы арапчонка не видели. Душевные ребята журналисты.

Машинистку Любу отправили в медпункт за бинтом и йодом. Через пару лет Люба заложила парткому всю контору в отместку за то, что ей чего-то там не доплатили по сравнению с прочими. Она обнародовала нищую нашу систему неподотчетных выплат сотрудникам, и редакцию, вздрючив, посадили на сухой паек. Зараза. У нее были очки и волосатые ноги. И все равно она была своя. Однажды по пьяни мы чуть не переспали. Хотя по пьяни хоть однажды все со всеми чуть не переспали. Все равно зараза.

Под это оказание скорой медицинской помощи особо неустойчивым Спичка с другом Зубковым, циники-однокурсники, кивнули друг другу и на прекрасном польском воляпюке грянули с замечательным умением и задором на два голоса дивно неприличную песню о любвеобильной хозяйке корчмы, которая «сама поцелует, сама вложит». Припев состоял из односложного, зато оглуши-

тельно повторяемого слова, и мамка-Рита покраснела. Спичка давно разошелся с удивительно красивой и еще удивительнее глупой Нинкой, а сын их вырос на редкость славным и чудовищно уже взрослым мужиком, старше нас сейчас, он работает на телевидении и прошлым летом делал со мной передачу.

Вот это смешение двух времен и всего между ними, двоя и множа контуры лиц и предметов, создавало расплывчатое и щемящее ощущение родства и любовного единения, которого раньше у нас никогда в такой степени не было. Я затруднился бы определить, в какое время это происходит. Любили-то мы друг друга больше, чем прежде — это была ностальгическая любовь (старых мушкетеров), которую годы лишили зависти, текущих счетов и ревности к будущему друг друга: это будущее уже свершилось и было при нас, уже ничего не изменишь, и разница положений минимально в перспективе преуспевшего, скажем так, Мишки Зубкова и максимально в той же перспективе (ретроспективе?) поднявшегося, скажем, Мишки Веллера абсолютно ничего не изменяла в положении и в отношениях: уже можно ничего не избегать и ни к чему не рваться, а просто пить, сидеть вместе и оттаивать любовью. Все равно мы все здесь, на ста двадцати рублях, флаг для Царского Села, дым отечества. И все равно зубковский блеск ничем не перешибаем, а саульский мужской магнетизм ни с чем не сравним, а маленький Витька Андреев хороший и очень добрый парень, которому крепкую и незаслуженную подломаку устроила бывшая жена, и он теперь слегка двинулся крышѐй, потому что одновременно (дуплет, флешь) из тома испаноязычной поэзии в Библиотеке всемирной литературы выкинули две тысячи строк какого-то переводчика, свалившего по израильской визе в США (лишенец!), и витькин кафедральный шеф по доброте и нужде задвинул туда его испанские переводы, Витька получил фамилию на обороте титула и чуть не три тыщи рублей и воспринял себя, в порядке компенсации за личный облом, круто всходящей литературной величиной. Его звездность нас забавляла, будущее было как на ладони, или в дырявом кармане, или в старом чулане, вот оно все здесь, как и все наши судьбы, и Витьку это уязвляло — он сделался [ас]едок и самолюбив.

— У меня в Доме прессы спрашивают: чьи это такие красавцы в газетную типографию вычитывать полосы ходят? — похвалялась мамка-Рита. — Это, говорю, наш «Скороход». От Зубкова, ой, они там вообще лежат. И Сережа Саульский, и Ачильдиев... — она обвела вокруг влажным взглядом, споткнулась на Иоффе: — Вообще все у нас красивые мальчишки!..

«Поплыла мамка», — пробурчал недолюбливавший ее Бейдер.

Спившийся вусмерть редактором «Ленинградского речника» Адик Алексеев, наш ответсекр, был и сейчас похож на пожухшее красное яблочко в очках. Зайдя сзади, он сжал визгнувшую дуру-Глухову за основательные немолодые бедра.

— Мэм! позвольте вас тиснуть! по-партейному! — молодецки гаркнул он и упал в проход между столами. Это был его коронный номер.

— Если сама знает кто опять нассала под раковиной — убью, — отреагировал Бейдер, оценивая градус встречи. Мы уже два раза сгоняли за добавкой на уголок, и всем было хорошо. Возвышенно. Хотелось беседовать о чем-то значительном, в чем мы разбирались лучше других, и тем самым льстить уже темой беседы.

— С-суки, что со страной сделали, — сказал германец Ачильдий.

— С какой именно? — осведомился Спичка.

— А ты закуси, — посоветовал Зубков.

— Знаешь, когда я понял, что уеду? — спросил парижанин Саульский. — Когда мы с Веллером как-то месяц обедали в кафе.

— Логично. Перед дальним перегоном надо поплотнее закусить, — кивнул Спичка, наложил сырный ломоть на колбасный, свернул в трубочку и сравнил ее размер с уровнем в стакане. — Во всем должно соблюдать пропорцию, — пояснил он. — Это я вам как гурман говорю.

— Пару раз мы и в «Метрополе» обедали, — уточнил я. — Помнишь, как какой-то козел прорывался к Никулину за автографом, а халдей принимал его на корпус?

— Это если у кого был корпус, — хмыкнул Саул, недавно бросивший бокс в семидесяти килограммах. — Ну и что? Что мы, много брали?

— Два помидорных салата, два мяса, два кофе и бутылку сухого, — процитировал я несложное традиционное меню.

— Ну, и сколько это стоило?

— Десять рублей.

— Вот именно! И сколько это получается в месяц?

— Триста рублей. Если обедать каждый день.

— А что, надо обедать не каждый? Сколько мы с тобой на двоих зарабатываем? Я сто сорок.

— А я сто двадцать. Сто тридцать с премией.

— Это вместе чего выходит?

— Двести семьдесят.

— Так... А три дня что — не жрать?!

— Ну, разгрузочные дни полезны.

— Блядь!!! Я не вагон, чтоб меня разгружать! А если я хочу обедать каждый день?!

— Хотение — бесплатно.

— Три дня не жрать! А если я еще хочу, например, купить носки?

— Не жри четвертый, — сообразил Иоффе.

— Или носки, или обед, — философски рассудил Андреев.

— Все суки! А если я хочу и носки, и обед?! Мы два на хуй журналиста, кончили Ленинградский университет, работаем не в самом последнем горчичнике, не идиоты, — мы что, не можем себе заработать и на носки, и на обед?

— Можем. Но не зарабатываем.

— На х-хуй мне такая жизнь???!!!

— Чего же ты хочешь, как спросил классик?

— Я хочу каждый день обедать! и при этом покупать себе носки!

— О? Ну так вали отсюда, — подытожил я.

— Куда?

— Туда, где каждый день обедают и ходят босиком, — поморщился Зубков. — Главное — чтоб не пообедали тобой.

— В Париж! — сказал я. — Как раз и женишься на Кристине, о чем она мечтает.

— На х-хер мне сдался этот Париж! Я живу здесь! и хочу здесь обедать! и ходить в носках.

— Так не бывает, — покровительственно улыбнулся автор ожидающейся первой книги рассказов и издатель Куберский. — Либо здесь без обеда, либо в Париже без носков. Надо уметь делать выбор, старик.

Саул хлопнул полстакана привезенного арманьяка — он приехал из Парижа с деньгами, не мог он такого позволить, чтоб он платил не больше других, — и свернул самокрутку из черного луарского «капораля».

— Вот и свалил, — пояснил он Бейдеру. — И эта страна меня больше не ебет, понял? Я здесь ходить боюсь. (Его наладили трубой по голове и сняли джинсы белой ночью прямо перед Русским музеем, где сейчас директорствовал муж Маринки Галко, и Саул посмотрел на нее с ненавистью.) Это не страна — это зона! А по зоне не гуляют — ее пересекают! Я пересекаю этот город на машине.

— Езди на машине, — покладисто разрешил Бейдер.

— Здесь только самоубийцы могут ездить на машинах! — взорвался Саул. (Он недавно перегнал новому русскому «мерс» из Парижа, незамедлительно вслед за чем, прямо в кабаке точки доставки, умудрился из старого боксерского куража схлестнуться с солнцевскими пацанами, которые не убили его только под авторитетом заказчика, но измочаленное тело выкинули на обочину невесть где, и он полгода лечил переломы.)

— Пожил бы ты в Израиле, да на территориях, поспал бы с автоматом под кроватью — тогда бы понял, что здесь еще курорт, — вздохнул Бейдер. — Лично меня от этой палестинской Касриловки уже тошнит. Все делается в Москве... мужики! На хрен я уехал? А... жена допилила...

— А теперь?

— Теперь там пилит. Тоже плачет.

— Возвращайся, — пригласил Андреев с нотой издевки.

— Россия — щедрая душа!

— Куда? Сюда? Я дурак, а не сумасшедший. Лучше воевать с арабами, чем с черносотенцами.

— Да брось ты эти байки про черносотенцев, — отмахнулся Гришка Иоффе, благополучно отбывший пять лет Магаданского края.

— Думаешь, в Германии мало неонацистов? — со светской безнадежностью поддержал тему Ачильдий.

— Зато в Эстонии их нет, — сказала жительница Таллина и эстофилка Алка Зайцева и махнула рюмку.

— То-то в сорок третьем году в Эстонию прилетал Риббентроп — лично поздравлять администрацию с тем, что Эстония стала «юденфрай», свободна от евреев, — гмыкнул Спичка. — Хотя... даже среди поляков я знаю одного, прилично относящегося к евреям!

— И я тоже, — поддержал Зубков.

— Видимо, это единственные два поляка, терпимые к евреям, — съязвил Андреев.

— Один, — сказал Зубков. — Это Кшиштоф, наш с Аркашкой друг. Мы знаем одного и того же поляка.

Он принял гитару и, улучшенный и вокально обогащенный вариант молодого Утесова, заполнил слух и сознание: «Давно уж мы разъехались во все концы страны...»

Голубоватые и прозрачные, как кисея, знамена реяли вместо стен. «Словно осенняя роща, осыпает мозги алкоголь», — пробормотал Саул. Страна распалась, разъехалась, дальние края загнулись и соединились, и она оказалась глобусом: крутится, вертится шар голубой. Внутри призрачного шара бились и не могли вырваться голая Мэрилин Монро, хриплый голос Высоцкого и пыльный комиссарский шлем.

После тоста за эту дольчу виту Саул забрал у Зубковича гитару и, глумливо глядя ему в глаза, заорал с надрывом: «Вот вышли наверх мы — но выхода нет!..» Зубков пропустил оскорбительный намек с достоинством британского парламентария.

— Ну, так что мы сейчас делаем? — спросила мамка-Рита, взглянув на часы. — Вроде и поздно уже.

Бейдер махнул рукой и выругался:

— Я только сейчас возвращаюсь в маршрутке из Тель-Авива домой в Иерусалим. Час от двери до двери. И так шесть раз в неделю... Туда машина отвозит, в Иерусалиме девять человек из «Вестей» живет, а обратно — обычно поздно...

— Я лично пью свою кружку пива в Мюнхене, — сказал Ачильдий.

— Рита, вы иногда бываете несколько бестактны, — вежливо заметил Зубков.

— Миша, извини, ради Бога, — деловито и без смущения бросила мамка. — Мальчики, я — все. Вы, если хотите, можете оставаться, только посуду потом составьте в раковину, а то уборщица утром ругается. А я пойду. Завтра буду к половине десятого. Все помнят — сдаем пятничный номер? Витя, не забудь, ты на первой полосе.

— Только не перепутайте опять Хитроу с Хосроу, Раиса Максимовна, — ехидно просипел закосевший Андреев. — Хосроу — это аэропорт в Лондоне, а Хитроу — это средневековый узбекский поэт. Так это наоборот! А если не знаете — так можете спросить у меня.

— Во-первых, — сказала Рита, — я Раиса Михайловна. До Раисы Максимовны еще десять лет жить. Не торопи события.

— А чего их торопить, они и так уже произошли.

— Тем более незачем торопить.

Она попрощалась. Мы разлили остатки. Стали сбрасываться по рублю. Кинули «на морского», кому бежать на уголок за парой флаконов.

— Михаил, — глубоким голосом спросил Зубкова Ачильдиев, — ты же заведовал Ленинградским отделением издательства «Наука», это не хрен собачий! Скажи хоть сейчас — с чего ты сделал такую глупость страшную?

— Погоди, — мелодично, красиво засмеялся Зубков, — хлебнете вы еще перестройки. И постперестройки.

И пост-СССР. Напостовцы. Постовые. Разводящий — ко мне! остальные — на месте!

— Уже хлебнули, и ничего, как видишь.

— Вижу. То-то вы все торчите хрен знает где, аж голов не видно из этого самого, и занимаетесь кто чем.

— Ну все же лучше, чем так...

— Это еще как сказать. Во-первых, я здесь. Во-вторых, не знаю наконец никаких хлопот. В-третьих, Аркашка иногда приносит выпить. («И закусить, — добавил Спичка. — Семь лет носил. И хватит халявы. Теперь с тобой на соседней аллейке. Забыл? Пей меньше».)

В-четвертых, вам теперь еще пилить хрен знает куда, а я могу пить спокойно и не дергаться. Ну, жребианты, жеребщики и жеребьевщики, кто со мной сходит?

Спичка мгновенно и неожиданно заснул: раз — и перешел в другое состояние, удобно расположив живот на коленях. Куберский сосредоточенно составлял из дареных на юбилеи кукол орденоносного матросика и краснокосыночной работницы позу анального секса «народ и армия едины». Эта композиция по утрам приводила старушку-уборщицу в неистовство. В магазин мы пошли втроем с Мишкой и Бейдером.

Долго изучали сияющие полки винного. Я выгреб остатки из кошелька и взял сверх программы литровку «Абсолюта» и самый большой арбуз.

— Размечтался, — насмешливо сказал обнаружившийся рядом Саул. — Это мы с тобой брали в Париже ночью на завязку твоего дня рождения, у меня в квартале, в арабской лавке.

— И жить торопится, и чувствовать спешит, — насмешливо продекламировал Зубков, распределяя шесть бутылок «Хирсы».

По темной улице мы возвращались сквозь прохожих, хохоча над каждым словом. То, что они не замечают наших светящихся силуэтов, казалось необыкновенно забавным.

— Привидения в замке Шпессарт, — комментировал Зубков и запел под Вольдемара Матушку, хотя тот был привидением из другого кино.

— Как-кая баба! — прицокнул Бейдер, плотно вписавшись сквозь грудастую блондинку, облитую лайковым завмаговским пальтецом.

— Так трахни ее! раз она все равно ничего не чувствует.

— Вот именно — что ж ее трахать, если она даже ничего не почувствует?

— Как они тут, интересно, вообще трахаются, ничего не чувствуя?

— Вот рождаемость и падает.

— Без нас!

— Пора помочь стране!

— К барьеру, господа! К станку!

— Вспомни — а ты как трахался?

— С удовольствием, бля!

— Со звоном даже, я бы сказал.

Гогоча, мы ввалились в ободранный коридор, ведущий к редакционной двери. Две хмурые, со стертыми усталостью лицами работницы после второй смены шли в женский душ.

— Пойдем с ними?

— Спинки потрем!

— И отразим это в пятничном номере. Скажем, что вот так он и сдается. Их это, в конце концов, газета или не их?

— А жанр называется «подпись под клише».

— Юноши и девушки! Овладевайте смежными специальностями!

— Да просто: овладевайте!

Они обернулись неприязненно:

— Гогочут... Над чем гоготать?..

Мы прямо зашлись от этих слов.

— Это точно, — выговорил сквозь смех Зубков, — не над чем.

— Сука буду, хорошо живем, мужики, — одобрил Бейдер.

— Ага, а хорошо жить еще лучше, — процитировал Саул и толкнул дверь.

ВЫЖИВАТЕЛИ

За окном грохнуло так, что сковородка лязгнула на плите, пыхнув масляными искрами. Даже не РПГ, не иначе кому-то всадили зажигательную в бензобак. Рефлекторно закрыв газ, Горелов глянул. Перекрещенные лейкопластырем стекла держались нормально. Ящик с запасными, переложенный тряпьем в кладовке, кончался, а небьющегося стекла было не достать, и стоило оно немерено. Не хотелось переходить на фанерки, как соседи победнее.

Он поправил горелку. Зашипел синий зубчатый венчик. Всунулась жена, кончая макияж, и наморщила носик:

— Что там у тебя? Опять опоздаем.

Пятилетний Андрюшка кочевряжился и хныкал. Ладно, в садике позавтракает. Дочь-третьеклассница возила вилкой по лужице маргарина в тарелке, деля залубеневшую макаронину на шайбы.

— Прекрати безобразничать! — одернула жена. — Завтра будет картошка.

— Жареная? — оживилась дочь. — Ура! — Сплюнула в ладонь и спустила в угол.

В прихожей Горелов незло рявкнул жене: опять забыла пришить дочке лямку к жилету. Обвязал жилет веревочкой и сделал бантик.

— В школе не потеряй! — наказал строго. — Смотай и спрячешь в портфель.

— Обеща-ал, — с безнадежным вымогательством затянула она. — У всех почти в классе кевларовые...

— Я сказал — на день рождения. А вообще этот лучше. Прочней.

— Ничем он не лучше... Таких уже и не носит почти никто.

— Вот на калаш старый напорются, тогда будут носить.

Андрюшка в своем жилете катался, как робот-сапер на маленьких ножках.

— Мы выйдем когда-нибудь? — поинтересовалась жена, меняя позу боком к зеркалу.

Горелов выключил свет, открыл внутреннюю дверь и прилип к глазку. АК-47, добела заношенный, без приклада, снял с предохранителя и передернул затвор. Провернул оба замка и отодвинул засовы.

На лестнице было тихо. В сером свете непривычных теней не рисовалось. Запах спокойный: моча, окурки, цементная пыль...

Он скользнул на площадку, стволом контролируя лестницу:

— Пошли!.. — И вслушивался, внюхивался, пока жена запирала дверь и прятала ключи.

— Сколько раз тебе говорил — не носи пистолет в сумочке! Никогда не успеешь достать.

— А где мне его носить? Я б сказала!

— Перестань при детях! В левом рукаве, ручкой вперед.

— Он слишком большой!

— А где я тебе дамский возьму? И все равно от этих шесть и пять никакого толку.

— У Иванихиной смит-вессон-38 вообще в ладони умещается. А калибр девять миллиметров, и патрон мощнее Макарова.

— И где она его носит? Так и ходит — в ладони?

— В сумочке!

— Вот шлепнут вас, двух дур с сумочками.

— Я в школу опозда-ю... — заныла дочка.

Сын присоединился мгновенно:

— А когда мне-е купят пистоле-ет!..

О господи, вздохнул Горелов. Еще день не начался. Скорей бы отпуск. Затовариться и спокойно жить дома.

Он ссыпался на пролет вниз, описал дулом широкую восьмерку и сделал жест семье спускаться.

У подъезда ничто не внушало подозрений. Кусты были сбриты под корень, не заслоняя сектор наблюдения. Горелов вынюхал воздух, вслушался, развернулся по сторонам — махнул рукой к троллейбусной остановке, конвоируя семейство сзади-сбоку.

Там рассредоточилось человек десять. Пенсионер с бельмом во весь глаз держал ветхий дробовик в опущенных ру-

ках, как гриф штанги, норовя заехать кому-нибудь как раз по уровню в пах.

— Вы бы, папаша, взяли свою дурынду стволами вверх, — посоветовала дама с наганом, торчащим из брезентовой кобуры, разумно пристроченной снаружи жилета под грудью.

— Видишь, как нормальные люди носят, — заметил Горелов.

— В транспорте сопрут, — хмыкнула жена.

По просадке разбрызгивавших грязь машин можно было определить, у кого заводское бронирование, а кто просто засыпал песком внутридверные пространства.

— Ложись, — вдруг бросил морщинистый мужик с ухоженным симоновским карабином.

Горелов среагировал раньше, чем успел заметить пулеметное рыльце в окошке несущейся «БМВ». Он сгреб и придавил к асфальту детей, прикрыв их своим телом, и дернул за ногу жену, свалив рядом.

Очередь пробарабанила над головами. Вибрирующей струной запел рикошет, чмокнуло дерево и звонким металлическим щелчком отозвался столбик навеса.

Морщинистый хищно повел карабином вслед и выстрелил. Отчетливая искра вылетела из заднего крыла исчезающей «БМВ».

— Забронировали бак, суки, — беззлобно сказал мужик, выбрасывая из патронника дымящуюся гильзу.

— Во ныняшняя-то молодежь кака пошла!.. — воронежской проговоркой запричитала бабка, тряпочкой счищая грязь с чугунной печной вьюшки, пристроенной к животу.

— Дело молодое, — прокряхтел дедусь-пенсионер, собираясь и распрямляясь под прямыми углами, как складной метр. Почистил колени и горестно посмотрел на обляпанный дробовик. — Братва развлекается...

— У нас вот так бухгалтера на той неделе убило, — возбужденно улыбаясь, зачастила дама с наганом. — Как раз квартальный отчет сдавала, допоздна засиделась накануне, не выспалась, зазевалась — и вот так же!

Как всегда после удачно пережитой опасности, все как-то сблизились в приподнятом настроении.

Заэкранированный кровельными листами троллейбус напоминал макет бронепоезда. Пулю такая «броня», конечно, не держала, но сбивала балансировку траектории и гасила часть энергии, а кроме того, не позволяла возможному стрелку наблюдать цели и попадания, лишая тем самым интереса. Полутемный салон привычно успокаивал уютом убежища, и тем не менее, электрически взнывая и дребезжа, это убежище исправно передвигалось.

— С передней площадочки, передаем за проезд! — проталкивалась кондукторша.

Окна детского сада были до половины заложены мешками с песком. На бетонных плитах блок-поста у входа скакали красные кони и белые зайцы. Охранник пребывал в преклонных летах и не стеснялся носить нелепую в городских условиях армейскую каску.

— Доброе утро! — приветствовал он. — Запаздываем? Ничего, теперь у нас он как в сейфе будет — сохранность гарантирована.

Он подавил кнопку, и через некоторое время тяжелая дверь отъехала на роликах. Деньги на ее установку собирали с родителей в прошлом году. Налеты на детские сады были крайне редки, но береженого бог бережет. Маньяков пристреливали при малейшем подозрении.

Школьный звонок был слышен еще от колючей проволоки, но Горелов уцепил рванувшуюся дочь за шиворот, дал воспитательного шлепка и отвел до самого металлоискателя. Здесь службу несли неулыбчивые парни из муниципального предприятия «Кречет» — один дежурил на вышке посреди двора, другой автоматчик контролировал вестибюль. Старшеклассники часто шли в бандиты без отрыва от дневного обучения, и стволы сдавали в оружейку гардероба в обязательном порядке, под прицелом.

— Ф-ух, — выдохнул Горелов традиционную утреннюю формулу: — Наследники пристроены.

— Я так всегда волнуюсь за них, — пожаловалась жена. Это звучало как отзыв на пароль: в семье все нормально.

Гигантский хвост втягивался в метро медленно и торопливо одновременно, как нервный удав в нору, уже запрессованную предыдущей частью тела. Трясли в основном приезжих, фильтруя багаж через «телевизор» на предмет взрывчатки. Горелов с женой придали лицам покорное и зависимое выражение: против милицейского фэйсконтроля средств не существовало.

У эскалатора кавказец в хорошей дубленке, доставая бумажки из карманов, просительно доказывал ментам, что никому оружия не передавал, у него вообще нет оружия, получил прикладом по зубам, брызнувшим под ноги обтекающей эту группу толпе, зажал лицо руками и полез наружу. Чего он вообще сюда сунулся, поймал бы частника, подумал Горелов мельком, а теперь с разделанной мордой хрен его кто повезет, не уйдет дальше ближайшего пикета.

Плотный влажный воздух выдавился и вылетел из тоннеля, взвыло, загремело, земелькало — поезд встал у платформы. Из дверей ринулись в узкие дефиле сквозь массу. Дважды негромко хлопнуло, и когда, умяв напор внутрь, свелись створки, на уплывающей и опустевшей серой полосе, затертой подошвами, осталась лежать в пластунской позе фигура в коричневом пальто с шарфом «берберис». Как ни жмись, ни избегай резких движений, но напора и случайного толчка в толпе избежать иногда невозможно — а город набит психами и неврастениками, и все утром торопятся на работу.

В лицо Горелову дышал мятной жвачкой идиот с ручником Дегтярева, и когда он клонился, следуя равновесию в вагоне, громоздкий диск вминался Горелову в правое подреберье, прямо в печень. Он построил тактичную фразу и обратился мягко:

— Вы бы отомкнули магазин — сорвут в давке на выходе.

— Извините, — интеллигентно сказал мужчина и передвинул пулемет так, чтобы плоский диск приходился перед животом. При этом движении пламегаситель задел дужку его очков, Горелов сунул зажатую меж тел руку, и очки упали в растопыренную ладонь.

— Спасибо, — поблагодарил мужчина, они встретились взглядами и улыбнулись друг другу.

Черт, ведь хороший народ, подумал Горелов, поддаваясь умилению, как нередко (городской невроз). Вот и жизнь трудная, и рожи простые, свои заботы у всех, а както законтачишь по-человечески на секунду, и прямо теплее всё, и вообще жить можно.

Мужик вышел на «Баррикадной», и они еще раз обменялись приязненными взглядами, чтобы разбежаться навсегда, но не сразу забыть.

На «Проспекте Мира» жена пересаживалась. Горелов поцеловал ее и привычно порадовался, что щека еще свежая и хорошо пахнет.

— До вечера, — подмигнул он.

— Будь умницей, — сказала она. — Будь осторожен.

И помахала с платформы из-за голов.

Он без приключений добрался до работы, только в подземном переходе на Площади Ильича чуть не повздорил. Хамоватого вида панк, кожаный, шипастый и гребнистый, как ящер, пер вразвалку навстречу движению. Горелов посторонился от греха и дурака к киоску. Но прикладом М-16, болтающейся по их моде на длинном ремне наперевес, панк больно задел его по колену. Крутнув на плечевом ремне висевший дулом вниз калаш, Горелов зло ткнул его стволом в бок, метя и попав между липучками жилета. Панк покачнулся, обернулся и, как бы даже не имея в виду гореловский палец на спусковом крючке, с секундным замедлением сказал негромким, нормальным голосом:

— Извините, пожалуйста.

— Ничего, — сразу отмяк Горелов. Когда вместо скоротечного огневого контакта встречаешь извинения, агрессивность сменяется даже благодарностью. За себя неловко. Нормальный парень, ну мода, ну задел, извинился виновато. Когда ты готов бить на опережение, люди-то вдруг оказываются неплохи.

В двадцать восемь минут десятого, не опоздав, он вошел в офис. Лифт опять не работал, на шестой этаж пеш-

ком. В отделе поздоровался, жилет, куртку и автомат повесил на вешалку, причесался перед зеркалом, включил компьютер и с деловым видом вышел курить на площадку: день пошел.

До двенадцати он просидел на телефоне, утрясая пункты договоров с транспортниками, а в двенадцать заглянул Фома Юрьевич.

— До тебя не дозвониться, — недовольно сказал Фома Юрьевич. — Контракт на холодный прокат готов? Занесёшь мне.

Проект был составлен еще в пятницу. Горелов спустил девять страниц на принтер и постучал в соседнюю дверь.

— Ну? — прозвучало вместо «да». Фома Юрьевич, не обращая на него внимания, вытряхнул из крошечного пробного пузырька на палец душистую каплю и провел сначала по правой щеке, а потом по левой. Сейчас опять к своей телке поедет в «местную командировку».

— Проект взгляните.

Фома Юрьевич зачем-то понюхал первую страницу и спросил:

— Если что — мы их взорвать можем?

— Легко. От всего их холдинга потрохов не останется.

— Да? Да? Легко? А ты лимиты на взрывчатку учел — конец квартала?

— Убытки из предварительно образованного демпферного фонда за счет стороны, допустившей форс-мажор. Вот — статья 26, Б и В.

— Ладно, — пробурчал Фома Юрьевич, отодвигая страницы на край стола. — После обеда завизирую.

В обеденный перерыв Горелов спустился в супермаркет — покупки было лучше совершать засветло.

— Что ж вы мне гнилую подсовываете! — горячилась толстуха у прилавка, вертя и отпихивая пакет с картошкой.

— Женщина, что ж вы зря говорите! — повышала противные профессиональные ноты продавщица. — Вот я подряд беру — ну смотрите, где гнилая?! — Она раздраженно шлепнула на прилавок охапку картофельных пакетов. — Не нравится — выбирайте сами! — и отвернулась к следующему покупателю. — Очередь задерживаете!

— Что я, не знаю, специально фасуете гнилье! — Толстуха поворошила пакеты и взвизгнула: — Вот и стоят тут все в золоте, серьги с кольцами!

— А с вашей фигурой лучше на диете посидеть, — чуть улыбнулась продавщица своему умению ответить с тем беглым отработанным хамством, к которому трудно придраться по форме и оттого оно особенно бесит.

Бацнул выстрел. Продавщицу отбросило на полки с овощами. Толстуха торжествующе дунула в дуло ТТ.

— Виктория Афанасьевна! — затянули дуэтом из молочного.

Толстуха бацнула еще дважды в кассовый аппарат и двинулась к двери спиной вперед, поводя в стороны пистолетом. Покупатели, стараясь занимать в пространстве меньше места, подчеркивали позами, что чужие проблемы их абсолютно не касаются.

Толстуха достигла дверей, когда в хлебном просунулся меж тортов дробовой обрез. Зарядом ее снесло с крыльца. Картонный кружочек пыжа покружился и спланировал на порог. В заложенных ушах звенело.

— Сволочи, — сказало красное лицо, вырастая над белым кремом как клубника-мутант на пирожном. — Ходят тут. Неизвестно чего им надо.

— Опять в овощном работать некому, — поддержал дуэт из молочного.

— А эти тоже там. Берут гнилье пересортицей, а мы торгуй.

— Не хочешь — не покупай, — задабривающе зазвучала очередь. — А скандалить-то зачем.

— Ну, тоже. Чужую жизнь не жалко — так хоть свою побереги.

Когда Горелов поднимался обратно со своим пакетом, где хек каменномороженный постукивал, как об лед, о банку с горошком, его окликнули курившие на площадке четвертого этажа.

— Сы-слыхал уже? — спросил Олег, заика из отдела оргтехники.

— В смысле?

— Ры-ы-рыжова секретарша шпокнула.

— В смысле трахнула?

— В смысле грохнула.

— Ка-ак? — удивился Горелов. Положил пакет на подоконник и прикурил от дружески поднесенной зажигалки. — У него же, вроде, новенькая? Ей что, триста баксов мало?

— Во-о-вот именно, что триста, а не двести. Ее же с обслуживанием взяли. А у Ры-ры-рыжова один туркмен. Го-го-гость, прием, ба-ба-бабки пилить. А она вчера в-в-в сауне отказалась его обслужить.

— Ну так и уволилась бы. А чего отказалась? Чего шла тогда?

— Да он какой-то особенно жи-жирный и противный. Она и уперлась, что нацмена не будет, подряжалась только на своих. Ну, вы-вы-вызвали девок. А ей-ей сегодня Рыжов сказал — штрафанет.

Пухлячок Сан Саныч не выдержал спотыкливого темпа новости и выпустил струей между двумя заиканиями:

— Он ей, что будет кого скажет по полной, а она, что может он воображает себя гигантом, а сам козел вонючий и импотент, он волыну из стола хвать, а она юбку вверх, трусы вниз, он замлел, а у нее там подбрюшная кобура, переделанный газовик, вальтер-ПП, две сотни на Горбушке, он-то рот открыл, что она ему сейчас даст, а она-то ему в рот и засадила, ползатылка на стену вылетело.

— Хрен ее теперь кто на работу возьмет, — сказал Горелов.

— Т-ты-ты-риста баксов ей не деньги!.. т-ты-тоже...

— Еще на Мальдивы хотел с ней слетать...

— А вообще оружие скрытой носки запретить надо.

— Все потому, что семья разрушается, — наставительно сказал Горелов. — Моральные устои — они сдерживают. Работа и секс — отдельно! С женой спать надо — дольше проживешь, статистика.

— Ага, — несмешливо возразил Иван Александрович, пенек старой школы, эксперт по списыванию трупов. — То-то у Тимошкина была примерная семья, пока он жену

не пристрелил вместе с сыном и тещей, так они его задоставали. А ведь какой тихий был человек. И работник-то исполнительный.

А вечером после работы, покупая сигареты у старушки возле метро, Горелов увидел того мента. Точно: сержант, рано полноватый, пушистые пшеничные усики, и под фонарем заметен рубчик в правом углу губ, словно ему когда-то пасть порвали.

— К «Калашникову» 7,62 у вас патроны наши или китайские? — спросил Горелов старушку под стук сердца.

— Польские. — С картонного подносика она готовно вытащила зажатую между сигаретными пачками и пистолетными десятками стянутую резинкой тридцатку автоматных патронов, похожую на маленькую крупную щетку. — Они хорошие, все покупают. Берете?

— Пятнадцать дайте, — поколебался Горелов.

— Ой, мне развязывать. Молодой человек. Берите уж тридцать.

В том месяце сержант догнал его на опускающемся эскалаторе, козырнул:

— Мужчина, вы пьяны.

— Я?!

Ох, мать. Прикол типичный. От милиции, да еще в метро — спасения нет. Вверху двое и внизу двое, и телефоны по линии. Убьешь — не убежишь, и не убьешь — не убежишь. Обезьянник, поломанные ребра, вывернутые карманы, и хрен докажешь, спасибо если жив.

— Ну что вы, — жалко сказал он. — Могу дыхнуть.

— Вы покачнулись, когда входили. Документики можно?

Э нет. Отдай паспорт — и повязан. Мент фиксировал его на мушке. Горелов готовно рылся в карманах и бумажнике: мол, есть деньги, все отдам, но мало, нет смысла меня прихватывать...

— Нарушаем? — ухмыльнулся старшина-автоматчик внизу. В ухмылке уже содержались отбитые почки, порванная печень, сломанный копчик и агония в грязи под забором, куда выкинут из несущегося милицейского уазика.

Горелов долго молил, юлил и каялся, с любовным выражением отдал все деньги, отстегнул часы — дешевку не взяли, но старание оценили, послали снисходительно. Ушел — обгаженный, но живой.

И вот сейчас у спуска в подземный переход сержант с парой товарищей примеривается к прохожим. Гранатку бы, да случайный народ жаль.

Горелов взял его метров с семидесяти, из-за газетного киоска, улучив момент, когда директриса была свободна. Как всегда после правильного выстрела, еще миг с непониманием ждал результата, хотя прицел точно (вроде?) упирался под шею над краем жилета, — потом вдруг резко, как срубленное ударом, тело слетело на спину, задрав в падении ноги. Горелов смешался с толпой, перешел улицу и спустился в метро с другого входа.

Лесной санитар, конечно, вздыхал он глубоко, до корней легких, в трясущемся гремящем вагоне. Если не научишься гасить гадов спокойно, чтоб руки не дрожали потом и во рту не сохло — так на что ты в жизни можешь рассчитывать?.. Какое мне дело, что ему тоже семью кормить, и работы другой нет, и на зарплату не прожить. А, лучше я над ним поплачу, чем он надо мной. И на патроны деньги потратил, дурак, вечно я перестраховываюсь, до конца месяца хватило бы.

К своему подъезду он шел короткими несимметричными зигзагами. Самый опасный момент: темнота, время и место появления фиксированы и регулярны — здесь людей и берут. Внутрь он вбежал с пальцем на спуске. Послышалось или нет, что когда стальная дверь захлопывалась, в нее звякнуло? Утром фиг разберешь среди старых отметин.

Семья сидела в сборе перед ужином. Андрюшку забирала жена. Дочку привозила школьная развозка — бронированная «газель». Это стоило двадцать долларов в месяц дополнительно, но думские дебаты о том, чтобы развозить за счет школьного бюджета, успехом до сих пор не отличались.

СОДЕРЖАНИЕ

Г. Уэллс

ЧУДОТВОРЕЦ

М. Веллер

ИСПЫТАТЕЛИ СЧАСТЬЯ


СОВРЕМЕННИКИ И КЛАССИКИ
Герберт
УЭЛЛС
Чудотворец

М. ВЕЛЛЕР

Испытатели счастья

СОВРЕМЕННИКИ
И
КЛАССИКИ

АСТ